

Евгений Чириков

# Зверь из бездны



# Евгений Николаевич Чириков

## Зверь из бездны

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6600671](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6600671)*

### Аннотация

«Уже потемнели небеса и затеплились лампы в горних высотах, рождая мириады сверкающих по снегу голубых и зеленоватых искорок, когда поручик Владимир Паромов пришел в сознание и, приподнявшись на локте, широко раскрытыми глазами стал оглядываться, стараясь припомнить и понять, где он и что случилось... Острая боль в ноге при попытке изменить положение напомнила ему: он ранен и брошен... Ну, вот и конец!.. Странно, что в первый момент не родилось от этого сознания никакого ужаса, страха или страдания. Напротив, облегченный вздох вырвался из его груди, словно он донес, наконец, непосильную тяжесть до предназначенного места и теперь освободился навсегда. Навсегда!..»

# Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	30
Глава четвертая	44
Глава пятая	53
Глава шестая	62
Глава седьмая	79
Глава восьмая	90
Глава девятая	105
Глава десятая	115
Глава одиннадцатая	130
Глава двенадцатая	146
Глава тринадцатая	159
Глава четырнадцатая	176
Глава пятнадцатая	191
Глава шестнадцатая	202
Глава семнадцатая	216
Глава восемнадцатая	223
Глава девятнадцатая	237
Глава двадцатая	251
Глава двадцать первая	264
Глава двадцать вторая	281
Глава двадцать третья	293

Глава двадцать четвертая	310
Глава двадцать пятая	326
Глава двадцать шестая	341
Глава двадцать седьмая	354
Глава двадцать восьмая	372
Глава двадцать девятая	386
Глава тридцатая	397
Глава тридцать первая	413
Глава тридцать вторая	428
Глава тридцать третья	444
Глава тридцать четвертая	460
Глава тридцать пятая	475
Глава тридцать шестая	498
Приложение	507

# Евгений Николаевич Чириков Зверь из бездны

## Глава первая

Уже потемнели небеса и затеплились лампы в горних высотах, рождая мириады сверкающих по снегу голубых и зеленоватых искорок, когда поручик Владимир Паромов пришел в сознание и, приподнявшись на локте, широко раскрытыми глазами стал оглядываться, стараясь припомнить и понять, где он и что случилось... Острая боль в ноге при попытке изменить положение напомнила ему: он ранен и брошен... Ну, вот и конец!.. Странно, что в первый момент не родилось от этого сознания никакого ужаса, страха или страдания. Напротив, облегченный вздох вырвался из его груди, словно он донес, наконец, непосильную тяжесть до предназначенного места и теперь освободился навсегда. Навсегда!

Смотреть каждый день в лицо смерти и ждать ее, – о, это гораздо страшнее самой смерти. А все эти последние бои, длившиеся подряд несколько дней, иногда – не обрываясь даже ночью, были сплошным, ежечасным, ежеминутным ожиданием: «Вот сейчас! Вот сейчас и я». Уже было

это неизбежным и предрешенным, и только неведомо было, сколько дано сроку. И хотелось, чтобы случилось это немедленно. Может быть, именно муки этого ожидания и заставляли Владимира обнажать изумлявшую всех храбрость, проявлять геройскую неустрашимость и лезть прямо на огонь. И в последней схватке, когда рота Владимира дрогнула и цепь порвалась и начала расплываться по снежной степи, он не побежал, а, припав на колени, продолжал стрелять в лавой мчащуюся кавалерию... «Вот она смерть!» – успел еще подумать Владимир, видя перед собой лошадиную голову со сверкающими белками глаз. И потом мир исчез. И вот теперь снова, точно по какому-то сверхъестественному волшебству, словно в детской сказочке от живой воды, глаза раскрылись и в далеких тихих небесах встретились с глазами Божьими. Значит, – он жив и все еще впереди ожидание? Но почему же они его не добились? Очевидно, сочли мертвым. В плен уже не брали: некогда возиться с человеком. Да и не сдавались, предпочитая умереть без пыток и глумлений, от собственной пули.

Мертвенно тихо в степи. Точно снежное море, без конца, без края. Над вырисовывающимся вдали холмом-могильником, с головы которого ветер смел снежный покров, всплыла луна на ущербе и облила снежную степь мертвенно-зеленоватым серебрящимся светом. Точно огромный гроб в громадном храме под куполом, прикрытый серебряным парчовым покровом... Такое страшное жуткое молчание! Точно

весь мир погиб, вымер, и остались только одно это бесконечное белое молчание и вот еще он, поручик Владимир Паромов... Владимир прислушивается к белому молчанию: кажется, что где-то на небе грустно и мелодично звучит чуть-чуть тронутая струна гитары. Может быть, это поет где-нибудь телеграфная проволока... И вдруг в белом молчании, прорезаемом грустно поющей струной, прозвучало стоном слабое такое и короткое:

– О, Господи!

Владимир весь содрогнулся и, пренебрегши болью в ноге, сел и стал озиаться вокруг. Это было так неожиданно и странно. Может быть, – это сам он, Владимир, сказал: «О, Господи!»? Так бывает иногда с пробудившимися от сна: сами скажут и от собственного голоса пробудятся.

Владимир лежал в логу, складкой протянувшимся по степи. Со стороны изголовья – волнистая снежная складка закрывала ближайшую перспективу. И вот оттуда – это теперь было уже ясно – снова донесся тихий такой, покорный плач человеческий. Так плачут больные в бреду. Не то по-детски, не то по-старчески. Потом снова все стихло, и снова зазвенела струна. Владимир прилег и притаился. Ведь теперь человек – самое страшное на земле животное. Пошарил вокруг по снегу: вот она, винтовка! Липкая от собственной крови рука пристаёт к холодной стали. Щелкнул затвором и вставил новую «пятерку» патронов.

Так резко в тишине щелкнул затвор. Такой привычный

звук, рождающий звериное удовлетворение и пробуждающий спортивный инстинкт человекоубийства. О, ведь теперь винтовка самый верный и самый дорогой друг! Если бы Владимир мог видеть, то он увидел бы, как щёлк его затвора откликнулся эхом в душе другого человека, лежавшего в девяти шагах, за снежной складкой. Он тоже вздрогнул и стал шарить вокруг. Вот она! Тихо, прижимаясь к земле, человек подполз к блестящей в снегу стальной шашке и протянул руку, но силы его оставили, и уткнувшись лицом в снег, он снова тихо и по-старчески заплакал. На этот раз Владимиру этот плач показался тихим и ехидным смехом притаившегося врага. Очевидно, он не один: иначе не было бы смеха. Ну что ж? Он даром не отдаст жизни. Все равно умирать. «Пойдем туда вместе!..» И вот он уже во власти «Зверя из бездны»: одна ненависть кипит в крови, и не чувствуется боли в смятой коваными лошадиными копытами ноге; руки крепко жмут винтовку, и глаза остры, как у волка. Стоит нагнувшись и осторожно выпрямляется, хищно приподнимая обнаженную голову со сверкающими ненавистью глазами. Стучит сердце, тяжело дышать от волнения и от ожидания, успеет ли он первым выпустить пулю; губы сухи и сжались в странную улыбку... Перестала звенеть струна в белом молчании, оборвалась от блеснувшей огненной вспышки и сухого резкого выстрела... Враг приподнялся на колени... Другой лежит рядом. Он убит. А этот..., он целится... «Стук! Стук!..» Ну, вот... Оба лежат... О, какая торжествующая радость жмет



душу!..

– Корниловцы не сдаются, так вашу...

Так странно и дико прозвучала, вместо молитвы над умирающим человеком, площадная ругань озверевшего Владимира в тихой белой степи, под лунным блеском. Можно было подумать, что это внезапно помешавшийся. Припадая на раздавленную ногу, с винтовкой наготове, он ковыляет к поверженным врагам, и долговязая тень его прыгает на снегу тощим великаном.

– Ах, мать вашу...

И снова человек и его тень остановились, прицелились из винтовок и оба выстрелили. На всякий случай. Оно – вернее: «Шевелится, сволочь!»

И снова ковыляют человек и его тень. Опять тихо-тихо, опять звенит струна грустно и мелодично, точно стон тоскующей ангельской души.

Где же другой? Уткнувшись головой вперед и смешно растопыря скрюченные ноги, лежит один. Точно кланяется земным поклоном перед образом. Где же другой?.. «Не спрячешься, сволочь!» – летит металлический злобный голос с ветерком по белой равнине, и кажется, что высоко всплывшая над могильником луна удивленно смотрит и слушает, что делается на земле. Другого нет. Может быть, зарылся в снег? Подошел к коленопреклоненному и толкнул его прикладом. Тот склонился на бок и потом упал на спину, око-

ло занесенного снегом кустика. Лучше не смотреть: жутко. Один глаз, куда попала пуля, полон крови. Огромный до краев налитый кровью сосуд. А другой, такой ласковый, синий, широко раскрыт и с удивлением смотрит прямо в душу. Словно о чем-то спрашивает. Странное утомление овладело вдруг всеми членами Владимира. Но ни на мгновение не родилось вопроса в его голове: зачем он убил этого человека с добрыми синими глазами? Было только неприятно смотреть на раскрытый и смотрящий на него с вопросом и любопытством глаз. Владимир преклонился и попробовал закрыть глаз. Нет, не хочет. Опять раскрылся и смотрит. Не жалко, но жутко и неприятно. Шашка. На снегу пятна крови и мочи. Владимир вспомнил: это – тот самый кавалерист, в которого он стрелял в последний раз при атаке. Это его лошадь сверкнула белками глаз и смяла его... «Ссадил! Квит, братец. Э, а что у тебя за фляжка? Может быть, водка? А ну-ка... Так и есть! Запасливый. Водка».

– Ну, вечная тебе память!

Большими жадными глотками Владимир отпил из фляжки, и приятный огонь побежал по всем закоулочкам его тела. Какое счастье – эта водка. Не отдал бы ее теперь за самую жизнь. Да чего она, его жизнь, теперь стоит?.. Ведь все равно: теперь никуда не уйдешь и впереди одно – смерть от собственной пули... И водка поможет этому... Неприятная все-таки операция...

– Эх, Лада, прощай!..

Быстро опьянел. Не было сил стоять или отойти. А нога совсем не болит. Задеревенела, перестала чувствовать. И душа задеревенела. Лежит убитый им человек, а он сел рядом, на полу его шинели, и пьет по глотку его водку. Странно и смешно. Ей-Богу, смешно! Тихо смеется... Ну а что ж? Попутчики на тот свет.

– Погоди немного, отдохнешь и ты, – глухим баском произнес вдруг Владимир всплывший в голове кусочек ромansa, и ему стало жалко себя, жаль Лады, жаль оборванного счастья.

– Ты одна, голубка Лада...

Это из «Игоря»... В плену у половцев... Нет, никогда!.. Корниловцы в плен не сдаются...

– Смело мы в бой пойдем за Русь святую...

– Ну, что ты смотришь на меня своим синим глазом? Не завидуй, брат! Нечему. Ей-Богу, я поменялся бы с тобой местами. Для тебя все кончилось уже, а вот я...

Заплакал и припал к мертвому головой. И долго плакал и шептал что-то, разговаривал с женой – Ладой, и с братом Борисом...

Тихая белая степь сверкала огоньками. Изумленно смотрела с высоты луна. Звенела струна грустно, как бесконечный стон тоскующего в небесах ангела. Притих опьяневший и обезумевший человек. Мягкосердечный жалостливый сон пришел и приласкал несчастного человека. Дал ему пожить и отдохнуть его душе в легких грезах воскресших воспоминаний.

наний и призраков.

– Ах, Лада, Лада!..

Чудеса творит всемогущий сон... Вот он превратил озверевшего от крови человека, обреченного уже смерти поручика Владимира Паромова, снова в пятнадцатилетнего гимназиста, а его жену – в стройную, как молодая березка, гимназистку Ладочку... Две чистых прозрачных души, благоухающие ароматом раннего весеннего утра жизни. От этих душ пахнет ландышем и сиренью. Тоска, страдания и радости этих душ, как утренняя роса на только что раскрывшихся цветах.

Призраками первой чистой любви, как благодатным дождем в засуху – землю, напоил Господь темную бездну души человеческой через сон прекрасный и радостный...

Снилось, что он возвращается лесом с Ладой: ходили за ландышами, любимыми цветами девушки, и увлеклись, не заметив, как подкрался вечер. Погасли краски заката. Сгустились зеленые сумерки, и в лесу стало страшно... Лада взяла Володю под руку: ее пугали превращавшиеся в уродов силуэты кустов и пней, обросших молодняком. Она вздрагивала и прижималась к руке Володи, и от этого Володя пьянел, как от вина, и переставал чувствовать под ногами землю. Точно вырастали за спиной крылья и поднимали его вместе с тайно любимой прекрасной девушкой... Заблудились. Леший обошел. Выглянула чрез лес луна, и сделалось точно в сказке – и красиво, и страшно. Запел близко-близко со-

ловей, – остановились и долго слушали, боясь вспугнуть маленькую волшебную птичку. Володя вздохнул и прошептал:

– Ах, Лада, Лада! Если бы вы знали...

– Знаю...

Они встретились глазами, и глаза все сказали друг другу, сказали больше, чем могли бы произнести уста. Господи! Какое счастье! Он целует склонившуюся золотую голову девушки, обвеянную тонким ароматом ландышей...

– Лада, Лада... Открой глаза!..

Глаза раскрылись, губы раскрылись, сверкнув жемчугом зубов, и улыбка расцвела сказочным цветком счастья на ее лице. А на ресницах блеснули слезы, под лунным светом заигравшие алмазными блесками...

Медленно и молча шли. Останавливались послушать соловья, и снова волна огромного сбывшегося счастья захлестывала их, сплетая губами и руками... Когда вернулись в дом, там все спали. Они долго сидели на балконе и молча слушали соловьев, в разных странах ночи славословивших счастье любви. Не могли уйти друг от друга. Володя склонился к Ладе. Ветерок играл золотистым шелком ее волос и щекотал ему лицо, а ландыши струили опьяняющий аромат. Душа не вмещала радости... Он упал перед девушкой на колени и стал целовать ей ноги...

– Я хотел бы умереть, Лада...

– Вместе... со мной?

Она положила его голову на свои колени и, нежно касаясь

волос, ласково гладила. А он, спрятав лицо, плакал слезами счастья, похожего на аромат ландышей.

– Я тебя давно, давно любила... только никто на свете не знал этого...

– Ах, Лада! Я не верил, что можно плакать от счастья... Мне хочется молиться и плакать... Господи, какое счастье жить! Нельзя этого рассказать...

– Кто-то идет... уходи... Возьми с собой эти ландыши и положи себе на подушку... И увидишь меня во сне... Будто я пришла, наклонилась, перекрестила и поцеловала тебя... Вот так!..

\* \* \*

И от этого поцелуя поручик Владимир Паромов проснулся. Словно он не верил, что все это ему чудилось только во сне: начал искать кого-то глазами и шептал:

– Ты ушла!.. Ты ушла... Ты приходила ко мне проститься... Лада, я не хочу умирать, я хочу жить!..

Солнечный день. Снежный степной простор блестит и слепит глаза. Тихо и торжественно, как в светлом храме. Медленно уплывают по голубым небесам, словно лебеди друг за другом, два белых растянувшихся облака. Вот сесть бы на них и полететь от смерти к жизни, от настоящего к прошлому, которое приснилось...

И от этого, что приснилось, захотелось жить, так захоте-

лось жить, что убитый, смотревший в него одним потускневшим глазом, стал внушать ужас и отвращение... Жить! Жить! Жить! Но где путь к жизни? Куда идти, чтобы прорваться к «своим»? Где они, «свои»?.. Поручик вышел на бугор и стал всматриваться, вслушиваться и вспоминать. Пока был во власти сна, он, как иногда бывает с нами, занятыми размышлением и переставшими слышать стук часового маятника, – не слышал того, что вдруг начал теперь слышать: где-то, очень далеко, шла перестрелка. Только привычное опытное ухо могло в едва намечавшихся, похожих на падение крупных капель дождя на бумагу звуках узнать стрельбу из винтовок и пулеметов. Однако трудно было определить точно линию направления, по которой шел бой. На юге, но то кажется правее, то левее, то в двух пунктах. Одно несомненно: от «своих» отрезан.

Позади и впереди враги. Что же, значит, – умирать?.. Вот он, попутчик на тот свет! Все ждет и смотрит одним глазом...

Поручик застыл в раздумье, и вдруг на лице его забегала странная улыбка. Тихо доплелся до мертвого, подсел и стал обшаривать его карманы и пазуху. Ну, вот они, документы! И деньги. Дрожащими неслушающимися пальцами перебирал бумажки, читал их нетерпеливо и серьезно. Словно просматривал деловую ноту. Две бумажки отобрал и, чтобы не улетели, положил под приклад винтовки. Сорвал с фураж-

ки, заскорузлой от крови, «красную звезду» и приладил ее к своей папахе. Сбросил свою шинель с погонами и стал стаскивать с мертвого грязный бараний тулупчик. Изредка приостанавливался и озирался... Потом, успокоившись, снова принимался возиться около мертвого... Увидал брошенную на снегу фляжку и вспомнил, что в ней есть еще водка. Допил и вдруг стал смеяться и разговаривать...

– Ограбил, брат... Не гневайся! Я тебя не знаю, ты меня тоже... И оба мы с тобой, вероятно, хорошие люди, а вот так уж вышло... Если бы не я тебя, так ты бы меня... Такой закон, брат, теперь...

Разговаривал и натягивал на себя бараний тулупчик. Сунул в карман деньги и документы, перекрестился на убегающие облака и, нахлобуча ухарски на затылок папаху с красной звездой, сказал на ходу, обернувшись к мертвому:

– Прощай, поручик Паромов!

И прихрамывая на левую ногу, заковылял по снежной скатерти, истоптанной коваными ногами лошадей... Долго одинокая человеческая фигура маячила в снеговом море. Потом пропала за снежной волною, словно растворилась в ярком солнечном сиянии...



## Глава вторая

Несколько дней шел кровавый пир «Зверя из бездны». Люди уничтожали друг друга, как ненавистных гадов, пьянели от крови, стонов, грохота орудий и свиста разящих пуль. Ничего не осталось в душах. Только одна кровожадная ненасытная ненависть. Человек сделался страшным, и Дьявол отдышал, потому что ему нечего было делать на земле... Со всех сторон неприятельский фронт подползал к городу. Бои шли с одной стороны верстах в ста, а с другой подошлись так близко, что грохот орудий уже был слышен в городе, если ветер плыл с этой стороны. Ужас и безумие уже охватывали жителей, уже началось паническое бегство. А защитники еще не дрогнули и отчаянно отбивались, от неукротимой ненависти и отчаяния забывая о смерти, не замечая ее... Фронт изломался, как кривая горячечной температуры. Станции по несколько раз переходили из рук в руки в течение одного дня. Местами все перепуталось в хаос, и никто уже не знал, где свои, а где чужие... Случалось, что стояли на двух соседних станциях и переговаривались по телефону, обманывая друг друга. Белые говорили за красных, красные за белых, и так запутались, что перестали верить даже своим, и часто своих же громили орудийным огнем... И вот все вдруг стихло. Оборвалось. С ночи подул резкий ветер. Снежная степь закрутилась снежными вихрями, с тусклых

небес посыпалась острая колючая, как иголки, крупа, потом повалил снег – и все исчезло в белом крутящемся тумане. Точно небесам надоело наконец это самоистребление, и они решили прикрыть пропитанную слезами, кровью и ужасами преступлений землю глубоким чистым покровом снегов вместе со всеми живыми и мертвыми. Замело все пути и дороги. Остановились занесенные сугробами поезда. Потонули в снежных горах маленькие станции. Перестали грохотать орудия, замолкли винтовки и пулеметы. Перестали летать похожие на хищных птиц самолеты... Все замерло и покорилося... Три дня и три ночи бушевал снежный буран. На четвертый день к ночи стихло, и новое утро встало тихое, яркое, морозное и радостное. Снежное заколдованное царство! Точно все заснуло в белом очаровании и хотело забыть о том, что было... Точно Господь хотел вычеркнуть из жизни всю кровь, слезы, преступления, и заставить людей зажить новой человеческой жизнью. После снежного потопа... И весь этот день прошел в благостной тишине, и можно было подумать, что на земле воцарился снова мир, а в человеческих душах – благоволение... Солнышко обошло весь горизонт и, словно устыдившись за людей, за все ими содеянное, покраснело и конфузливо спряталось в снежном океане, а краска его ланит долго еще окрашивала сугробы, тучки в небесах, вершины далеких могильных курганов... Фиолетовая грусть стала окутывать снега и горизонты. Загустели небеса, и синие огоньки Божьих лампад зажглись снова в

горних высотах, сверкая радужными искрами в снежинках... Как одинокий голодный волк, то приостанавливаясь, прислушиваясь и озираясь, то снова ускоряя шаг, шел обсахаренный снегом человек по направлению нескольких крыш, чуть-чуть поднимавшихся над сугробами и напоминавших положенные в беспорядке обитые белой парчой гробовые крышки... Вот этот точно из снежной бури рожденный человек чего-то испугался, оглянулся и круто свернул в сторону, утопая по пояс в мягких сугробах, и исчез, словно растворился в снегах. Если бы кто-нибудь увидел со стороны появление и исчезновение этого человека, он не поверил бы своим глазам, счел бы это галлюцинацией или уверовал в привидения. Точно мертвец в саване блуждал в поисках своей могилы...

Когда молчаливая синяя ночь упала над степью, в сугробах снова выросла фигура человека и, выбравшись на затвердевшую корку снега, заковыляла к хуторам, пробуждая тишину заколдованного царства, звонко похрустывавшим под ее ногами снегом. Палка, на которую человек опирался, с визгом врезывалась в корку снега и скрипела, и хруст и скрип этот в ночном молчании долго разносился в заколдованном царстве, наполняя тишину тревожным и, казалось, ненужным и раздражающим беспокойством... Хутор точно вымер. Только в одном окошечке, разрисованном морозом и наполовину занесенном снегом, мерцал красноватый огонек, делая окошко похожим на воспаленный глаз. Блуждающий

призрак подошел к огоньку, посмотрел в заметенное стекло и постоял в раздумье. Потом он нерешительно постучал палкой и стал ждать. Вместо отклика огонек вдруг погас, и стекло окна побелело. Не хотят пускать. Замерзни, околей – все равно теперь людям... Человек злобно забарабанил палкой под окошко и опять послушал. Нет, не хотят слышать.

– Ну, тогда я заставлю вас услышать.

Человек перелез через забор и очутился на дворе. Вошел на крылечко и стал колотить в дверь ручкой револьвера.

– Отворите! Эй, кто есть?

Грохнул в дверь сапогом и громко обругался похабными словами. Ну вот, – идут.

– Что надо? – спросил злой старушечий голос за дверью.

– Отвори, бабушка.

– Да кто ты такой?

– Свой.

– Какой-такой «свой»? Покою от вас нет... Проходи с Богом! Не пуцу.

– Добром не отворишь, худо будет.

Старуха побряхтела, пошептала молитву и отперла.

– Зажги огонь!

Старуха долго шарила и ворчала. Изба осветилась скучным коптящимся языком маленькой лампы. Человек огляделся: никого, кроме старухи, не видать.

– Мужики дома?

– Никого нет, батюшка, никого... Одних угнали, другие

разбежались... Никак одна я на всем хуторе...

– Не врешь? Смотри, старая, говори правду, как попу на духу, а то худо будет.

– А что мне будет? Двум смертям, батюшка, не бывать, а одной не миновать. Мы уж и бояться-то перестали... И Бога-то теперь не боятся уж...

– Хлеб есть?

– Откуда? Ты тесто-то ставил?

– Жрать хочу, как собака... Лучше покорми сама. Не дашь, искать буду, а найду – ответишь мне за обман.

– Эх, вы!.. Как собаки и есть: которая лютее да зубастее, та и вырвет...

Старуха пошла за перегородку и, выйдя, бросила на стол краюху черствого хлеба:

– Весь тут. Не пахано, не сеяно, а подай! Сама с голоду подыхай, а вам подай... Ешь, Христа ради!

Человек обломил от краюхи половину и, торопливо давась, стал утолять мучивший его голод.

– А это тебе оставил, старуха... Пополам... По-братски, старуха!

– Добрые вы.

– Какая станция, бабушка, у вас?

Старуха назвала станцию.

– Верно. Она самая... – подумал вслух человек и опять спросил: – Много на станции наших?

– Я уж не знаю, какие ваши, а какие наши... Не знаю я

ничего. Не спрашивай!

– А ты за кого: за красных или за белых?

– Ничего не знаю. Не наше дело. Бог с вами...

Старуха боится захожего человека, человек боится старухи.

Тут на печи заплакал ребенок, и старуха пошла к нему и стала утешать, баюкая и приговаривая слезливо и жалобно:

– Ненаглядный ты мой! Сироточка моя разнесчастливая!..

Что мы делать-то с тобой будем?..

Старуха причитала, припевала, и ребеночек притих.

– Вот что, старуха, – начал человек шепотом. – Я белый...

– Мне все одно, батюшка. Перед Богом – все люди-человеки.

– Тебе-то все равно, да вот мне-то надо точно знать, в чьих руках ваша станция?

– А кто вас знает. То одни придут, то другие, а нам все вы хороши...

– Скажи правду, кто теперь на станции: белые или красные?

– И знать не хочу... и не спрашивай... И разговаривать я с вами боюсь, – жалобно затынула, точно заплакала старуха и стала отмахиваться костлявой рукой.

– Так вот что: иди и узнай!

– Как же я могу идти? Чай, видишь, у меня на руках ребеночек хранится? Большой внучонок лежит, а я побегу от него... Да ты что, в уме ли?

– С ребенком останусь я, а ты иди и точно узнай, кто на станции.

Человек сказал это строго и, вынув из кармана револьвер, положил его на стол около лампы:

– Вот видишь? Эту штуку? Если красных с собой приведешь, я сперва ребенка убью, а потом... себя.

Старуха опустила руки и долго безмолвствовала. Потом медленно перекрестилась на образ и прошептала:

– Вразуми, Господи, заблудших...

– Ну, ладно. Потом помолишься, а сейчас некогда.

– Ты, видно, и помолишься за меня?

– Мне все равно пропадать... Иди!

– Побойся Бога!

– Не разговаривай! Слышишь?

Старуха потопталась, жалобно и тихо пожаловалась Богу и стала натягивать овчинный полушубок.

– Ну, поторапливайся! Помни только, что если совершь или приведешь красных, застрелю ребенка...

Отирая слезы и шамкая беззубым ртом, старуха вышла из избы. Человек осмотрел револьвер, пощелкал затвором, приготовил на «последний случай». Притушил огонек лампы и, присев на лавку, стал смотреть в окно. Потом вспомнил и побежал в сени, – запер дверь за ушедшей старухой. Вернулся, взял револьвер и снова стал смотреть в окно. Теплым дыханием своим он просветлил на стекле кружочек и в него смотрел не отрываясь... Жалобно так и беспомощно

стонал, точно жаловался Богу, маленький брошенный человек. Большой человек смотрел в светлинку и думал о маленьком, и стоны его начали торкаться в сердце и душу, давно не знавшие уже жалости. Вспомнилась страшная картина, которую довелось увидеть однажды в маленьком городке, только что покинутом красными: убили всю семью, не пощадили даже двухлетнего ребенка. Верно, схватили за ножки и ударили головкой о каменную стену дома: маленький, похожий на большую нарядную куклу трупик валялся на тротуаре с разбитой головой. Точно расколотый грецкий орех. А на стенке – запекшаяся кровь и сгустки мозга. Тоже оказался «буржуем»... А вон там, на печке, – «пролетарий»...

– Эх, ты... пролетарий!

И большой человек подошел к печке и, вскочив на приступок ногою, приподнялся и стал разговаривать с хныкающим ребенком.

– Прости нас, окаянных...

Он вспомнил, что у них с Ладой в Крыму, у дедушки, есть умненькая, маленькая девочка, похожая, говорят, личиком на мать. Отец, дедушка, так и называл внучку: «наша буржуйка». Теперь уж, наверное, бегает и без удержу болтает. Спрашивает про папу и маму...

И сердце человека облилось тоской и радостью. А ребенок на печке притих и только строил смешные гримасы: не то хотел заплакать, не то засмеяться.

– Эх ты, старичок...



Большой человек прикрыл ему ножки тряпками и отошел снова к окну, взял опять в руку револьвер и стал смотреть в светлинку. А думал все о Ладе и о маленькой девочке, своей первой дочке, которую он назвал Евой, и забыл, зачем надо сидеть с револьвером в руке и смотреть в светлинку.

Это любовь нашла щелку в задеревеневшую душу и через образ чистой детской души прокралась в сердце, забывшее и о радости, и о жалости, и о сострадании к ближним... «Ближний». Где он? Может быть, ближний по ненависти и убийствам?.. Нарисовался в памяти красивый дикий уголок на южном берегу Черного моря, маленький белый домик с колоннами, похожий на греческий храм, и всплыла идиллическая картинка на балконе, обвитом виноградом и китайской розой. В центре полуголенькая девочка, а вокруг вся семья. Маленькая королева со свитой. Какое счастливое лицо у матери! Сколько безграничного материнского счастья и гордости в глазах Лады! Как она прекрасна!..

Но жалобно застонал и заплакал маленький старичок на печке, и идиллия улетела, как испуганная птичка. Ведь все это могло бы быть, но ничего не было, и ничего нет. Нет ничего! Только вот этот револьвер в руке, предназначенный для убийства... быть может, самого себя... Вздогнула душа. Нет, нет!.. Он хочет жить, хотя бы для того, чтобы прокрасться в Крым; лесами и горами, по диким тропкам, спуститься к морю, ночью проползти, как червяк, к белому домику с колоннами и еще раз посмотреть и поцеловать, про-

ститься со всеми. Лады там нет. Бог знает, где она теперь. Но там ее отец, мать, там маленькая, похожая на Ладку Евочка... Метнулся к светлинке: услышал скрип снега за окном. Она, старуха! Почему так скоро? Стучит. Побежал с револьвером в сени и не сразу отпер. Посмотрел в щелку: не двое ли? Вошли в избу. Старуха околачивает у порога ноги от налипшего снега и таинственно говорит:

– Белые.

Явилась, было, радость, но сейчас же и улетела:

– А что ты так скоро вернулась?

Посмотрел на часы:

– Сорок минут туда и обратно...

– Да я до станции не дошла: солдатика встретила. Ну, вот он и сказал, что белые... И, видно, что и он, солдатик, белый... Вот тебе крест! А не веришь, сам походи – попытайся. И сама я так думаю, что – белые. Поверь уж!..

Не верит человек человеку. Хитрит что-то старая колдунья.

– Вот что, старуха: я тебе не верю. Только смотри: и на старуху бывает проруха.

Мучительно это бессилие узнать правду. Смотрит на старуху, и лицо ее кажется ему хитрым и предательским. Если бы не маленький заложник на печке, наверное, привела бы с собою красных и выдала, проклятая. Идешь умирать за освобождение народа, а они... Сколько было уже таких случаев... Злобно посмотрел в сторону возившейся около печ-

ки старухи:

– За вас, сволочей, умираешь, а вы... Старуха!

– Что тебе еще? Что ты пристал ко мне? Коли ты вправду белый, так и уходи на станцию. Белые, говорю, там...

– Идти? Нет, постой... Не на дурака напала...

– Я ни на кого не нападаю, это вот вы – не пахали и не сеяли, а вам подавай!

– Вот как?!

Злоба нарастала и выгнала из души затеплившуюся, было, от воспоминаний жалость и сострадание. Холодный рас-судок искал выхода. Нужно узнать правду во что бы то ни стало, какими угодно правдами и неправдами. Вопрос идет о жизни или смерти. А умирать, как баран на бойне, он не желает...

– Старуха! Заверни потеплей ребенка и сними с печи. Я возьму его на руки, а ты пойдешь за нами.

– Это куда же?

– На станцию. Если соврала, я убью ребенка прежде, чем меня убьют красные. Поняла?

Старуха расправила спину и посмотрела на страшного в злобе человека, как на испугавшую ее диковинку. Попяти-лась, приостановилась и сказала:

– На тебе крест-то есть, голубчик?

– Ну, это не твое дело. Не разговаривай!.. Собирайся!

– Убивай нас. Все одно. Бог рассудит. Тащить больного младенца на мороз не дам.

И тут старуха завывала, как ветер осенью в трубе. Выла и причитала, жалуясь Богу и упрекая его, зачем он не взял вовремя к себе «ангельскую душеньку» и зачем судил ей самой дожить до таких страшных дней... Большой ребеночек точно понял свою бабушку: застонал и тоненько так запищал, словно муха в паутине. И такой безысходной тоской повис в избе этот слабенький жалобный дуэт старухи и ребеночка, что страшный безжалостный человек вдруг растерялся. Помялся на месте с опущенной головой и сказал усталым смиренным голосом, совсем другим голосом:

– Я, ведь, так только... поугагать. Прости уж. Наше дело такое... суровое дело, старуха...

– Коли Бог простит, так... Бога проси, а не меня... Прощать-то мне не дано.

Но тут вдруг загудел громовый раскат, и мигнул огонек в лампе. И старуха, и страшный человек замолчали. Еще удар.

– Опять началось, – ленивым и усталым, ворчливым тоном произнесла старуха и потрясла головой.

Еще удар.

– Ты шел бы, покуда не поздно. Уйдут ваши, а ты и останешься...

Человек стоял у окна и вслушивался. Потом отошел к столу и стал рассматривать карту, бумаги. Что-то прятал, торопился, руки его дрожали мелкой дрожью.

– Забарабанили!..

Ночной бой. Как швейная машина стучит где-то пулемет,

и вспышками хлопают выстрелы из винтовок. Точно пригоршней кто-то бросает горох в лист железа.

– Что ты говоришь?

– Задуть надо лампу-то, – жалобно повторяет старуха с печки. – На огонь-то стреляют... Задуй скорее!

Потухла лампа. Ночь тускло посмотрела звездами в белое окошко. Завыла где-то собака. Так зловеще отдавался вой ее в душе человека, а старуха с печки ныла:

– Найдут тебя, и мне несдобровать... скажут, белых прячу...

– Я тебе соврал: я не белый, а красный...

Старуха вздохнула только. Тяжело так. Не ответила. За молчала. Опять ударил и заворчал гром. Опять заработала швейная машина. Провизжал снег под коваными ногами нескольких лошадей, промчавшихся галопом мимо... Человек в бараньем тулупчике тихо вышел из избы, остановился на крылечке и прислушался. Мертвая тишина, и в ней тяжелые вздохи паровоза. В тихую морозную ночь далеко слышно. Значит, подходил броневик на разведку. Но чей? Белый или красный?

Вышел за ворота и долго стоял и слушал. Ночь спокойно плыла над землей. Так кротки были потемневшие небеса, и так ласково мигали с горней высоты звезды... Так много просторов под этим звездным куполом для человека. Но... если бы можно было быть не белым и не красным, а просто человеком!

## Глава третья

Как просто и легко казалось раньше быть «человеком». И как трудно им сделаться теперь, с обгаренными кровью руками!.. Печать Каина на душе... Все вспоминается «синий глаз» убитого им человека. Смотрит прямо в душу и не хочет закрыться. Разве мало он убил уже людей? Разве он не радовался, когда угадывал, что именно от его пули падал вдали человек?.. О, какое злорадство шевелилось тогда в его душе! Хвастался. Окружающие начинали больше уважать: «Вот это стрельба!»... Но все это было издала, или в испугленном кровавом тумане во время атак, когда перестанешь совершенно понимать и что-нибудь чувствовать, кроме рождающегося бешеного желания убить самому, чтобы не быть убитым другим... В первый раз пришлось посмотреть в глаза самим тобою убитому человеку. Спокойно, без злобы и страха посмотреть. Жалко не было, раскаяния не рождалось, но подсознательный разум, инстинкт, врожденный в живую душу человека, запечатлел это Каиново дело неведомыми письменами, и теперь в короткую звездную ночь, показывает и напоминает: «А помнишь синий глаз, который не захотел пред тобой закрыться и спрашивал: за что меня, уже бессильного и безвредного, ты убил? Вот теперь ты идешь в моем бараньем тулупчике и нацепил еще мою звезду».

Поручик Паромов вспомнил вдруг, что он забыл снять

красную звезду со своей папахой и испугался. Остановился, снял папаху и стал отцеплять красную звезду. Спрятал ее в карман и пугливо оглянулся: визжит снег под лошадиными копытами. Покачивающиеся силуэты всадников быстро вырастают. Гонят маленькое людское стадо впереди.

Как молния сверкнул вопрос: белые это гонят красных, или красные – белых? Зазвенело в висках от напряженного бессознательно заработавшего инстинкта самосохранения. Сперва испуг и порыв побежать, потом сразу полное спокойствие... Никуда не убежишь! Пошел намеренно медленной и беспечной походкой, припадая на левую ногу, в которой вдруг снова появилась боль... Резко завизжал снег, и стало слышно, как играет селезенка у нагоняющей лошади... Не оглядываясь, посторонился и ждал, когда промелькнет лошадь... И не видя можно было понять по звону копыт и скрипу снега, что скачет один...

– Что за человек? – резко раздалось над ухом, и лошадиная морда с заиндепевшими мягкими губами дохнула в плечо поручика Паромова. Опять зазвенело в висках. Точно смерть задала загадку: угадаешь, отпустит, не угадаешь – умирай. Не разгадаешь в полутьме ночи, друг или враг. Чуть, было, не сказал «красный», но кто-то, овладев его губами, произнес:

– Свой.

– А ты дурака-то не ломай! «Свой»!..

– Кубанцы, что ли?

– Я тебя, сволочь, спрашиваю, что ты за человек, так отвечай, а не замазывай мне рот!

Свистнула в воздухе нагайка и обожгла шею и лопатку.

Этот ожог был так нестерпимо оскорбителен, что поручик Паромов выхватил револьвер и закричал:

– Я офицер, так твою!.. Только посмей еще коснуться!.. Я поручик Корниловского полка, а ты, мать твою...

Кубанец оттянул коня, и в темноте сверкнул сталью обнаженный палаш.

– Надо сперва узнать, с кем говоришь, а потом...

Верно, в ругани и в голосе поручика кубанец действительно почувствовал нечто, начальственное: он спрятал в ножны палаш и, молчаливо прищпорив заплясавшего коня, лихо поскакал назад, где скоро послышалось тревожное переговариванье... Заговорили крикливо, с руганью. Про него. Он продолжал путь спокойно, даже с гордостью, и радостное торжество рождало в нем бодрость и энергию: теперь ясно, что свои – красные убили бы корниловца-офицера без всякого смущения. Подскакали трое. Двое с карабинами наготове.

– Что, братцы, скажете? Кто у вас старшой?

– Так что для нас вы теперь, как всякий подозрительный проходящий. А потому мы обязаны арестовать и представить...

– Куда?

– На станцию, к есаулу.



– Да я сам туда иду.

– А оружие отобрать... Я мог бы убить и без всякого разговора. Раз вы выхватили оружие, я мог...

– И рубил бы! Много теперь таких шляется, – злобно подкричал другой, самый молодой, безбородый. – Кругом шпионы теперь...

– Откуда и зачем?

С каждой минутой кубанцы говорили грубее и злобнее. Переставали верить.

– Вон мы теперь гоним много разных. Отдай револьвер!

– Не имеешь права говорить мне «ты».

– А ты поговори еще! Давай револьвер. А то...

Лошадиная морда засверкала глазами перед лицом, щелкнул замок карабина.

Отдал револьвер, и все захохотали.

– Корниловец не отдал бы, братцы!

– Чего с ним толковать? Гони его в стадо.

– Я сам пойду... Не трогать!

– Ого! В бараньем зипунке, а грозный. А где погоны девал? Мы, брат, на тебе не видим... Иди туда, в гурт! Ну, не разговаривать, так твою...

Стал, было, объяснять, почему он в тулупчике и без погон, но бросил: не верили и поднимали на смех. Очутился в толпе гонимых гуртом на станцию. Шли быстро, иногда легкой рысью. Казаки посвистывали и покрикивали:

– Ну, ну, ну!.. Кто упадет, не подыметя...

– Тоже папаху надел... Ваше благородье называется...

И хохотали над папашой и над тем, что он припадает на ногу, и над тем, что молчит и не отвечает на насмешки.

Выгнали на железнодорожный путь. Грустно загудели телеграфные проволоки. Впереди мигнули огни: близко станция. У последней сторожевой будки, где стоял караул, остановились и прыгнули с коней.

– Стой, сволочь.

Тихо поговорили с караульными. Покурили. Арестованные стояли с понурыми головами, тоскливо и пугливо оглядывая друг друга.

– Кто у вас старшой? – спросил сердито поручик. – Доложите есаулу, что его желает видеть поручик Корниловского полка Паромов.

Никто не ответил. Были заняты какими-то таинственными разговорами. Из долетавших отдельных фраз и обычных технических выражений поручик Паромов понял, что у них происходит совещание и спор о том, как лучше сделать: расстрелять сейчас «без всякого доклада», разбудить есаула или оставить дело до утра. Верно, кроме поручика, поняли в чем дело и некоторые другие: молодой рыжий и веснушчатый парень с бабьим лицом, присев на сложенные шпалы, заплакал вдруг, фыркая носом.

– Не реви, сволочь, а то... пришибу вот прикладом.

Слезы вызвали только злобу и раздражение:

– Заткни ему глотку-то прикладом! Плачет еще...

– Я... товарищи... мобилизованный... Я против воли шел...

– Товарищи! Мы вам, сволочам, не товарищи... Распустил слюни-то. А еще красный. Утри сопли-то!.. Вот я тебе подотру...

Казак подошел и, развернувшись, ударил в лицо плакавшего парня.

Тот стукнулся головой о шпалы. Плакать перестал. Сидел и сморкался сгустками тянувшейся из носа крови...

– Не следовало бы, не разобравши дела, братцы, так... – заметил поручик.

Сколько раз он проходил мимо таких издевательств и глумлений над человеком, а тут вдруг вздумалось заступиться. Может быть, самочувствие арестованного, поравнявшее его со всеми другими, заставило его сделать это неосторожное замечание. Это замечание привело в ярость казаков, сразу все озверели:

– А ты что за заступник, так твою?.. Не знаешь разве, как они нас истязают? Они нас жгут, живьем в землю зарывают, гвоздями погоны приколачивают, а ты их не тронь? Да ты сам-то...

– Вот с таким нечего разговаривать, а прямо к стенке.

– Отведи его вон за сортир да и выведи в расход эту жалостливую сволочь!

Спасла случайность: прибежал казак со станции с каким-то распоряжением от есаула. Сразу забыли про обидчи-

ка.

– В будку всех запереть покуда! – приказал старшой и пошел, а за ним еще несколько самых злых.

– Ну! В будку! Спокойной ночи, приятных снов... Проходите, товарищи красные, люди опасные, – сострил благодушно старый казак с широкой бородой, не принимавший участия в глумленьях.

Арестованные один за другим ныряли в дверку будки. Нырнул и поручик Паромов...

Душа его была в гневном трепете. Там творился психический хаос и разрушение. Острое до боли оскорбление... оскорбление всего, что для него оставалось еще святым и неприкосновенным. Поругана последняя драгоценность: гордость жертвенного подвига. Во имя спасения родины он бросил все дорогое и пошел за Корниловым, совершил весь тернистый путь Ледяного похода, несколько раз был ранен, от самого Корнилова получил Георгия... И вот теперь нагайка, издевательство с площадной руганью, тычки в спину и смерть у стенки от тех, за кого три года нес терновый венец. Он понимает, что все это только ошибка, но от этого не легче, а еще тяжелее...

Ошибка! О, будьте вы прокляты, патриотические идиоты! Ошибка... Такая же ошибка, как если бы вы, идиоты, по ошибке напакостили в священную чашу, из которой верующие приобщаются вечной жизни. Да, конечно, ошибка, но эта ошибка непоправимая... Святой сосуд опоганен, осквер-

нен, и его остается только разбить, разбить вдребезги. О, если бы не отдал револьвера!.. Как же он позволил обезоружить себя? Как он на нагайку не ответил оскорбителю смертью или... не уничтожил себя?.. В будке было тесно и душно. Лежали на полу вповалку, сплетаясь ногами, попирая друг другу лица каблучищами, наваливаясь на спины соседей. Так возят свиней или овец и баранов по железным дорогам. Курили, плевали, харкали и сопели, испуская смрад человеческого слова. Не хотели или боялись говорить. А может быть, и не о чем было уже говорить больше. Не люди, а навоз, подлежащий вывозке. Многие хрипели, точно умирающие. Они были здесь самые счастливые: не думали и не чувствовали. О, если бы заснуть и забыть обо всем на свете, даже о Ладе и о маленькой Евочке!..

– Вы не спите, кажется? – тихо, шепотом сказал кто-то точно на ухо. Поручик вздрогнул и изменил положение. Темно. Только черные сверкающие глаза, точно стальные глаза, и усы.

– Вы меня не узнаете?..

Поручик недоверчиво приблизил глаза к лицу склонившегося над его ухом человека. Что-то шевельнулось в памяти, мимолетное и неуловимое, как увиденный однажды и сейчас же позабытый сон...

Человек со стальными глазами сказал несколько фраз с запинками по-французски. Поручик Паромов огляделся и незаметным толчком посоветовал осторожность.

– Не узнал... – едва слышно, заглушая слова кашлем, сказал он и, отыскав руку летчика, тайно крепко пожал. Неожиданная радость: такая же глупая ошибка. Белый, попавший по злой иронии случая в красные...

Уже все сопели и храпели, измученные и обессиленные от мук пережитого и ожидания грядущего дня, и будка от этого разноголосого храпа, свиста и сопения напоминала какую-то необыкновенную работающую полным ходом машину. Не спали только поручик Паромов и летчик Соломейко. Они лежали рядом и шепотом разговаривали, моментами затихая и оглядываясь. Полным ходом работает странная машина – можно говорить и не бояться, что скажешь что-нибудь ненужное, неосторожное. Впрочем, боялся этого поручик Паромов, а летчик Соломейко забывался и часто переходил от шепота по-французски на разговор вполголоса по-русски. Поручик Паромов брал его за рукав и дергал, а Соломейко ухмылялся и произносил:

– Вы забываете, что мы все-таки не в гостях, а дома... Вот чертово время: стали забывать сами, кто мы: белые или красные...

Крепкий уравновешенный человек этот Соломейко: и тут не перестает острить и смеяться. Это действует на Паромова, как прием лавровишневых капель. Метель и вихри на душе затихают, и боль, и оскорбление, которые недавно казались вечными, окрашиваются не в трагический, а комический цвет. В наши дни все бывает, и не надо ничему удив-

ляться, не надо ничем возмущаться, надо только не терять спокойного духа, взвешивать и овладевать обстоятельствами.

– Я уж был раз под расстрелом... Однажды сам себя приговорил к расстрелу... И вот, как видите, жив. И теперь, поручик, умереть мы не умрем, только время проведем, как поется в солдатской песенке... – Соломейко, опершись на локоть, стал рассказывать случай, приведший его в будку: прилетел ночью не туда, куда было надо, и спустился у красных. Арестовали и вот так же посадили с другими пленными в сарай. Раздели всех, чтобы получить вражеское обмундирование в полной чистоте, без кровавых букетов. На рассвете начали выводить партиями на расстрел. Он в первую партию не попал. Ждал очереди. Пришло в голову рискнуть: поставить на карту полчаса оставшейся жизни. Подговорил оставшихся сотоварищей, и все по знаку кинулись к двери амбара, наперлись разом, и дверь распахнулась. Выбежали под носом у часовых и в разные стороны. А выпал большой снег, сумерки еще висели. Часовые, конечно, за ними, открыли стрельбу. Только цель-то скользкая: большинство в белом нижнем белье, по снегу-то и совсем не видать, а тут еще и крылья за спиной выросли. Несколько человек убили, а большинство уткло...

– А совсем, было, приготовился умирать. И Господу помолился. Я, знаете, стал фаталистом. Чему быть, того не миновать. В свою судьбу верю.

А вот еще случай: прилетел он под новый год с важной экстренной эстафетой на одну станцию, а рядом на соседней – красные. Все в суматохе, настроены нервно. Возвращаться ночью не было сил, да и мотор что-то пошаливал. Морозы стояли. Решил заночевать. Выпили коньяку, поздравились. Без этого, как известно, и смерть не красна русскому человеку; он так устал, что уснул, как младенец, отвалившийся от груди материнской. Положили его в билетной кассе, в углу за печкой. Тихо. Печь крепко истоплена. Хорошо. Слышал ночью какую-то возню, беготню, крики, но сон казался милее жизни: до конца не проснулся. А рано утром просыпается: тихо. И пришло в голову, что «свои» отступили, забыли про Соломейко. Посмотрел он в окно: китайцы трех пареньков ведут. Ну а если китайцы, значит, станция в руках у красных. Так вот почему ночью была суматоха и беготня! Что же теперь делать? Осталось одно – пустить себе пулю в лоб, чтобы не утруждать китайцев. Запер дверь, приготовил револьвер. В этот момент шаги по коридору. Кто-то остановился у запертой двери и взялся за ручку. Соломейко всунул было дуло револьвера в рот, да пришла мысль, отправляясь на тот свет, прихватить с собой хотя бы одного большевика: направил револьвер в дверь и начала сажать пули. А за дверь крик и знакомый голос:

– Соломейко! Что с тобой? Опомнись!

Слава Богу, не убил. А оказалось, что впал в ошибку. Со сна да с похмелья все сам сочинил и стрелял в приятеля,



коменданта, который пришел будить и звать к чаю.

– А китайцы? – шепотом спросил поручик Паромов.

– Не китайцы, а казаки-калмыки это были и вели захваченных красноармейцев... Почему я не выстрелил в рот, отложив это удовольствие на одну только минуту? Не судьба еще умереть. Я фаталист...

Долго разговаривали. Поручик Паромов совсем забыл обиду и оскорбление. Завтра все выяснится, и будут сожалеть и извиняться. Все-таки так оставить этого невозможно. Паромов лично явится к полковнику и доложит об этом безобразии. А впрочем, полковник тоже порядочный хам. Кричит и третирует, как мальчишек. Вообще теперь «они» облипли, как и большевики, всякой дрянью, которая за спинами других обрабатывает свой патриотизм в звонкую монету... Опоганили, подлецы, чистое знамя Корнилова.

– Слышите?

Оба насторожили уши: орудийный выстрел. С которой стороны?

– Красные! Это бронепоезд лупит. Во! Не так далеко...

– А вот и наш ответ.

Грохнуло орудие близ станции, и стекла в маленьком окошке зазвенели мелкой дрожью. Почти все проснулись и сели. Начали беспокойно шептаться и тихо переговариваться. В глазах большинства загорелся огонек тайной надежды. Только Соломейко и Паромов беспокойно посматривали друг другу в глаза и бросали только им самим понятные

фразы и одинокие слова...

Пугливый рассвет мутно поглядывал в окошко и вздрагивал при каждом орудийном выстреле. Застрекотал пулемет, отдаваясь эхом в близком леске. Долетел со станции крик людей и ржанье коней.

Соломейко приподнялся и, ковыляя меж телами, лежащими и сидящими, пробился к окошку. Посмотрел и стал тискаться к двери. Делал какие-то знаки рукой Паромову, но тот не замечал, продолжая углубленно смотреть внутрь своей души. Шум голосов и топот казацких коней остановился у будки. Загремел замок, и дверь, распахнувшись, закрыла Соломейко.

– Обрадовались, сволочи? Обрадовались?

И затрещали выстрелы винтовок, злые, торопливые, сливающиеся в барабанную дробь, а на полу будки застонали и закрутились люди. Вскакивали, метались, бросались друг на друга, ползали около стен, по полу, что-то вскрикивали и, взмахивая руками, валились и стучались головами о пол... И все это продолжалось не больше десяти секунд, а потом сразу тишина и топот лошадиных ног в отдалении.

– Поручик! За мной!..

Поручик Паромов приподнялся на руке, улыбнулся Соломейко и снова опустился...

– Прощайте... – с хрипом прошептал он...

Подполз к раскрытой двери один из раненых: цепляясь за косяк и обмазывая его кровью, поднялся на ноги и, покачи-

ваясь, как пьяный, стал кричать, неуклюже взмахивая в воздухе одной рукой:

– Товарищи! Товарищи!..

На станции кричали «ура», и эхо его повторял лесок, куда убежал Соломейко... На полу, в будке, сидел и радостно хныкал парень с бабьей рожей, обмазанной грязью и кровью:

– Наши, наши, наши...

Поручик завозился и тоже сел. Глаза его блуждали, и в них было безумие и ужас. Он остановил неподвижный взор на хныкающем парне, и тот стал ему улыбаться. Потом парень засмеялся и закричал Паромову, помахивая рукой:

– Жив? Наши, брат, пришли... Радуйся!

Поручик кивнул головой, улыбнулся и снова лег, положив голову на ногу убитого соседа. Лежал, напряженно силился что-то вспомнить, и в его памяти вдруг ярко вырисовался «синий раскрытый глаз», который не хотел закрываться...

– Давайте-ка носилки, товарищи!.. Здесь живые есть...

## Глава четвертая

Если «Бог есть любовь», то любовь есть Бог...

В любви все: цель, смысл и красота жизни. От нее все чудеса на земле и на небе. Она творец всех драгоценностей, видимых и невидимых. Она – гений творчества, гений искусства, величайший архитектор, скульптор, художник, поэт и музыкант. Произведения ее гения щедрой рукой разбросаны на каждом нашем шагу, но мы так привыкли к этим чудесам, мы так невежественны, что не замечаем их и считаем чудесами. Только уродство, извращение, безобразие бросаются нам в глаза и кажутся «чудом», а красота уходит из поля нашего внимания... Разве не чудеса творит любовь, украшая землю неисчислимым количеством цветов изумительной красоты и разнообразия в форме, рисунке и сочетании красок? Разве, помимо этого, любовь в мире не творит нам еще певцов, музыкантов, целые хоры и оркестры, славословящие любовь, радость и красоту мироздания? Мы любуемся цветами, пьем их аромат, слушаем дивных солистов и хоры и оркестры пернатых, но совсем не задумываемся над всеми этими чудесами. Не в тысячу ли тысяч больше творит всяких чудес любовь в душах человеческих? Не она ли делает нашу душу зеркалом, отражающим образ и подобие Божие? От любви вся наша поэзия, недаром называемая «божественной», все наши искусства, наука, религии и мечты о наступлении Цар-

ства Божия на земле. Ведь все религии, все социальные утопии, все научные теории о будущем социальном счастье в конечном счете питаются от живой воды того же источника жизни – любви человека к человеку. И когда покидает Любовь душу человеческую, из нее уходит Бог и вселяется – Ненависть. Дьявол. Зверь из бездны. Душа человека превращается в темную и страшную бездну, в которой нет ни красоты, ни творчества, а только хаос разрушения и смерть...

Такие мысли часто бродили теперь в голове Паромова в бессонные ночи, когда лазаретная палата погружалась в молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием раненых да порою их стоном, бредовым смешком или вскриком ужаса, и неожиданно в слабо освещенной палате, как в сумраке предрассветном, появлялась, как ангельский призрак, белая и стройная фигура женщины. Неслышными шагами эта женщина подходила и склонялась над изголовьем больного и так удивительно спокойно, кротко и ласково шептала что-то, стараясь не разбудить других. Изредка ее шепот переходил в речь вполголоса, и тогда, казалось, вся палата наполнялась отсветом ее души: любовью к человеку... Тогда Паромов думал: чудо любви воплотилось прежде всего в женщине, в ее материнстве, и через нее, через женщину, сохранилась и прячется любовь в наши страшные дни. Только женщина спасет мир от хаоса и разрушения, ибо в ней, в ее материнстве, вечный источник жизни и победа над смертью...

Паромов смотрел на белый призрак, от которого источа-

лось столько кроткого и нежного терпеливого сострадания, и тихая нежность начинала теплиться в его душе, на глаза навертывались слезы умиленности и такой безграничной благодарности, что хотелось перекреститься на нее, как на образ Богоматери. Кто она, эта странная в наше время душа? Ее все так любят, ревнуют ее друг к другу, как дети к матери, называют «сестрицей», и так преображаются их лица, когда она говорит с больными, каждый из которых недавно еще носил лик звериный. Вчера в страшных мучениях умирал на соседней койке, слева, бородатый красноармеец, мужик из Ярославской губернии. Тяжело умирал, в сознании, хотя говорить уже не мог. Объяснялся лишь глазами и жестами. Такая бездонная тоска смотрела из его синих глаз.

Успел давно рассказать Паромову, что у него дома – жена и трое детей, и заставлял писать домой письма. Вчера с утра лишился языка и только метался и с тоской смотрел вокруг, словно все искал кого-то. Когда подошла сестрица, он улыбнулся, поймал ее руку и не выпускал. Так и отошел в другой мир с крепко сжатой рукой сестрицы...

Кто она? Одно ясно: не демократического происхождения. Тонкий профиль, построение речи, чуткость соображения и «музыкальные руки». И улыбка и голос – тоже, как музыка, и жесты и походка – все говорит о породе и высокой культуре. Нет, она не «из красных». Хотя иногда и употребляет слово «товарищ»... Когда она смотрит в глаза Паромову, она словно видит и понимает, одна только догадывается,

что он вовсе не «товарищ Горленка»... И, может быть, поэтому она уделяет ему так много внимания, и в глазах ее, устремленных в его душу, всегда точно вопрос: «Кто ты?..» Так хотелось бы иногда признаться, сказать ей всю правду, рассказать, как это случилось, что он превратился в «товарища Горленка», недостреленного «белыми», но даже ночью, когда сестрица подходит к его постели, кто-нибудь из больных ревниво следит за ней, завидуя, призывает:

– Подойди и ко мне, сестрица!

А рядом, справа, лежит глуповатый парень с бабьей рожей. Он положительно влюблен в сестрицу. Даже если дремлет и лежит лицом к стене, то чувствует, когда в палате появляется сестрица: очнется, перевернется, и на его широком и курносом лице засияет улыбка... Смешной такой парень. Должно быть, еще в будке он почувствовал к Паромову симпатию. За то, что тот заступился, когда казак ударил его по носу. Называет Паромова «товарищем Мишей» и делится такими интимностями, словно они друзья детства или закадычные приятели. И, несмотря на все это, «товарищ Ермишка», так он называется, ревнует, сердится и подслушивает, о чем разговаривает сестрица с «товарищем Мишкой». Тогда Мишка, а не Миша. Вмешивается в разговор и наивно так спрашивает:

– Пошла бы ты за меня, коли я посватал бы? Теперь можно, по декрету.

А то еще откровеннее:

– Сестрица! Погляди, что ли, на меня! Что ты все глаза на Мишку пялишь? Он – женатый. Не верь ему.

– Я замуж не собираюсь, товарищ Ермиша.

– Прямо сказать – монашенка... Не одобряю я твоего поведения... Покуда молода да красива – только и погулять.

Нет ни места, ни минуты для раскрытия тайны. Да и зачем ей знать, что Горленка вовсе не Горленка, и что он – не «красный», а «белый»?.. Не все ли ей равно? В ее глазах светится только любовь к человеку и его страданию. Часто Паромов смотрел на нее и думал: если бы он был художником, то непременно написал бы с этой женщины молодую Богоматерь после Благовещения. Когда он впервые увидел ее, очутившись в красном походном лазарете, он сразу чему-то удивился в ее лице, в глазах, в улыбке и голосе. И захотелось спросить, как ее зовут. Она кротко улыбнулась и, смотря в глаза прямо так, как смотрят чистые дети, ответила:

– Называйте, как все, – сестрой.

А так хотелось узнать. Зачем? Бог знает. Лежал иногда и угадывал: Любовь? Вера? Надежда? Непременно из этих трех. И вот сегодня, совершенно случайно и не гадая, узнал. Прочитал на носовом платке, позабытом сестрой на столике у его кровати: «Вероника». Не угадал. Никому не сказал, даже Ермише, который тоже не раз интересовался: «Как звать-то тебя?» Так приятно было сознавать, что никто в палате не знает, а он знает. Прочитал на уголке платка «Вероника», вдохнул ландыш духов, источавшийся от полотняного плат-



ка, и спрятал его покуда под подушку. Лежал и улыбался: вот он поразит, назвав ее по имени! Все ждал, когда подойдет к нему «Вероника». И имя, и духи – все из «старого мира». Непременно она носит, как и сам он, тайну. Старался разгадать эту тайну, фантазировал и сочинял: была богата и счастлива – это видно даже по платку, – кого-нибудь любила и, желая спасти, пошла к красным в сестры милосердия. Нет, не то. Тогда откуда в ней столько любви и совсем нет неприязни и хитрости? Загадочно. И неразгаданная тайна приковывала его мысль и рождала постоянные думы об этой женщине. Случая поразить не выпадало. Не хотелось, чтобы Ермишка услышал, как он назовет ее «Вероникой» и удивит. Хотелось сделать это тоже тайно, для двоих. Случилось это вечером. Ермишка поплелся «до ветру». Койка слева опустела: труп синееокого ярославца унесли уже, и никто не согласился лечь на его место, а новых не привезли еще. Она подошла, чтобы дать лекарство. Он, выпив с ложки противную микстуру, опустил приподнятую голову снова на подушку, вспомнил вдруг про «тайну» и тихо произнес:

– Благодарю, Вероника...

Сестра точно испугалась собственного имени. Так неожиданно оно для нее прозвучало в устах этого чужого человека. Выпрямилась и удивленно раскрытыми глазами длительно посмотрела в лицо «товарища Горленки». Покраснела и быстро отошла, не проронив слова... Поразил!.. Отчего она покраснела? Испугалась? Может быть, как и он, она здесь

под чужим именем и личиной? Значит, угадал?

С этого момента Вероника заметно стала бояться Горленки, хотя часто он замечал, как она с беспокойным любопытством бросает и задерживает на нем свой взгляд издали. Если бы знал, что так случится, не стал бы поражать. Точно отпугнул ангела от своей постели.

– Сестрица! Что ты все к другим, а к нам не подходишь? – жаловался иногда Ермиша, почувствовавший внезапную перемену отношения. Ермиша сказал прямо, бесхитростно, и, должно быть, тоже напугал этим сестру. Видимо, ей не хотелось, чтобы ее «уклонения» от постели Горленки замечали другие. Она стала подходить, но больше к Ермише, отчего он приходил в буйно-радостное настроение.

– Что, Мишка? Ко мне передом, а к тебе задом больше кажется! – удовлетворенно подшучивал он над соседом, когда поговорив с Ермишей, сестра только на мгновение приостанавливалась и, не глядя в лицо Горленки, мимолетно спрашивала:

– Вам ничего не надо?

И уходила.

Наблюдательный Ермишка, хотя и кажется глуповатым, спрашивает вдогонку:

– А почему такое: мне говоришь «тебе», а ему – «вы»? Теперь, по декрету, все господа.

Сестрица стала говорить Ермише: «Вы, товарищ». Одинаково обоим.

Однажды ночью, когда загрязненная рваная рана от лошадиного копыта на ноге Горленки повела к признакам заражения крови, Вероника стояла, склоняясь над его постелью, и слушала его пульс: он очнулся от забытья и остановил на ней изумленные лихорадочные глаза с расширенными зрачками. Не сразу узнал.

– Господи, как я давно не видал тебя, Лада.

– Очнитесь! Вы бредите...

В жару он все перепутал. Он был рад Веронике, а смешал ее с Ладой. И потому сказал «ты». Но он не понимал, что он спутался. Он действительно обрадовался, увидав лицо Вероники. А потом опять затмение: почудилось, что присевшая на постель женщина – жена, Лада, и он поймал ее руку и стал гладить. Заговорил что-то про красных...

Женщина закрыла ему губы ладонью руки, чтобы никто не расслышал, что говорит он в бреду, а он, продолжая путать два женских образа, стал целовать ладонь, заграждавшую его уста. Потом он сразу очнулся: сестра положила ему на голову гуттаперчевый блин со снегом...

– Не надо говорить, – смотря в глаза больного, сказала сестра и сделала едва уловимый знак движением глаз. – Не надо говорить... Поняли?

– Что ты все с ним возишься? Ни хрена он не понимает. Помрет, видно, – сказал Ермиша, спуская ноги с постели. – Сходить до ветру...

Когда Ермиша, шлепая громко огромными башмаками,

уплелся, Вероника наклонилась к Паромову так близко, что завиток ее шелковых волос защекотал ему щеку, а губы коснулись уха и сказали:

– Вы говорите и выдаете свои тайны.

А потом встала и уже строго сказала:

– Нельзя снимать пузырь с головы!

Потом она еще несколько раз ночью приходила к постели Паромова, меняла компресс и тревожно прислушивалась к его дыханию. Он каждый раз узнавал ее и говорил:

– Вы измучились... Идите и спите...

– А говорить не будете?

– Нет. Я теперь в здравом уме.

Перед рассветом она была последний раз. Мерила температуру. Он взял ее руку, лежавшую поверх его одеяла, и приоткрыв несколько раз коснулся ее своими губами. Не отнял. Она была грустна, расстроена и задумчива. Точно отделилась от мира видимого и улетела в невидимый.

– Температура спадает, – подумала она вслух рассеянно и пошла. Паромов проводил ее глазами до самой двери, за которой она скрылась. «Опечаленная любовь, – подумал он. – Тяжело, должно быть, таким душам жить в наше страшное поганое время. Только здесь, в лазаретах и больницах, спрятавшись в сердце женщины, еще, как свет во тьме, светит любовь укрощенным страданиями людям...»

## Глава пятая

Странное притяжение душ, впервые и случайно встретившихся, почти ни слова не сказавших о себе друг другу. Вероника хочет скрыть это, но не удается. Паромов чувствует ее тяготение. Оно проскальзывает в мимолетном взгляде, в холодно произнесенном вопросе, в самой позе, когда она стоит близко. И сам он испытывает то же самое. Он чувствует Веронику на расстоянии. Иногда лежит с закрытыми глазами, и вдруг что-то заставляет его раскрыть их. Озирается и видит Веронику. Что это такое? Откуда это взаимное тяготение? Люди науки, уклоняясь от многого чудесного и необъяснимого в нашей жизни, в ответ только улыбнутся и скажут: «Сродство душ», – скажут, конечно, с оттенком иронии. Логичнее, убедительнее и красивее объясняет это буддизм: две души, знавшие и любившие друг друга в веках прошлого, встретились в новых перевоплощениях и узнали друг друга тайно от нашей новой материальной сущности... И в самом деле, при первом же взгляде на Веронику у Паромова явилось такое ощущение, словно когда-то, очень давно, он уже видел и знал точно такую же женщину. Потом он стал чувствовать смутное беспокойство. Словно все хотелось что-то вспомнить, когда говорил с Вероникой. Это прямо удивительно: если он лежит и чутко дремлет, он сразу пробуждается, когда Вероника, даже издали, остановит на нем свой

взгляд. Должно быть, то же испытывает и она. Хочет скрыть и не удастся: и в мимолетном взгляде, и в пустом будничном вопросе, и в том, как она дает ему лекарство или слушает пульс и сердце, в самой позе, когда Вероника подходит к нему, во всем прорывается нечто особенное, неуловимое и безымянное, что пропадает, когда она смотрит, говорит, дает лекарство вообще, всем другим. И доброта, и улыбка – всем, кроме него, одинаковые. К нему, может быть, даже меньше этой видимой доброты, ласки, улыбок сочувствия, чем ко всем другим, но за ними есть какая-то тайная и неразгаданная еще близость. Не потому ли он, уже зная, что ее зовут Вероникой, называл Ладой, именем самого близкого ему в жизни человека? словно душа искала материальных форм для выражения чувства неосознанной еще близости...

Когда однажды она целый день не появлялась в палате, Паромова охватило странное чувство: тоска и скука, смешанные с непрестанным ожиданием, от которого утомлялись нервы, зрение и слух. Почему ее нет? Что с ней случилось? А вдруг она уже больше не появится? Моментами почудится ее голос – и вздрогнет душа. То шаги – поднимает голову и посмотрит. Почему он так ждет и почему думает о ней, а не о Ладе?.. Нет, это так... Разве можно забыть Ладу, разлюбить Ладу? Никогда! Он старался заставлять себя думать о Ладе, вспоминал ее глаза, улыбку, ласку, и как-то незаметно мысли о Ладе переходили в мысли о Веронике, сплетались, перепутывались, и наконец, Лада уходила, и

оставалась Вероника... Ловил себя на этом и пугался. Что же это, в самом деле? Неужели он... Какая чепуха! Вслух смеялся, отвертывался к стене лицом и решал заснуть. Но вот опять чудится вдали голос Вероники. Пришла? Нет. Померещилось. Вечером не выдержал и спросил у сиделки:

– А где сестра?

– Заболела что-то. Не тиф ли... На той половине – тифозных насовали.

– Не померла бы! – сказал Спиридоныч и вздохнул.

– Очень просто, – заметила сиделка.

Сразу заболела душа. Точно самый близкий человек хворал и может умереть. Точно телеграмму получил об этом, и надо сейчас же что-то сделать, куда-то поехать, что-то предпринять. И от того, что он ничего не мог сделать, душа разрывалась на части.

– Как же это так?..

Всю ночь не спал, прислушивался. Когда появлялась сиделка, подзывал и спрашивал:

– Ну как? Сестра?

– Получше.

– Доктор был?

– Ждем.

Следующий день прошел в напряженном мучительном ожидании. Был доктор у сестры, и в палате говорили, что – «тиф», заразилась...

– Ну, вот и все! – повторял Паромов и думал о смерти,

о гибели молодых и прекрасных душ, о том, стоило ли ей «класть душу» вот за такие «друзи», как Ермишка, Гришка, хулиган Ерепенников? Ведь таких неисчислимо множество. Жизнь этой прекрасной женщины он мысленно называл «редчайшей драгоценностью». Не на фальшивые ли бумажки променивает она эту драгоценность? Даже являлась мысль дерзновенного и кощунственного характера: убивают самых лучших, умирают тоже самые лучшие, – где тут смысл Божественной справедливости?..

Однажды поделился своими мыслями и сомнениями со Спиридонычем:

– Почему, товарищ, всякая сволочь живет и преумножается, а вот такие, как наша сестрица, за все умирать должны? Как ты полагаешь?

Спиридоныч высказал несогласие, замотал головой:

– Не за сволочь она муку на себя приняла, а по любви великой, по Христовой заповеди, друг...

– И за эту любовь должна жизнью заплатить? Почему, спрашиваю, сволочь живет и наслаждается, а вот она...

– Премудрость Божия, брат! Может, они, такие-то, самому Богу нужны? Вот Он и подбирает их с грешной земли.

Паромов рассердился:

– Чепуха! Хорошие-то на земле, братец, нужнее, чем на небе. Там и так всяких праведников и святых много.

– Господу, братец, виднее, кого куда определить – вот что! Кто знает? Может, и так, что видит Господь судьбу челове-



ческую на земле и жалеет: смерть посылает, чтобы укрыть от злобы и страданий... Видишь, как у нас на земле жисть-то стала?.. Хуже ада кроmeshного...

И Спиридоныч начинал рассказывать разные «божественные истории» о промысле Божьем, о чудесах разных, о предопределении. Много знал он таких случаев, как из божественных книг, из жития святых, так и из своего житейского опыта. Начнет рассказывать – и конца нет!..

Спиридоныч мурлыкает, а Паромов думает о прекрасной женщине.

Прошел еще день, а сестрица не появлялась. Зато вечером оба обрадовались:

– Ну что? Как сестрица? – спросил Паромов у сиделки.

– Получше. Спал жар-то. Ослабла уж очень.

Какой горячей радостью облилось сердце Паромова, когда Вероника снова появилась в палате. Точно пасхальный звон в душе затрезвонил...

Ну и доктора пошли: крапивную лихорадку от тифа не отличили! Хорошо, что в тифозную больницу не увезли. Это нередко случалось. Похудела, глаза еще больше сделались, а голос еще нежнее. Как музыка этот голос в палате. Улыбнулась кроткой печальной улыбкой издали Паромову. Совсем нестеровское лицо. Есть у него такая молодая инокиня... Подошла и спросила, как он себя чувствует.

– Я так боялся за вас. Все мы боялись... Зачем вы рано встали с постели? У вас такой измученный вид... Я думаю,

что у вас все-таки есть жар...

– Никакого жара.

– Лихорадочный румянец на щеках и глаза...

Румянец сделался еще ярче. Она немного растерялась, спрятала лицо под приспущенным белым платком и отошла к другой кровати.

«На кого она похожа? Где он видел это лицо?» – часто думал Паромов, но тщетно рылся в черепках и обломках прошлого. Точно такой же вопрос, казалось, рождался и в фиалковых глазах Вероники, когда они останавливались на Паромове. И опять приходила в голову идея перевоплощения душ...

И вот неразрешимая загадка наконец неожиданно разрешилась.

Был вечер. Почти все в палате уже спали. Только в дальнем углу, около постели появившегося сегодня новичка сбился кружок бодрствующих. Новичок рассказывал о своих геройских подвигах и о том, как его ранили. Раз десять уже он успел рассказать, как все случилось, но любопытство не прекращалось и поставляло терпеливых слушателей герою. Там были и Ермишка со Спиридонычем. Это было необычно и сразу взволновало Паромова. Тихо прошла к нему Вероника и сказала, что надо сосчитать пульс и померить температуру.

Подсела на его койку и взяла руку. И вдруг пришла к нему в голову несуразная мысль, что Вероника его любит... Засту-

чалось тревожно сердце, и страх и радость нового ожидания, казалось, полились по всему его телу, по всем его уголкам... Его рука дрожала, и не сразу нашелся пульс. Потом, посчитав пульс, Вероника удивленно посмотрела своими фиалковыми глазами ему в лицо. Должно быть, пульс был ненормальный. Встретив эти глаза своими, Паромов неожиданно почувствовал, что... любит эту женщину. И почудилось, что фиалковые глаза это поняли и сказали: «Да».

– Странный пульс... вы здоровы?

Паромов не ответил. Вероника встряхивала термометр, смотрела в пространство и точно кому-то невидимому, стоящему перед ней в пространстве, тихо говорила:

– Вы так удивительно похожи на... Если у вас есть брат, то его зовут Борисом.

– Вы знаете? – спросил Паромов почти с ужасом. Она слегка кивнула головой и снова в пространство спросила тихо:

– Жив?

– Не знаю. Если жив, то в Крыму.

– Знаю. Я – туда...

Но тут вернулся Ермишка:

– Все с ним возишься... Что, его жизнь-то тебе так дорога? Небось, мне не меряешь температуру-то...

– Ты здоров.

Тихо пошла из палаты и белым призраком исчезла в дверях. Паромов лежал ошеломленный: он сразу вспомнил. Это

Вероника Павловна Стораневич, невеста брата Бориса: портрет ее он видел у брата... Узнала! Неужели они так похожи? Так вот в чем разгадка ее тяготения? Только? Не любовь, а только воспоминание о Борисе рождало все его иллюзии? Отражение любви к другому?

И опять не спал и возился, точно нужно было разрешить трудную задачу. Решал, смотрел в «ответ» и убеждался, что решил неверно. И снова решал. А задача была такая: как назвать то, что происходит теперь в его душе? Бог знает что. Точно она его уже любила, а теперь разлюбила и полюбила брата Бориса... Как будто была огромная неожиданная радость и вдруг улетела. Пропавший мираж. Видел умирающий от жажды в раскаленной пустыне путник вдаль, над горизонтом, легкие силуэты сказочных замков и голубое озеро с белыми лебедями и склонившимися над водой чинарами, шел быстро и был уже близко. И вдруг все исчезло, и снова песчаное море и раскаленное солнце над головой. Так вот она Вероника, невеста Бориса! Невеста Бориса!.. На свете еще остались девушки, которые называются «невестами»... Ничего не осталось, а вот невесты, оказывается, уцелели. Невесты неневестные. Женихи ищут своих невест, невесты своих женихов. И не подозревают часто, что ищут среди живых мертвого. Жив? А кто скажет? А если убит? Бог знает, что лезло в голову. Иногда делалось стыдно и страшно от тех мыслей, которые рождались в эту ночь. Думал о том, что теперь все скоротечно и все рушится, разваливается. Она ду-

мает, что Борис, уже три года живущий в крови, продолжает хранить в душе непоколебленной идиллическую нежность хрупкого сосуда юной любви. А он... сам? Разве не превратились они на бесконечных фронтах из сентиментальных и романтических любовников в... кобелей, которые бросались на первую подходящую суку? Он помнит, как они с Борисом однажды, перед боем, в котором могли найти смерть, прежде чем идти на геройский подвиг, по-зверски удовлетворили свой половой инстинкт с помощью одной грязной полупьяной бабы... Он, муж Лады, и тот, жених вот этой самой девушки с фиалковыми глазами. Да он, вероятно, и думать-то о ней перестал...

Так он думал. Думал с непонятным злорадством, с сарказмом, с кощунством. Точно ему хотелось злобно втоптать в грязь окружающего всю святость и всю красоту человеческой жизни. И на рассвете он перестал думать и, уткнувшись лицом в смятую комком подушку, стал потихоньку плакать. О чем? Бог знает. Может быть, о том, что Вероника любит не его, а Бориса, а может быть, о том, что не остается ничего святого в жизни, во что можно было бы верить, и за что можно было бы умереть...

## Глава шестая

Говорят, что самый вредный и страшный человек – это человек, прочитавший только одну «умную книгу». Революционная толпа с ее героями кровожадного действия – это все люди, прочитавшие одну «умную книжку» про свободу, братство и равенство.

Теперь, когда красное воинство, попав в лазарет, превратилось снова в мирных Иванов, Петров, в больных людей, и «товарищ» снова почувствовал себя прежде всего «человеком», подобным всякому другому, – красный туман рассеялся, стадное чувство распалось, и красная ненависть стала быстро таять. Как солнышко в непогоду чрез проносющиеся тучи, то и дело из омраченных злобою душ выглядывает Лик Божий. Иногда это выходит так трогательно. На глазах совершается чудо превращения зверя в человека. Смотришь на такого, преображенного, и изумляешься: он ли это, кровожадный зверь, говорит или делает? Гипноз злобы и ненависти, владеющий толпой, теряет свою силу над человеком, и поруганная любовь грустно выглядывает из его души. Там снова пробуждается жалость, сострадание, милосердие, и голос извечной «Божьей правды» начинает тайно, в молчании взвешивать и судить все содеянное в кровавом тумане революционного психоза. Лютые тигры начинают походить на ручных ягнят.

Долга зимняя ночь в лазарете. Делать нечего, днем выспишься, а придет ночь – сна нет. Возьются, вздыхают и все думают. Чего только не передумают эти люди за ночь, до свету.

У Паромова два беспокойных соседа: справа – Ермишка, слева мужик, бывший солдат царский, Спиридоныч. Оба из красной армии. Одолевают ночью разговорами. Все разные вопросы и сомнения. То политика, то совесть. То обе вместе.

Товарищ Ермишка самый ходячий тип из революционной толпы. В голове его такой хаос, такая путаница слов и понятий. Настоящий лесной бурелом. Это самый распространенный теперь герой революционного времени, прочитавший одну умную книжку про революцию. По натуре своей совсем не злой и не жестокий человек. Теперь Ермишка очень часто забывает о том, что он красный, о том, что пришел «последний и решительный бой», и вдруг в своих воспоминаниях начинает хвалить какого-нибудь буржуя или бывшего начальника из «старого мира».

– А вот был у меня приятель, жандарм на станции, – вот был человек! Мало теперь таких. Женился это он на телеграфистовой дочке, на Машеньке. И так это они любовно и согласно жили, что смотреть со стороны было хорошо. И вот как Машенька от родов померла, он сперва пил водку, потом бросил и в монастырь постригся. Ей-Богу! Молодой еще, а так решил, что нет Машеньки – одно утешение пост и молитва...

– Ну и что же?

– Убили, царство небесное... – со вздохом говорил Ермишка и жалел: – Зря убили: вступился не в свое дело, деньги монастырские, то есть кассу на руках имел, а грабить пришли. Ну и убили... Да, жалко. Ребеночек от Машеньки остался. Как в монастырь уйти, он его целовал-целовал, а потом это отдал бабке, махнул рукой и пошел в монастырь... И так, братец, все жалели, что которые плакали... Сирота теперь, круглая. Ни отца, ни матери. Верующий был...

Тут Ермишка задумался, поник головой, а потом спрашивает:

– Есть Он, Бог, или попы обманывают, – как узнаешь? Это, конечно, правильно говорят, что Бога никто не видал, а вот пуля летит... тоже, ведь, оно не видно. А кокнет невидимо – и готов!..

В такие моменты можно было говорить с Ермишкой обо всем: о Боге, о совести, о справедливости.

Но как только поднимались разговоры о политике и Ермишка перевоплощался в героя революционной толпы, он снова подпадал под власть «Зверя из бездны», и лазарет превращался снова в толпу одержимых кровожадной манией идиотов. Ермишка выдвигался в «олатыри», как здесь назывался митинговый оратор, и начинало казаться, что в Ермишке воплотился весь логический и душевный хаос, вызванный революционной бурей в голове народа. Речи Ермишки состояли из бессмысленного набора партийных ло-



зунгов, иностранных слов, перековерканных научных терминов и выражений. Во всю эту бессмысленную галиматью «олатырь» Ермишка вкладывал какой-то особый смысл, и – что всего удивительнее – Ермишку понимали и зажигались от этого набора непонятных слов революционным пафосом. Боже, что говорил Ермишка, этот мягкий и добрый по натуре парень, недавно еще умилявшийся над сентиментальной любовью жандарма к Машеньке! Говорил не злым, а самым мягким и добрым голосом, словно отвечал заученный урок, отвечал без запинки: «Всех буржуев надо убить, оставить только крестьян и рабочих!»... «Не трудящийся не ест!»... «Все города надо взорвать или срыть и на их месте завести инстинктивное хозяйство на принципиальных началах»... «Отрясем прах на интернациональных ногах! Отберем прибавочную неустойку. Смерть капиталу! Золотые или бумажные деньги – это обман народа империализмом с Антанты. Без аннексий и контрибуций! И если ты гражданин нового мира, то пожалуйста: пейте и кушайте и все прочее по ярлыкам или по революционной совести, без всяких денег, потому инстинктивное хозяйство на принципиальных началах. Пролетарии всего мира, объединяйтесь под красным знаменем национализации и социализации человечества!»...

И вот Ермишка в красном преображении. Он маньяк революции, он уже не поддается голосам совести, жалости, для него нет никаких сомнений и вопросов справедливости и

Божьей правды. Чувствуя себя революционным героем, он хвастается окружающим своими революционными «подвигами»: захлебываясь от интереса, он рассказывает товарищам, как изнасиловал барышню, дочку помещика:

– Красивенькая из себя... Все на музыке играла... Как это запалили у них дом, они и начали метаться. Испугались, конечно, что убьем. Кто – куда. Ну, вот, хорошо. Утром я пошел в барский лес – а рано было, чуть только светать стало – гляжу – в кустах под березами что-то белеет. Вроде, как снег. Что, думаю, за диво? И снег-то не выпадал еще, в сентябре было. Неужели, думаю, от прошлой зимы остался? Подхожу это поближе – человек лежит: ноги в полусапожках из кустов торчат. Я еще ближе. Гляжу, а это наша барышня, Лёлочкой называлась, спит. А кофта-то расстегнулась, и титьку видать. Махонькая. Вроде как репа с земляничкой-ягодкой...

Тут рассказ Ермишки прерывается радостным и мерзким гоготаньем слушателей. Слышатся восторги от такого удачного сравнения...

– Ну, товарищи, тут меня и смутило. Почему, думаю, теперь равенство и свобода, а я не могу, а барин нужен? Теперь поравнение всех прав, равная и тайная. Огляделся – никого нет, тихо в лесу. Подполз это я к ней вплоть и лег рядком да за титьку-то ее.

Тут снова гоготание, восторги и смакование момента.

– Проснулась это, глаза раскрыла да башкой в землю. Поджалась вся, кричит и ногами, как коза, об землю стучит. Ис-

пугалась! Потеха! А я это навалился, шарю это ее и говорю: не бойся, ничего не будет!.. С барином легла бы, а с мужиком брезгуешь? Почему такое? Разя мы, мужики, не люди?

– Правильно, товарищ! Прошло оно.

– Лучше, говорю, не кричи, а то вот как! Тут я вытащил одну руку да в шутку ее за шею и давнул маленько. Что такое? Сразу затихла, вроде как кончается. Думал, задохлась. Повернул я ее вверх брюшком, а она и руки и ноги врозь, глаза закатила, а живая: титька-то прыгает да еще пуще дразнится... Ну, что же тут?.. Ну, я ее и тово...

– Ах, сволочь! Счастливый какой!..

– Ничего не составляет, товарищи. Моя Грунька была куда слаще.

– Не померла все-таки?

– Ни Боже мой. Ничего. Пришла в себя, села, в травку глядит и платянце ручкой застегивает, пуговики эти самые... Даже и не заплакала... Постоял это я, плюнул да пошел...

Все одобряли и завидовали. Только солдат Спиридоныч, слушая рассказ Ермишки, хмуро смотрел в землю, раздумчиво покачивал головой, а после вздохнул и произнес:

– Как собаки вы стали...

Спиридоныч вообще был молчалив, задумчив и туго подавался революционному пафосу. Он был много старше всех окружающих и как-то обособлялся от них своей склонностью к порядку, тишине и самоуглубленности.

– Хотя вы и товарищ, а все-таки... пакостник ты, – тихо

отозвался потом Спиридонич на геройский подвиг Ермишки.

Тот обиделся:

– Это почему же, товарищ?

– Кобель!

– Это ты насчет барышни, что ли?

– Насильничать – такого декрету нет.

– Охотой-то ни одна девка в первый раз не дается. Сперва-то всегда насильно приходится, дурья твоя голова. Ты, видно, на вдове женился?..

– Кобель! И говорить с тобой неохота.

– А что ей сделалось? Почему барину можно, а мне нельзя?

– Как собаки мы все стали... Как собаки!.. – самоуглубленно шептал Спиридонич и опять тяжело отдувался. Точно его что-то давило, тяга какая-то невидимая.

Входила тихой поступью сестрица, и вызванные рассказом Ермишки разговоры пакостные сразу обрывались. Точно входила сама совесть: всем вдруг делалось неловко. Почему это? Не потому ли, что появление этой женщины, в душе которой горел огонь человеческой любви, сразу освещало темную бездну ненависти, и люди инстинктивно начинали понимать мерзость свою?

– А вот ты Расскажи-ка сестрице про барышню-то! Что она тебе скажет? – говорил Спиридонич Ермишке. Тот ежился и напоминал провинившуюся собаку.

– Будет тебе... помолчи уж! – просительно говорил Ермишка и виновато топтался, стараясь не смотреть в сторону сестрицы. Ермишка сразу терял уверенность в своих революционных принципах и переставал чувствовать себя героем. А ночью он уже возился на койке и спрашивал:

– Не спишь, Горленка?

– Нет, а что?

– Не спится что-то. А что я хочу спросить тебя: ежели теперь у барышни той... родится, стало быть, младенец...

– Ну! Сын твой от насилия?

– Будет она, барышня, его любить, хотя он... от мужика, то есть от меня?

– Думаю, что будет. Матерью ему будет. Материнская любовь ничего не боится.

– Оно, конечно. Почему не любить? А вот отца никогда не узнает. Не скажет она ему. Не признается.

– А зачем ему знать отца, если отец – подлец?

– Это я то есть?..

И Ермишка замолк. Только возился и шептал, точно разговаривал с кем-то:

– Ничего неизвестно... Сокрыто все от века веков... аминь. Ничего неизвестно. Жива ли, нет ли?.. Эх, пролетарии всех стран...

Наутро Ермишка был уже опять мягкий, добрый, даже застенчивый. Очень боялся Спиридоныча, который все еще поглядывал на него презрительно и со вздохом думал вслух:

– Все люди как собаки стали... все...

Иногда Спиридоныч тихо напевал «покаяния двери от-  
верзи ми» и не замечал, как пугливо избегает его глаз при-  
тихший Ермишка, а товарищи, заслыша гнусавое пение Спи-  
ридоныча, переглядывались и подсмеивались.

– Опять задьячил...

– Ему бы в попы, а он в красную армию. Чудак человек.

Чудак – человек. Однажды товарищи поймали Спиридо-  
ныча за самым контрреволюционным занятием: заперся в  
чулане и молился там коленопреклоненно Богу. Молодой хо-  
тел кому следует донести, обозлился, но узнала об этом сест-  
рица и сказала:

– Никого это не касается, товарищи. Вреда никому он не  
делает, а верить или не верить в Бога – дело нашей совести...

– А пожалуй, что так, сестрица... Ну, пушай его упраж-  
няется... Не троньте!

При всех Спиридоныч никогда не молился. Боялся или  
стеснялся. Иногда Паромов замечал, как он крестится поти-  
хоньку от людей и, выбрав минутку, спросил:

– Почему прячешься?

– Смеются нынче над этим. А в нас слабость пошла: гре-  
хом все хвастаемся, напоказ наставляем свою пакость, а еже-  
ли хорошее что-либо, так боимся либо стыдимся обнару-  
жить. Так-то! Да оно по нашему времени и опасно бывает,  
хорошее-то. Как апостол Петр во дворе первосвященника от  
Христа отрекся, так и мы, случается, отрекаемся. Сделаем

хорошее, то есть по своей совести, а потом испугаемся да скорей грязью и закидаем... Чтобы не видать было этого хорошего-то.

Поговоривши на эту тему с Паромовым в часы ночной бессонницы, Спиридоныч надолго делался угнетенным, пришибленным и сразу как-то старел лет на десять. В такие дни он чаще уходил в чулан и запирался там, почти не разговаривал и не смотрел на товарищей. Что-то случилось с человеком. С большим трудом и болью носит он это в тайниках души своей. В такие минуты смотрит и не видит, слушает и не слышит. Только появляющаяся сестрица озаряет его напряженное лицо неожиданной улыбкой. Точно, увидя ее, вспоминает, наконец, забытое или находит потерянное.

– Вот она ничего не испугается, – произносит, разговаривая сам с собою.

– Что, Спиридоныч, говоришь?

– Такая страха ради не поругается правде Божьей, говорю.

– Про кого это ты?

– Про нашу сестрицу. Гляжу на нее и дивуюсь: что она бьется? Из-за чего покою себе не знает? Почему никакого злого слова не скажет? За всех у ней душа распинается... Не всякому дано, голубчик. Какого звания она, все понять не могу. Если из благородных, так проста уж очень, а если из простых – благородна очень.

– Что ты больно задумчив стал? Нездоровится? – спросил однажды Паромов.

– Нет. Что мне делается? Живу. Нездоровье мое другого сорту. Нет такого снадобья, чтобы выздороветь... Горбатого, видно, могила исправит... Как-нибудь расскажу, покаюсь тебе. Ты поумнее тут других-то... Все хочу с сестрицей, поговорить да облегчить себя. Только все время не выберу. Хочу, хочу, а боюсь. Глаз ее добрых боюсь. Этим всем что рассказывать? Только похвалят. А мне не то нужно. Хвала-то мне будет, как молитва Дьяволу. Тебе я тоже хочу рассказать... Чтобы ты знал мой страшный грех.

– Э, Спиридоныч, теперь никакими грехами никого не удивишь. Все – в крови.

– Так-то оно так, а за что убить? Ежели врагом считаешь, нападение на тебя, или свою слободу и права защищаешь – на то она, война; не ты, так тот тебя убьет. Вроде как будто и нельзя без этого. А у меня случай другого сорта. Любил я одного человека; много всякого добра от него видел и никакого сердца на него не имел. Были мы с ним, как два брата. Лет пятнадцать вместе на охоту ходили. Ежели бы мне кто раньше сказал, что я убью того человека когда-нибудь, я подумал бы, что – дурак, шутит... И вот этого самого человека я... убил, брат.

– В ссоре или невзначай что ли?

– Спассти, брат, хотел, а наместо того – убил... Хотел свою любовь ему показать, а наместо того любовь-то свою под топором спрятал...

– Не понимаю, Спиридоныч.



– Убил. Топором. Голову отсек...

– За что же?

– Говорю тебе: любовь свою надо было спрятать. Теперь, братец, любовь-то к ближнему твоему, которую нам Христос-то препоручил, дьявол другой заповедью подменил. И хочешь будто всем сердцем возлюбить и любовь свою на деле доказать, а наместо того дьявола тешишь. Так было. Господа у нас были, надо правду сказать, кляузные. Все с мужиками судились, из-за всякого пустяка – к земскому или становому таскали, скотину загоняли для штрафа и всякое. А был у них сын, тот совсем другого сорта был человек: когда на лето с ученья приезжал, то все за нас заступался. Совестьливый был. И вот кончил он свое ученье и приехал из Питера с молодой женой.

Вот я все поглядываю на нашу сестрицу: очень уж она походит на нашу молодую барыню. Другой раз испугаешься: не она ли? – подумаешь... Старый-то барин помер, а молодой в дело вступил, сразу все и развалилось. Отец умел оборачиваться да рожь на обухе молотить. Старого режиму был господин. А этот не умеет, совестится. Долгов много отец сыну оставил тоже. Ну вот и начал он нам землю продавать. Добрый был и совестьливый: против других нам совсем задешево продал. Осталось это у них десятин двести с лесом-то, и нехватки, как видимо, стали одолевать. Вот он, молодой-то, и определился в лесничество. По лесной части он учился. А мы с ним еще и раньше дружками были: все по лесам

да болотам вместе бродяжили, за охотой ходили. Ну, вот, как он лесничим определился, меня лесником на службу взял. Опять вместе охотиться начали. Весь казенный лес исходили, живого места не оставили. Лет пятнадцать вместе охотились и так сдружились, что в другой раз и поза-будешь, что он тебе начальник: промазку какую на охоте сделаем, если я – он меня ругает, если он – я его. Одним словом – дружки. Сколько мы с ним из одной бутылочки, из одного горлышка винца выпили! Возлюбил я его, как брата старшего. Больно уж обходительный был. Деньги есть – не считает. Какая баба придет, пожалобится, что корова сдохла, – «На! Когда-нибудь сосчитаемся». Вот какой был души человек! Сколько он мне греха простил. Прогулял раз деньги казенные – поругался, погрозил, а ничего не сделал, пожалел. И все его уважали до самой этой революции. Ну, а потом... как земля и воля пришла – озверели мужики. Родительский грех вспомнили. Пришли ночью громить. А он понимал, что время такое: барыню с детьми в город переправил, один остался. Думал, видно, так, что женщины и детеныши испугаться могут очень, а что его не тронут... Сам я этого погрому не делал и не видал. От греха ушел из деревни в лес и в сторожке тогда проживал. Думал так, по Писанию: отойди от зла и сотворишь благо. Сперва-то я вступался за барина, когда мужики промежду собой спалить грозили барский дом, а потом бросил: как собаки изорвать в клочки могут за мое заступление... Бог, мол, с вами. Уйду, и кончено.

Как знаете. И вот раз ночью, спал уж я, кто-то в сторожку стучит. Вздул я огонь, ружье взял. Время такое: все может быть. – Кто? – спрашиваю. – Я, – говорит, – Спиридоныч, выручай! – По голосу узнал: барин мой, господин лесничий. Отпер дверь, впустил, вижу – дело неладное: без шапки, чуть дышит, и лица на нем нет... Ну, расспросил: чуть не убили, убежал и скрылся в лесу. – Пусти, – говорит;– переночевать, дай, – говорит, – отдохнуть, больше сил нет. – Заплакал. И так мне его жалко, братец, стало, что и я стал плакать. – За что? – говорит. – За чужие, – говорю, – грехи, за родительские, страдаешь, неповинно. Поплакал, немного успокоился. Я его приласкал, покормил. Затопил печку: дрожит, как в лихорадке. Испугался очень: в огонь чуть не бросили. Прямо чудом спасся: огонь на избы перекинулся, народ и оставил на минуту без внимания. Кругом свет, а чуть подальше и не видать ничего. Убег, и в лес, ко мне. Верст семь бежал. – Выручал, – говорит, – я тебя, Спиридоныч, выручи теперь ты меня. – Ложись, – говорю, – и спи покойно. Я покараулю. Ежели что – разбужу, беги в овраги, к ручью. Туда пищу принесу... – Лег это он на лавке у печи, ножки поджал. Махонький такой стал. Даже и глядеть на него жалко. За что, думаю, такого хорошего человека так обидели? Он и так землю свою почитай даром нам отдал, да и остальную отдаст, ежели серьезно поговорить да припугнуть. И решил я ему помочь в беде по дружеству и любви, по христианству. Придушил огонь, вышел за дверь. На небе это зарево от пожара

играет: деревня горит. Вместе с барином-то, дураки, и себя запалили... Ночь прошла благополучно. Утром дочка ко мне пришла, хлеба да молока принесла. Увидала барина, испугалась. Как уходить, увела меня с собой и говорит: «Найдут и тебя с ним убьют». Я наказал ей молчать, а на душе беспокойство... Не поплатиться бы самому за любовь к нему? – Надо бы, – говорю, – тебе уходить в город. – А он – в лихотманке, головы поднять не может. – Еще, – говорит, – одну ночку у тебя пролежу, а там пойду. – Ну что сделаешь? Под вечер было. Все думаю и беспокоюсь. Около сторожки похаживаю да послушиваю. Совсем стемнело, хотел идти, поужинать да спать лечь: надумался, инда устал. И вдруг – это голоса по лесу... Перекличка. Вроде как на облаве. Сразу догадался: разболтала Маврушка, раскрыла нашу тайну!.. И слышно, что к сторожке все ближе подходят... Вот тут и смутил дьявол-то. Надо было разбудить барина да – «беги, куда глаза глядят», а у меня сомнение: увидят, что от меня идет, догадаются, что я его схоронил от народу. А голоса совсем рядом, за первым поворотом дороги. Я – в сторожку. Бужу, а он спит. И вдруг, это, заместо любви-то злоба у меня к нему. Что же, и я за тебя помереть должен? А голоса все громче да ближе... И злоба и ужась напали... Как быть? Огляделся, это, по избе, и попадись мне на глаза топор... И не помню, что случилось. Схватил, размахнулся, да по шее... Только топор поспел бросить, а в сторожку мужики ввалились. «Вот он где!» – да на меня, душить... «Спрятал». А я вывернул-

ся и кричу: «А вы сперва поглядите, как я его спрятал». Ну, видят, – зарубленный лежит, побили да ушли... Остался я один... Стою и боюсь на лавку глядеть. Сразу, это, раскрылось, какое окаянство я сделал...

Спиридоныч оборвал рассказ и махнул рукой. Лицо его сделалось строгим, глаза – тяжелыми. Опустил голову и руки. Жалобно стонал в палате больной и во сне жаловался Богу: «За что, Господи милостивый».

Спиридоныч поднял голову:

– Вон, днем Бога ругал, а во сне молится душа-то... Да оно так теперь: и Богу-то помолиться на людях опасно... Вот тоже и любить-то человека нельзя. Из любви да жалости хотел человеку жизнь спасти, а вышло... что сам же и убил. Не любовью, а злобой мы все теперь живы... Много ли теперь таких осталось, которые в крови человеческой не запачканы?.. Есть ли посреди нас такие?.. Сестрица милосердная только одна...

Паромов слушал молча, и вдруг в его памяти встала снежная ночь в степи и один широко раскрытый глаз убитого человека. Все уже пропало, только снег, и на нем страшный глаз, который не хочет закрыться и все растет, растет, заполняя собой снежное пространство...

– Третий год вот из головы не выходит, – шепчет Спиридоныч. – Думаю все о нем... Как на охоту ходили, на травушке-муравушке рядом валялись, из одного горлышка водочку пили... и как потом, под взмахнутым топором он осталь-

ной раз поглядеть на меня поспел. И сейчас вот глядит... Глядит и ровно все спрашивает: «За что же ты меня?» А что я могу ответить?

– Гм... да. Ответить нечего – тихо отозвался, Паромов, и оба стихли, перестали разговаривать. Верно, в души обоих смотрели глаза убитых ими людей... Тихо плыла ночь над землей, и в синеватых стеклах окон мерцали далекие звезды.

– Прости ты нас, окаянных! – стонал во сне красный богохульник.

## Глава седьмая

Двух на выписку: Спиридоныча и Горленку. Точно два именинника в палате. Все завидуют. Еще бы не завидовать: прежде чем в свои части отправиться, разрешено домой на побывку на две недели. И в одну губернию. Попутчики. И так сдружились, лежа рядышком в лазарете, а тут счастливый случай. Значит, все – вместе, и горе, и радость пополам... Покуда выпустят, еще дня три пройдет. А терпенья больше никакого нет. Коротают время разговорами. Теперь они, как два отрезанных ломтя. Уйдут куда-нибудь в уголок двора, сидят и все обсуждают, как поедут и что дома делается, и разные душевные разговоры. Не любят, чтобы другие их слушали. Ни к чему. Мало ли что по дружбе говорится? Ермишку особенно боится Горленка: шпионит, все ему интересно, что люди по секретам говорят. Спиридоныч его не боится, но не любит: «Пакостник и больше ничего, хотя и олатырь!» Говорят о разном, а всегда в одно место упрутся: как душу от крови человеческой омыть? Спиридоныч потерял революционный пыл и пришел к выводу, что кровью счастья не купишь, а только свою душу Дьяволу на забаву отдашь. Промахнулся. Доброй волей винтовку взял, а теперь... Никуда не уйдешь: насильно мобилизуют.

– Почему же ты добровольно вызвался людей убивать?

– А так, вроде затмения души. Я смолоду совсем другой

человек был. Родители-то в сектантах были. Секта такая у нас есть – «Новый Израиль» называется. Слыхал? Ну, вот... В молодости-то и я придерживался. Хотя уж по форме-то церкви придерживался, а все-таки шатался... Все настоящую правду искал. Все думал найти, где люди по Христовым заветам живут. Мальчишкой был я набожный, на клиросе пел, кадило попу подавал и руку целовал, а в заутреню на Пасху плакал от радости. Вот какой я был!.. А подрос, еще больше загорелся. Читал Евангелие и божественные книги, ходил на спор попов с разными сектантами, маленько поумнел и сам стал размышлять. Постиг, что где-нибудь между людьми должна же быть Благодать Святого Духа. Вижу, что в православной церкви не горят настоящей правдой Божией, а так, отчитывают только по форме, что положено. И стал я искать. Взял свой инструмент и стал бродить из города в город, из монастыря в монастырь. Прослышал про отца Иоанна Кронштадтского. Говорили, будто в нем Христос воплотился. Вот я бросил работу – церкву тогда в селе под Ярославлем ремонтировали – продал инструмент и пошел в Кронштадт. Не нашел, чего искал. Заговоришь о жизни и поступках отца Иоанна в общине, а кругом рот затыкают: грех – дескать, осуждать и рассуждать не наше дело. Как же это, думаю, не наше дело, когда Господь мне разум дал? Махнул рукой и ушел... И вот впал я, друг, в тоску и в безверие. Пить стал. Доходил до последнего. Штаны да рубаха, и больше ничего. А тут война подошла кругосветная... Нахлебался крови. По-



том эти люди объявились, коммунисты самые. И взбреди в башку, что они-то и приведут настоящую правду Христову на землю... А уж женат был. Не пускала жена, плакала, а я опять загорелся, захотел правде Божией послужить. Ну, вот и того... видишь сам, что на земле делается... Опять в крови захлебываемся... Так-то. Не хочу больше... Не могу. Как винтовку чистить – руки дрожат...

– Да, видно, с винтовкой правды не найдешь... – задумчиво говорил Горленка и, оглядевшись по сторонам, начинал говорить о том, что бросить надо братоубийство это...

– Милый! Верно. А как сделать? Силой заставят. Сунут в руки винтовку, а позади пулемет поставят: иди, убивай! Куда уйдешь от этого окаянства? Некуда. Дьявол царствует над нами. В Писании действительно сказано: отойди от зла и сотвори благо, а ты научи, как отойти! Ты, Горленка, как вижу, много знаешь, вроде как учитель какой, а вот тоже не скажешь, как отойти...

– Можно отойти... Как-нибудь придумаем...

Пролежав два месяца в лазарете вместе с красными, Паромов присмотрелся поближе к врагам и потерял прежнюю злобу к ним. Несчастные, сбитые с толку люди, часто хорошие и добрые, часто обманутые мечтатели, часто подневольные рабы с винтовками, частью фанатики и маньяки, прочитавшие только одну умную книгу о революции. Около них много всякого человеческого хлама и мусора жизни, из породы «паразитирующих»... А встречаются вот и такие, как

Спиридоныч. Немного, но есть и такие праведники, заблудившиеся на путях исканий «правды Божией» на земле... А разве у них не то же? Разве уж так много у них таких «белых» Спиридонычей?.. Разве их не облепили кругом как мухи – сахар, хлам и мусор революции? Разве у них нет фанатиков и мечтателей, тайно лелеющих надежды вернуть прошлое со всей его неправдой, против которой бились и в борьбе гибли тысячи лучших и честнейших русских людей? В этой братской резне погибают праведники, «Спиридонычи» обеих сторон, убивая друг друга. А правда жизни в стороне. Она не принимает ни тех, ни других и делает бессмысленным это взаимное истребление.

Страшный обман и самообман. Величайшая из дьявольских провокаций. И орудие ее – «Зверь из бездны», ненависть и злоба, ослепившие душу и разум человеческий, с одной стороны, творящие вот таких «Ермишек», а с другой, для них, «подпоручиков Изюмовых», сузившие смысл своего существования до одной маниакальной цели – убить как можно больше красных, и ведущих учет своим убийствам в записной книжке. Иногда Паромову приходила такая мысль: если бы заключить перемирие на один только день и перемешать, как колоду карт, красных с белыми, то на другой же день исчезла бы властвующая над толпой злоба, и ненависть и борьба сама собой прекратилась бы. Беспрерывно проливаемая кровь, как керосин для стихающего пожара. Надо положить конец этому кровавому пиршеству Дьявола. Но ка-

кими путями? Как укротить «Зверя из бездны»? Огромное большинство и здесь и там тайно думают, как и Спиридоныч, об отдыхе, о доме, о семье, о тихих радостях мирной жизни, все пресыщены кровью и слезами. Кажется порой, в тихие вечера и тихие беседы людей и здесь и там, что вот стоит только какому-то большому бесстрашному и сильному духом человеку появиться между ними и сказать: «Бросайте оружие убийства и расходитесь по домам!» – и все опомнятся, и кровавый туман рассеется, а люди начнут плакать от радости, что, наконец-то, явился пророк от Господа. Но нет его, пророка! Не является. А являются пророки «Зверя из бездны» и вливают непрестанную злобу в души человеческие. Но как же быть тем, кто прозрел? Как быть, если ты освободился от власти «Зверя» и не злобу, а тоску и сожаление рождает этот бал Сатаны? Во имя чего убивать? И кого убивать? Слепых и обманутых? Во имя родины? Но родина прежде всего в твоём народе, стало быть, во имя родины убивать родину? Во имя освобождения ее от губящих ее фанатиков? Но фанатики есть и здесь и там, и в этом братоубийстве они всегда Каины, а не Авели. Родина! Огромная, великая, необъятная родина... в руках кучки Каинов. Откуда их сила? Только в пробужденном ими «Звере», и пока мы во власти «Зверя», мы будем оставаться рабами нашей злобы и ненависти... Надо утишить бездны людского моря, надо убить самого «Зверя». Другого выхода и спасения нет. А его не убьешь ни пулями, ни снарядами. Он, как сказочный дра-

кон: вместо каждой отрубленной головы у него вырастают две новых. Его убить можно только любовью. Вот такой любовью, которая, как неугасимая лампада перед образом, в душе сестры Вероники к несчастным обманутым людям... Не идея социализма или коммунизма, или монархизма, или какая-нибудь другая политическая или социально-экономическая идея выведет нас на путь к «Светлой Обители», а только освобождение душ от власти «Зверя». Только когда стихнут вихри над взбаламученным морем и «Зверь», вышедший из черных бездн, снова провалится в бездны морские, выглянет солнышко любви. И тогда исчезнут, как дым, как воск перед лицом огня, фанатики – отражение лика «Звериного», и «Волки в овечьих шкурах», пасущие стада озлобленных и слепых.

Такие мысли и раньше приходили в голову Паромова, а теперь, когда он пожил рядом с «врагами» во вражеской шкуре, стояли неотступно и преследовали душу, требуя действительного отклика. Но что же делать? Если ты здесь будешь проповедовать: «Долой гражданскую войну!» – тебя расстреляют, как самого злейшего врага; если будешь делать это там – сделают то же самое. Не проповедовать, а просто бежать от убийства – тогда и здесь, и там ты дезертир, подлежащий расстрелу или повешению.

Так в долгие зимние ночи, в стане врагов, созревала в душе Паромова идея «вооруженного нейтралитета» – вооруженное дезертирство...

Ну вот и пришел долгожданный день освобождения. Всю ночь Горленка с Спиридонычем глаз не смыкали: не спалось от волнения и радости. С солнышком поднялись и стали в дорогу снаряжаться. И собирать-то нечего, а все гребтилось. Не умели своей радости спрятать: все улыбались да посмеивались. А товарищи все растревожились, тоже рано, как куры с насёдел, с коек поскакали, а зачем – и сами не знают. Лежали только те, кто совсем не вставал. По-разному в их душах это событие отзывается: одних раздражает, и они тихо ропщут:

– Воюй, воюй – все конца нет.

Другие посматривают с плохо скрытой завистью, иные с печалью в глазах: вспомнили родной дом, деревню, кто – мать, кто – жену, молча вздыхают. Некоторые зло подшучивают:

– Ты, Спиридоныч, молебствие бы в чулане отслужил!

– Он – ловкий: без попа вымолил, без всякого расхода. Все в чулане шептал: «Поддай да поддай, Господи!» – вот и добился...

– Надоел Богу-то. Поди, говорит, ко всем чертям.

Спиридоныч не сердился. Пускай! Когда он вышел из комнаты сестрицы – прощался – на глазах его были слезы. Потом ходил Горленка: вышел тоже задумчивый и тоскливый. Точно радость в комнате у сестрицы оставили.

Провожать товарищи на крыльцо вышли. И сестрица между ними. Горленка все оглядывался, точно потерял там, по-

зади, что-то. Спиридоныч торопился поскорее улицу миновать и в поле за городок выйти. Словно боялся, что его воротят.

Был уже март в начале. Весна тихонько посмеивалась. Снега спали, дороги раскисли. Капель тяжело падала с ледяных сосулек. Ручьи в разных местах бормотали. Солнышко спины пригревало. А ветерок еще холодноватый, сырой. Утро было радостное, все в сиянье, а в оставшейся позади церкви к утренним часам звонили – печально, кротко. И звоны в весенней радости пробуждали в душе Горленка далекие годы детства. Вышли уже и за город, а звоны все слышно. Спиридоныч снял шапку, перекрестился и сказал:

– Слава долготерпению Твоему, Господи!

Паромов шел медленной, тяжелой поступью и отставал от Спиридоныча.

– Ты что, товарищ, точно и уходить тебе неохота? Что ты запечалился так?

– А так, знаешь... Тоскливо что-то.

– Небось, сестрицу жалко?.. Да, брат, это верно: немного таких на свете.

Спиридоныч мудр был в простоте сердца своего. Угадал. Паромов думал о Веронике, и не было у него, как у спутника, радости в душе от весеннего сияния, дуновений, бульканья ручейков. Точно вся радость осталась позади, а впереди ничего не было. Как часто он раньше тосковал по ласкам

Лады, лелеял мечту о свидании с ней и своим ребенком, а теперь точно и Лада с маленькой Евочкой остались тоже позади... Перед глазами все еще стояла палата, тихий вечер, полумрак, и в нем, как белый призрак, стройная женщина, то плавно идущая, то склонившаяся над изголовьем больного. Шаги становились замедленными, сомневающимися, и точно кто-то тайно спрашивал: «Зачем и куда ты идешь?» И в самом деле, куда и зачем? Ведь, он не Горленка, а Паромов. Как былинному витязю, ему на пути встанет перепутье с двумя столбами, и на обоих надписи, грозящие смертью. Пойдешь в часть Горленки – тайна немедленно раскроется, и превратишься в «белого шпиона», расстреляют. Пойдешь по другому пути – превратишься в «красного шпиона», и тоже расстреляют... Вот если бы можно было не воевать, а устроиться при лазарете сторожем или служителем и исполнять приказы Вероники, он никуда не пошел бы. А потом, когда выпал бы благоприятный момент, они оба убежали бы... Куда?.. В Крым. Это единственный уголок, где есть покой и мир и где можно не убивать. Одна она не сумеет туда пробраться. Когда прощался, наскоро рассказал ей, какими путями пробираться туда. Эх, как она любит Бориса! Странная: сунула ему что-то в карман... Вспомнил про это и, вынув, стал разворачивать бумагу: обручальное кольцо. Сказала: «Это Борису, если...». Хотела сказать «если жив», но испугалась и поправилась: «Если встретитесь». Едва ли. Либо я, либо он, а не отвергнется, то оба... Может быть, даже уже... он. А на

том свете не женятся и не выходят замуж...

Паромов машинально надел кольцо на палец и, отбросив бумажку, задумчиво пропел из «Пиковой дамы»:

– «Сегодня ты, а завтра я».

– Что говоришь?

– Все, говорю, может быть...

– Ничего неизвестно... Ничего-то.

– Да, брат, быстры, как волны, дни нашей жизни.

– А я вот иду и думаю: что у меня там, дома, делается?

Неизвестно. Ничего неизвестно. Может, и нет там никого. Может, и иду-то зря...

Дошли до станции и два дня воевали, чтобы попасть в теплушку. Попали, наконец и поехали.

– Никогда раньше и скотину так не возили, – сердился Спиридоныч.

Если бы Данте видел внутренность этой теплушки и то, что в ней творилось, он непременно взял бы эту картину для изображения адских мук, изобретенных для грешников и грешниц Дьяволом. Ком сплетшихся червей, грязных и вонючих, совершающих явно все, что раньше люди делали в уединении. И когда Паромов вспоминал невесту Бориса, она начинала ему казаться не живым настоящим человеком, а героиней из сказок Шехерезады или из выдумок необузданного фантазера Ариосто. Он представлял себе жениха с невестой в этой теплушке и начинал хохотать...

– Что тебе весело? Что людям спать не даешь? Ночь, а



ты...

– Посмотри вон!..

Подслеповатый фонарь подсматривал, что делают черви. Храпели, пыхтели, лежа, как дрова, друг на друге. Сверкали нагие толстые ноги в человеческой куче меж детских голов и тоненьких ручек, и солдат с бабой пыхтели, совершая без всякого стеснения некоторое физиологическое отправление. А кто-то из темноты, посмеиваясь, говорил:

– Недаром он ее посадил в теплушку-то!.. Уговор лучше денег.

Несло смрадом: мочились и испражнялись ночью, как лошади и коровы...

Спиридоныч отплюнулся и отвернулся. Паромов закурил папироску и подумал: выдержит ли такое испытание «любовь к человеку» даже у Вероники?..

## Глава восьмая

Миновали наконец железнодорожный путь, полный всяких безобразий и ужасов, полный хаоса и смятения после ожесточенных недавних боев, побед и поражений. Еще дымились там и сям пожарища, уныло смотрели на небеса руины домов, стены разрушенных водокачек, пахло дымом, смрадом гниющих трупов и теплой человеческой кровью. Каркало воронье над полуобнаженными от снегов полями, кружились ястреба и рыскали голодные, похожие на шакалов, собаки. Валялись там и сям поломанные орудия, двуколки, мертвые лошади... Еще не кончились расправы над врагами: попадались гонимые на расстрел пленные, заложники...

В прозрачном весеннем воздухе слышались еще вопли и стоны проплывающих с ранеными поездов... Когда вылезли из теплушки и отошли с полотна, оба радостно вздохнули.

– Видно, конец миру приходит... – говорил Спиридоныч. – И что только делается на свете? И глазам своим не веришь, братец...

Торопились поскорее и подальше уйти от железных путей. Уйти за лесок, что расплзся по косоугру впереди. Когда очутились в леске, который закрыл все эти ужасы, выбрали сухонькое место под деревом и стали закусывать. Весело щебетали вокруг птицы, по оврагу звенел торопливый, как гор-

ный ручей, сток талой воды, пахло грибом и сырой землей.

– Вон и святочек глядит!..

Спиридоныч потянулся и сорвал фиалку.

– Божий глазок...

А Паромов вспомнил глаза Вероники.

– Везде, брат, растут... И на кровях, и на могилках... Не разбирают.

– Везде, Спиридоныч. Хорошо это ты сказал. И на могилах растут. Вероника тоже такой цветок. На могилах вырос он. Такой странный, огромный и душистый цветок со свещающимся во тьме сердцем. Затопчут сапогами, на которых грязь с кровью.

– Откуда это у тебя колечко новое на руке? Незаметно раньше было.

– Колечко-то? – вздохнув, переспросил Паромов;

– Не сестрица ли на память отдала? Угадал-таки мудрец в простоте своей.

– Она, но... только не мне, брат.

– То-то. Помнится, что ты сказывал про жену... А я приметил и поклепал тебя: тоже подумал, как прочие, обеих обманывает: и жену, и сестрицу.

– А грех это?

– Да уж что нам о таких грехах говорить, когда по уши в мерзостях разных живем. По нынешним временам это уж и простить можно... Ты еще молодой: где устоять перед такой красотой? Кому она во грех, а кому во спасение... Ничего

неизвестно. Ни-че-го!

Славный Спиридоныч. Душа с ним отдыхает. Привязался к нему Паромов. Слушает его порою, и словно спасительный бальзам на смятенную душу проливается. Ничего необыкновенного не говорит, а все кажется новым. Слова невидимо освещаются исходящим из его сердца светом...

– Вот что, Спиридоныч. Неохота мне больно с тобой так скоро разлучиться. Не пойти ли к тебе денька на три?..

– Что же. Милости прошу. Не взыщи только. Небогато живем мы, угостить-то тебя не придется... Сам видишь наши места: точно одно погорелое место. Гляжу кругом, и даже страшно идти домой... Кто знает, что там? Ничего неизвестно. Мне, прямо скажу, с тобой прийти даже и сподручнее... Прямо от сердца говорю...

– Поживу у тебя, а там... видно будет. Воевать больше не пойду... – прибавил после паузы Паромов.

– Стало быть, в дизелтиры?

Паромов не ответил, а Спиридоныч не стал добиваться ответа. Что человеку досаждать да душу бередить? Он и сам это дело обдумывает. Вот повидается с женой, обсудит, как быть...

– Ежели на Кавказ, в горы... сто лет ищи, не найдешь! – подумал он вслух и стал рассказывать: – Бывал там. Благодарь! Многие, которые не признают, туда утекают...

Паромов помолчал и сказал:

– Пожалуй, сейчас в Крыму удобнее.

– А ты... туда думаешь, если что?

– Туда.

– Тебе-то оно, конечно: там, сказывал, жена с дочерью?

Не о них в этот момент думал Паромов. О Веронике думал. И вопрос Спиридоныча кольнул его совесть упреком.

– Не знаю уж... Два года я жену с Марфуткой не видал. Не знаю, как там они без меня. Чай, поди, Марфутка выросла, не узнаешь. Что ей, годков пятнадцать есть? Есть.

Спиридоныч улыбнулся. Что-то вспомнил:

– Зонтик, говорит, господский, как вернешься, принеси. Гм! Потеха. Тоже барышней быть захотела... Все босая бегала, а тут ей зонтик! И все это с девчатами пела:

Не купляй мне, тятя, шубу:

В шубе воши заедять.

Купи зонтик и калоши,—

Пушай люди поглядять!..

Посидели, поели чистого снежку с веток, попили и пошли бодро и торопливо. Вышли на бугор: церковную маковку видеть. Спиридоныч показал на маковку:

– Это Ермолино, а оттуда восемь верст ходу. К вечеру дома будем. Наша деревня маленькая, всего-то двенадцать дворов.

Спиридоныч рассказывал про свою деревню, про свои дела и заботы, но Паромов не слушал. Он думал о своем. И так углубился в свои думы, что очнулся, лишь когда Спиридо-

ныч громко заговорил с приостановившимся верховым:

– Да свои, свои! Вот, гляди...

Спиридоныч подал свой документ. Паромов полез было за своим, но казак отдал документ Спиридонычу, махнул рукой Паромову и, сказав: «Проходите, товарищи!», – поехал рысью, позвякивая лошадиными копытами по встречным камешкам.

Сошли с проселочной дороги на большую, что тянулась к далекой церковной маковке, и опять стали бросаться в глаза молчаливые свидетели недавних боев: ямы, наполнившиеся водой окопы, патронные гильзы, раздувшийся труп лошади.

– И у нас, значит, дела были... И мы не миновали... Никуда от этого не уйдешь. Как под метлу все... – говорил с беспокойством в голосе Спиридоныч и все вздыхал. Попались бабы с грудными младенцами и с ребятишками.

– Откуда, бабыньки?

– Дальни, с Бугуруслановой волости...

– Куда же?

Одна заплакала и стала причитать: выжгли, дотла выжгли деревню, все разбежались. Сперва громили белые, потом красные.

– Ермолиным шли?

– Шли, шли... Там тоже горели. Одна улица осталась...

Кругом тут...

– Что делают! И конца нет...

Все быстрее шагал Спиридоныч, все беспокойнее разгова-

ривал сам с собой и причмокивал губами, выпуская вздохи.

– Ничего неизвестно... ни-че-го!

Пришли в Ермолино. Только «товарищи». Жителей не видеть. Спросил про свою деревню.

– Такой не знаем, товарищ. Не слыхали что-то...

– Где же, товарищи, жители-то самые? Ермолинские-то?..

– Попрятались, сволочи.

– Почему так?

– Их, сволочей, надо бы всех под пулемет. Белогвардейскую сволочь с церковным звоном встречали... Вон там, в переулке, остались старухи какие-то... А вы кто такие будете и какие документы при вас?..

Опять остановка.

– Проходите! Есть время по домам шляться. Люди кровь проливают, а они...

– Ну, товарищ, не знай, какие твои заслуги, а я повоевал достаточно, – огрызнулся Спиридоныч и стал ворчать: – Ты свою пролей, а чужую-то... И чем люди гордятся?

Уже снизилось солнце, ярко окрашивая подорожные лужи и болотины, отражавшие голубизну весенних небес золотисто-розовыми отсветами. Пролетали в голубых фимиамах, возносившихся в вечерних сумерках от земли к небесам, радостно гогочущие гуси.

– Тоже домой возвращаются... – печально сказал Спиридоныч, провожая их долгим взглядом. – Гнезда будут вить да деток выводить...

И Паромов думал о пролетающих гусях: счастливые! Если бы крылья!

В этот момент, словно сейчас только, уши Паромова раскрылись, и в них влетело густое, с металлическим отзвуком, похожее на жужжание майского жука тихой ночью, гудение самолета. Такое странное, внушающее страх и тревогу гудение.

– Гляди: выше журавлей взвился! – произнес Спиридоныч, точно услышав мысль Паромова о крыльях.

Зловещее гудение. Точно сама смерть летает в сумерках, озирая обгавленную кровью землю. Может быть, там летят двое: Смерть и Дьявол...

Вязнут ноги в липкой грязи. С большой дороги свернули и потянули под уклон. Спиридоныч приостановился и уставился вдаль, в прозрачный вечерний сумрак.

– Вон! Цела. Слава долготерпению Твоему, Господи! – сказал и, сняв шапку, перекрестился на фиолетовое облачко с последним румянцем потухающей зари. – Погляди: вон, на горке-то, справа-то от березы, крыша? Моя! Дом мой! Собственный то есть. Ну, слава Тебе в вышних, показавшему нам свет!..

Потухала заря. Закричали где-то журавли. Пролетели, шелестя крыльями, галки на ночлег. Затеплились звездочки на небе. А все еще где-то гудел скрывшийся самолет...

– Ходу, брат, теперь! Стемнеет, в грязи и луже искупаемся... Развезло. И на ночь не подмораживает... Весна-матуш-



ка!.. Пост великий... кончается... Как раз к Пасхе...

Казалось близко, а пришли, когда уже совершенно стемнело. Ни одного огонька в деревеньке. Точно мертвая давно. Боятся: чуть стемнеет, забьются и схоронятся. Для скорости огородами прошли прямо к бугру, где в темноте, как черная курица на яйцах, казалось, сидела, нахохлившись соломенной крышей, притаившаяся изба.

– Ну, вот... и дома...

Спиридоныч постучал в ставень, поглядел в окошко, опять постучал.

Паромов сразу понял, что изба пуста, а Спиридоныч все ждал голоса.

– Разя ушла куда... Пойдем со двора. Боятся теперь отвечать-то... А то ты тут погоди, а я перелезу да попытаю... Что такое, Господи Иисусе?

Звонко раздался в тишине ночи стук, наполняя ночь тревою. Потом оборвался. Хлопнула сильно дверь в избу. Должно быть, пустили... Что это? Паромов насторожился: было слышно, как в избе, надрываясь, плачет Спиридоныч...

Долго ждал Паромов, потом, когда плач смолк, залез на двор и пошел в избу. С трудом, ощупью отыскал он дверь и вошел. Спиридоныч лежал ничком на полу и не плакал, а шептал:

– Ничего неизвестно, ничего...

Паромов склонился и опустил руку на его плечо. Не ис-

пугался. Только еще раз, подхныкивая, повторил:

– Ничего, Горленка, неизвестно... ничего...

– А ты погоди плакать. Надо сперва узнать. Ушли куда-нибудь...

– А куда? Где искать?.. Теперь человек, как иголка. Обронил, и пропала. Куда мы теперь с тобой? Некуда нам... с тобой.

– Кто-нибудь есть же в деревне.

– Может, и есть кто, да теперь никто не пустит. Боятся. Что будет уже завтра...

Спиридоныч сел на полу, как татарин, и стал качаться.

Паромов сходил и притащил снятой с повети соломы. Спиридоныч уже сидел на коннике и разувался. Наложили на печь несколько охапок соломы, зарылись в нее головой и затихли. Стали было засыпать и страшно перепугались: прыгнула в солому кошка.

– Ах, милая! Наша кошечка-то... – шептал Спиридоныч, пофыркивая носом, и долго впотьмах слышалось мурлыканье кошки и шепот разговаривающего с ней человека.

– Что, дура? Одни мы с тобой? Зачем остались? Меня, что ли, ждала, а?

Проснулись от холода. Уже рассветало, и где-то пел скворчик. Спиридоныч вышел и долго пропадал. Вернулся, хлопнул руками и сказал:

– Ни одной живой души нет. А на дворе у Соломахиных – убитый валяется. Не знай, расстрелянный, не знай – так

невзначай. Давно, видно, лежит: крысы всю личность объели. А может, собаки...

Сел под божницей, и опустили, как плети, руки его.

– Где искать?

Долго сидел с опущенной головой. Кошка прыгнула к нему на колени.

Он поглаживал ее, а сам думал. Вдруг отшвырнул и встал:

– Может, на мельнице кто остался. Туда надо сходить...

Поели черствого хлеба, попили воды из колодца и пошли.

– Пришел ты, Горленка, в гости ко мне, а вот видишь: кошка да изба нетопленная...

Прошли в дол, к речке. Раньше тут лес был, и мельница в лесу пряталась, а теперь только кусты остались, мельница вылезла и смотрит сиротой.

– Никак дым? Так и есть. Значит, и живой человек есть.

Так приятно было смотреть на жиденькую струйку синеватого дымка над крышей. Спиридонич торопился поскорей живого человека найти и расспросить о своем семействе, а Паромову захотелось посидеть в тепле, около огня, пообсохнуть и очень уж вдруг чаю захотелось попить. Был и чай и сахар, а чайник найдется: живые люди на мельнице.

Речка вскрылась и налилась до краев, а местами вылилась уже на луга, образуя зеркала, то круглые, то овальные, то словно осколки разбитых стекол. Точно облачки свалились с небес и упали на воду и тихо покачивались, напоминая поднятые паруса на море в тихую погоду. Мельница не работа-

ла, но шум водопадом падающей под колесо воды наполнял утреннюю тишину приятным хлопотливым движением, рождая впечатление мирного человеческого труда. Топко и вязко. Кое-где и дороги не разберешь. Забрели в топь и долго не могли выбраться. Скоро все луга зальет, и всплывет мельница в озеленившихся кустах. Кружатся, сверкая на солнышке, палевые и белые голуби над мельницей. Тянутся змейками дикие утки. И стрелять, видно, некому. Все на людей охотятся.

– Мельник любил уточек пострелять. Хорошее аглицкое ружье имел, – подумал вслух Спиридоныч и вздохнул: – А я раков ловил. У нас их не ели, а я жрал... Не знай, кто там, на мельнице. В такое время там едва ли... Может, поохотиться кто забрел?

Пробрались-таки к мельнице. Ботник с веслом на кормушке к кусту привязан. Через окошко огонь видно, человек у печки возится. У крыльчика, по тыну, рачни развешаны, намётка стоит. Рыболов, как видно...

– Никак Васяка наш... Больше некому... – прислонясь лицом к мутному стеклу окна, сказал Спиридоныч.

– Знакомы?

– Васяка-то? Ну, еще бы. Божий человек. Пойдем-ка!..

Взошел на крылечко, приостановился и дух перевел:

– Сразу устал что-то.

Вошли. Стоял у печи и теперь обернулся старый облезлый грязный человек со смешным в складках лицом, безусым и

безбородым, как у старого актера-комика. Попятился и уставился немигаючи, словно к защите от нападения приготовился.

– Васяка! Не признаешь? А ты погляди хорошенько, чу-дак-человек!

Васяка мигнул раза два и беззвучно засмеялся, показывая крепкие и белые зубы.

– Вон ты, какой стал... А этот?

– Этот мой друг-приятель, товарищ, – сказал про спутника Спиридоныч.

Васяка обвел зеленоватыми глазами Паромова с головы до пяток и опять беззвучно, одними щеками засмеялся.

– Он у нас Божий человек. Живет, как птица небесная.

– Раков жарю.

– Поставь чайник-то, скипяти водицы: чайку попьем. А все-таки засеребрился ты, Васяка. Видно, и тебя старость догоняет...

– Ничего. Помрешь, спокойнее будет. Жил в лесах да в болотинах, думал всю жизнь спокойно прожить. Куда тут! Два раза ловили да таскали. Расстрелять хотели... Никуда теперь от человека не спрячешься. Никакого зверя не боюсь, а человека не люблю, боюсь...

– Скажи ты, Васяка, где делись моя жена с Марфуткой? Ни одного жителя в нашей деревне не нашел. Что тут было? Почему разбежались?

– Я ведь по-прежнему все: в лесах да болотах живу. Слы-

шал разговор, а кто знает, правда или зря. Тебе разя ничего неизвестно?

– Ничего неизвестно, ни-че-го.

Васяка помялся, почесался и, лениво так выбрасывая слова, словно камни поднимал, безучастно и флегматично начал говорить. Как отступили белые, в избе у Спиридоныча больной «погонник» остался: при смерти был. Пришли товарищи и нашли. Сказывали, Косой выдал. Он все к жене Спиридоныча подъезжал. Женщина из себя красивая была. А она его к чертям посылала. Вот он и донес, что Федосья-то офицера спрятала. Со злобы. Убили Федосью. Саблей, сказывали, зарубили...

Спиридоныч слушал и, тяжело дыша, только повторял:

– Так... так...

Не заплакал. Бросил только, скovyрнул с фуражки красную звезду и метнул ее в пылавшую печь, а потом помолчал и еще спросил:

– А Марфутка?

– А кто ее знает. Сказывали, что мать зарубили, а Марфутку с собой взяли.

– Так, так... ну, что ж теперь?.. Теперь давай чай пить, – спокойно закончил Спиридоныч.

Паромову было не по себе: не знал, что сказать Спиридонычу. Изредка посматривал на его спокойное, сделавшееся суровым лицо, а слова не сходили с языка. Спиридоныч забыл про чай, все смотрел в окошко и повторял:

– Так... так... А не знаешь, где Федосья схоронена? – спросил, не оборачиваясь.

– А кто ее знает. Где-нибудь зарыли... Разя найдешь? А не все равно, где человеку гнить? Из земли родимся, в землю превратимся, – лениво протянул Васяка.

Долго сидели в молчании.

– Теперь спать только хочу... и больше ничего мне не надо – ничего не надо! – Спиридоныч залез на печь и стих. Скоро он заснул и тяжело, со стоном дышал, выбрасывая со свистом из груди отработавший воздух. Паромов сидел у стола и тихо разговаривал со странным лесным человеком-дикарем. «Отстал от мира». Не любит и боится людей. Живет круглый год на природе. С ранней весны до глубокой осени в лесу или на болоте; шалаши ставит, птицу силками ловит, рыбачит, грибами да ягодами и кореньями разными питается. Только в морозы ютится у кого-нибудь Христа-ради, один день в одной избе, другой день в другой. Не стрижется и не моется: говорит, что все равно опять грязный будешь и опять ноготь и волос вырастет. Первобытный бродяга. Про женщин заговорил, отплевывается. Полное уклонение от жизни и окончательное освобождение от культуры. Может быть, сейчас, в наши проклятые дни, этот дикий лесной человек – самый подлинный счастливец? Живет, как дерево или как заяц, и плохо отличает себя от растений и животных.

Не хочет быть человеком! Сам не говорит. Надо спросить, и тогда лениво и нехотя ответит.

– А что, в Бога ты веруешь? – спросил Паромов, с любопытством рассматривая этого природного циника.

– Мне все одно: есть ли Бог, нет ли его... И знать-то я про это не хочу...

– Попей чайку-то!

– Не пью я его. Одну воду пью.

– А водку?

– Отродясь не пивал. Вода есть – ничего не надо.

От теплоты в избе Паромова тоже потянуло ко сну. Прилег головой на руки у стола и задремал. Шумел водопад на мельнице, а Паромову чудился шум лазоревое моря, синие контуры Крымских гор, горячее солнце, белые морские чайки, далекий белый парус и радужные узоры морской воды под берегами. Спускается он сперва по крутой тропинке, потом по каменной лесенке к белому домику с колоннами, а на балконе, из зелени вьющегося винограда смотрит и радостно улыбается Лада с Евочкой на руках...



## Глава девятая

Самое страшное, уродливое, жестокое и глупое из всех уцелевших допотопных животных – толпа в панике. Легче и безопаснее очутиться в обществе идиотов, чем в толпе. Не поддаться ее заразительному влиянию и до конца воспротивиться своему постепенному превращению в одного из таких же идиотов этого многоголового чудовища – это значит остаться до конца «человеком». Для этого требуется героическая сила воли, высокая культура духа и развитое чувство достоинства и самоуважения... Никакая храбрость тут не спасет. Люди, в течение нескольких лет живущие в наши дни пред лицом смерти, проявляющие исключительные подвиги храбрости, добровольно ходившие «умирать» и чудом спасшиеся, очутившись в панически настроенной толпе, нередко превращаются в жалких трусов, обращающихся в бегство по самому пустому и глупому поводу, по одному намеку на возможность потерять жизнь... даже в тех случаях, когда жизнь ничего, кроме одних мук и страданий, не дает уже человеку. Инстинкт жизни, освобожденный от «света разума», превращает нас в стадо баранов, волков, свиней, в бегемотов, в ядовитых гадов, в кровожадных тигров и трусливых зайцев.

А наши дни – сплошное царство толпы, потерявшей «свет разума» и наиболее трусливых и хищных выдвигающей в

свои «герои»...

Видели ли вы большой город с двухсоттысячным населением, превратившийся в стадо баранов, свиней, тигров и зайцев?

Достаточно было где-то и кому-то сказать, что комендант города погрузил в вагон свою корову и рояль для вывозки, чтобы началось это превращение людей в животных. Сплетня из уст в уста, от телефона к телефону, с базара на базар – быстро обежала все дома, все учреждения, все кофейни и лазареты, и на другой же день началось бегство из города. Напрасно на заборах вывешивались грозные и гордые приказы, в газетах писались успокоительные статьи, по улицам двигались с музыкой военные части, тщетно вылавливали и строго наказывали распространителей ложных слухов: рояль и корова, кем-то увиденные на станции, уже овладели умами и душами горожан. И хотя многие лично убеждались, что корова градоначальника по-прежнему стоит на дворе, в хлеву, а на рояле дети градоначальника по-прежнему каждый день играют «гаммы», – никто, даже и сами распространители ложных слухов, которым показывали и корову, и рояль, не верили или сомневались. Та ли именно корова и тот ли именно рояль? Бегство продолжалось под разными измышляемыми предлогами. Начали его те, кто имел рояли и коровы. С коровами и роялями порядочные и именитые горожане стали вывозить еще и жен с чадами и домочадцами... «Прямой опасности не грозит, месяца два-три во всяком случае го-

род еще продержится, но, знаете, на всякий случай надо облегчить воз... Береженого, как говорится, и Бог бережет»... «Женщины и дети – это, знаете, такой багаж, который в наше время лучше отправлять заблаговременно»... Так, несколько сконфуженно, оправдывались отцы семейств, когда им не удавалось скрыть от друзей и знакомых, как все взаимно старались, своего благоразумного предприятия... Те, которые еще не трогались с насиженных мест и иронически подшучивали над благоразумными приятелями, гордясь собственным гражданским мужеством, видя двигавшиеся к вокзалу вагоны с имуществом, начинали сперва задумываться, а потом тоже укладываться... А те, которые не имели коров и роялей, поддаваясь искушению, думали и говорили между собой: «От нас скрывают, а этим господам уже все известно. Они выедут, а мы останемся». И тоже начинали сниматься с мест и покидать город. И вот с каждым днем в городе росла тревога и делалось суетливее. Начинали пугать «свои» аэропланы и «своя» учебная стрельба за городом, уличные драки и скандалы превращались в нелепые слухи о начавшихся наступлениях и нападениях, а далекие еще неудачи на фронтах наполняли души подлой трусостью, заражавшей горожан, как эпидемическое заболевание...

Заболевали все, даже и те, которым при всех неудачах на фронте, все равно не грозила опасность вражеского мщения. Город превращался в толпу, охватываемую паникой... Паника совершенно овладела большинством населения, когда

потерявшие равновесие духа власти сами поддались общему настроению и начали метаться в своих попытках остановить бегство противоречивыми распоряжениями и мероприятиями. Желая облегчить дело возможной эвакуации, власть под видом разгрузки города от переполнения начала вывозить некоторые свои учреждения, а вместе с тем приостановила свободную продажу железнодорожных билетов на выезд из города всем желающим, вводя особые разрешения на право покупки таких билетов... Тут уж все почуяли близкую опасность, и началась борьба за право и возможность поскорее сесть в поезд. Паника тыла заражала фронт. Побывавшие в городе воины разносили слухи об эвакуации, и эти слухи, подрывая веру в победу, заметно расшатывали силу и сопротивляемость фронта. Одна новая неудача – и фронт дрогнул и быстро покатился назад, а воображаемая опасность превратилась в явную угрозу, с быстротой растущую и приближающуюся к охваченному паникой городу...

Можно было подумать, что люди ждут землетрясения, провала города, огненного дождя. Так велики были ужас и смятение на лицах, в семьях. Убежать, спастись во что бы то ни стало – вот общая мысль, задача и мораль... Бежать самому и помочь в этом своим близким людям – сделалось единственной целью жизни каждого культурного человека, а так как люди власти начали пользоваться ею для спасения своих семей и имущества, то началась ожесточенная борьба внутри города, ропот и осуждение власти, терявшей свой

престиж и достоинство. Ужас и смятение в городе бросались в глаза еще и потому, что были резким контрастом с торжествующим спокойствием и молчаливым презрением той части населения, которая оставалась на месте и ждала врагов, как желанных гостей. То были все обойденные и обиженные жизнью, терять которым было нечего, а выиграть что-нибудь было можно... Ужас и смятение одних вызывали улыбки радости и выкрики злобы и ненависти – других. Люди превратились в баранов, свиней, волков и тигров, готовых заживо съесть друг друга...

И вот пришел страшный последний день...

Зимний слякотный вечер. Туман повис над городом. Редкие подслеповатые фонари, кое-где украшенные повешенными наспех мародерами, поломанные и выбрасывающие пламя горящего газа наподобие огромных погребальных факелов. Медленно ползущие по улицам, мешающие друг другу обозы с военным имуществом; громыхающие грузовики, свирепо выкрикивающие и сверкающие электрическими глазами автомобили; люди с мешками на спинах, с чемоданами в руках; войсковые части, мерно отбивающие шаг, громыхающая артиллерия, повозки красного креста, с больными и ранеными; толпы женщин с детьми и узлами, извозчики с переполненными живым грузом санками, гул и стон, крики и ругань, смех и дикий хохот... Все это крутится в бестолковом хаосе, освещенное зловещим отсветом подожженных складов, и создает впечатление «конца мира» или одной из

«Египетских казней». Вот так же, вероятно, было в Содоме и Гоморре, когда обернувшаяся жена Лота превратилась в соляной столб от увиденной ею картины. Живые потоки по всем улицам стремились по направлению к вокзалу, то останавливались и с гулом крутились на месте, то снова начинали ползти, напоминая змееподобные чудовища. На площади, перед мостом через реку, образовался затор. Здесь шла борьба за возможность поскорее попасть на единственный уцелевший мост. Всем казалось, что мост отделяет жизнь от смерти. Стоит только переехать на ту сторону, и спасешься. Поэтому здесь люди переставали уже быть людьми и напоминали стадо грызущихся собак. Здесь, казалось, скопилась вся злоба и вся пакость человеческая. Дикий вой стоял у моста от криков, проклятий, стонов, плача и ругани. Если существует Дьявол, то, конечно, он был тут и хохотал от радости. Кого-то сбросили с моста, кого-то раздавили грузовиком, кто-то в кого-то стрелял. Люди падали, убитые пулями своими и вражескими, летевшими с холмистых окрестностей, где ликовали именующие себя «пролетариатом» мещане, лавочники, пропойцы и воры. Время от времени в сгрудившуюся около моста массу врезался и всех давил и расталкивал грузовик, полный вооруженными солдатами, пугавшими толпу залпами из винтовок и визгом пуль над поглупевшими головами человеческими, и затор прерывался ценою нескольких жизней. Тогда возобновлялось движение через мост, но ненадолго... Сбивали караул, поддержи-

вающий очередь и порядок, сцеплялись телеги и автомобили, и снова начинался ужас и безумие. Отчаявшиеся попасть на мост, бросали подводы, оставляли имущество и, захватив детей, шли к реке, где работали перевозчики. Эти «пролетарии» давно уже сделались миллионщиками, переправляя так называемых буржуев на другую сторону. Однако и здесь нелегко было попасть в лодку, и тоже шла борьба, сопровождаемая криками, стоном, плачем, мольбами и драками... Перевозчики отбивались от нетерпеливых «буржуев» веслами, иначе те не понимали уже, что лодки от переполнения идут ко дну. «Образованные, а дураки!» – кричали перевозчики, отпихивали рвущихся в лодку людей веслами.

Как описать то, что происходило на вокзале, на перроне, в поездах, сгрудившихся на путях и образовавших так называемую «пробку». Говорили, что пробку эту намеренно устроили железнодорожники, чтобы предать всех буржуев в руки «красных». Вокзал и дорога были в руках военных властей, умевших только приказывать под угрозой расстрела. Вероятно, именно эти приказания и завязали в узел согнанные для эвакуации поезда и локомотивы. Попавшие в вагоны счастливы уже несколько суток сидели там, ожидая отправки и боясь выйти, чтобы не остаться или не потерять возможности снова сесть, и никакие уговоры и угрозы не действовали, когда им объясняли, что именно их вагон не пойдет и потому надо выгрузиться. Ведь прежде чем попасть туда, каждый выдержал отчаянный бой с ближними, а тут снова вылезай

и иди в атаку. Не беда, что уже нечего есть и что невозможно пробраться в уборную для отправления естественной надобности: невыносимый запах от мочи и экскрементов был приемлемее, чем риск очутиться за дверью вагона. Люди перестали стыдиться, и унижительные картины человеческого естества никого уже не поражали, казались ничтожным пустяком. Собирали деньги и совали в виде взятки машинистам, кочегарам, сцепщикам, предполагая, что от них зависит очередь отправки того или другого поезда и вагона. Те брали, таинственно подмигивая, говорили, что «завтра двинут», но и «завтра» вагоны стояли на прежнем месте... И все-таки эти люди были счастливее тех, которые, как черви в коробках, копошились в залах вокзала на полу... Казалось, что здесь устроена грандиозная больница для идиотов и сумасшедших, согнанных в один пункт со всей России. Люди всевозможных положений, профессий, возрастов, мужчины и женщины, в одиночку и семьями, представляли собой пестрый табор безумных или приближающихся к безумию. Все в возбужденном состоянии, подозрительны, обидчивы, испуганы, измучены, злы и несправедливы друг к другу. Сидеть уже негде. Путаются ногами. Много больных тифом валяются по углам, наполняют воздух своими бредовыми вскриками. Незаметно умирают и остаются рядом с живыми: некому распорядиться вынести труп. Из брошенных лазаретов и больниц сюда прибежали все, способные передвигаться, не потерявшие еще сознания, и здесь умирают



каждый день десятками, заражая здоровых. Облака табачного дыма, в котором люди шевелятся, как призраки. Стоны больных, крик грудных детей, столкновение из-за кусочка места, из-за вещей, грабеж и кражи, вопли потерявших своих детей матерей, ссоры с револьверными выстрелами, самоубийства... Вся эта оргия ужасов происходит в дымном полумраке: электричество не работает, залы освещены лампами и огарками свеч. Эти вздрагивающие в табачном, то синеватом, то желтом, дыму огоньки напоминают восковые свечи в храме и какую-то особую панихиду по заживо погребенным. Настроение это, рожденное огнями свеч, неожиданно переходит в полную иллюзию. Что это? Нет, нет, это не иллюзия, не галлюцинация. Где-то читают нараспев «Слово Божие» и потом поют «Со святыми упокой». То в передней вокзала пред образом Спасителя священник наскоро совершает панихиду по одному из только что убиенных на поле брани офицеров... Вдали плач и рыдания осиротелых членов семьи. Эти рыдания находят отклик, и в разных сторонах им вторят истерики жен и матерей, потерявших недавно мужей, сыновей, близких. А в огромных окнах вокзала, обращенных в сторону города, точно грозовые зарницы, играют зловещие отсветы пожаров... и время от времени стекла окон начинают дрожать и жалобно звенеть от далеких оружейных выстрелов, похожих на ворчание грома... Идут последние бои верстах в двадцати от города. Там умирают обреченные, чтобы своей смертью оттянуть вторжение врага в

город и дать время вывести и спасти эту толпу обезумевших и несчастных людей...

А гудки паровозов, шныряющих по путям станции, то воют, то вскрикивают, точно от боли невидимых ударов, то зовут, то кричат беспрерывно, распутывая «узлы» и «пробки» на путях спасения. Тяжело громохвая и ухая, словно от усталости, взад и вперед шныряют паровозы, испуганно посматривая огненными глазами во все стороны и выбрасывая из трубного зева тяжелые вздошные клубы дыма и жара, окрашенные в зловещий багрянец. Как стеклянная посуда, перебиваются вагоны буферами и железом и медленно проползают змеи поездов, набитых и облепленных людьми вплоть до крыш вагонов. Люди, как мухи на сахаре. Когда вагоны попадают в полосу света от ручного фонаря или скользящего мимо паровозного глаза, в их окнах, как призраки, рождаются на мгновение и исчезают во тьме бледные испуганные лица с застывшим в глазах ужасом...

## Глава десятая

На рассвете, когда измученные люди погрузились в дремотное безволие, поезд сильно рванулся. Что случилось? Моментадно проснулся задремавший было ужас в душах, и все широко раскрыли глаза.

– Господа, мы тронулись!

Да, да, поезд медленно пополз. В этом больше нельзя было сомневаться: это видели своими глазами все, имеющие возможность смотреть в окна вагонов... Но потерявшие надежду сомневались:

– Это не мы – это соседний поезд.

– Что вы, ослепли?

– Разве вы не чувствуете, что поезд движется?.. Да. Теперь всем уже ясно, что поехали. В вагоне необузданная радость, смех, поздравления. Одни молятся, другие смеются. А кто-то в уголке плачет...

На заре, в чуткой тишине занимающегося утра, так отчетливо слышны далекие раскаты орудийного огня, но теперь он уже никого не пугает, а лишь привлекает острое любопытство. В углу начинаются споры о том, «наши» или «не наши» стреляют и как далеко?... Эти споры раздражают тихую измученную публику. Не все ли равно, кто стреляет и как далеко? Разве недостаточно того, что они двинулись и с каждым вздохом паровоза удаляются от смерти? Это сознание

все увеличивающейся безопасности наполняет душу безотчетной радостью и благодарностью, но радость еще пуглива и недоверчива; тихим и измученным кажется опасным даже самый спор в такую исключительную минуту жизни, точно от этого спора может вдруг остановиться поезд. А поезд ползет медленно, словно выбирает дорогу, и все еще не решил окончательно: бежать или оставаться? На разъезде в пяти верстах от станции он остановился и долго стоял в раздумье. И снова подкралась тревога, сомнение и ужас. Почему стоим? Что случилось? Что там за окнами кричат? И где это так близко стреляют? Уж не перерезали ли путь спасения? Все рвутся к окнам. Предусмотрительные герои вынимают и осматривают револьверы. Это еще более пугает нервных женщин. В вагоне – смятение...

– Успокойтесь! Ничего опасного нет...

– Почему же там стреляют?

– Ну, вот и поехали...

И снова крестятся, шепчут молитвы и начинают радостно смеяться.

Звон разбитого пулей стекла обрывает смех и разговоры.

– На пол! Ложитесь, ложитесь... – кричит кто-то.

Люди падают, стремясь подлезть друг под друга. Они напоминают кучи свернувшихся в клубок червей... Тяжелое дыхание, стоны и шепот, детский плач... и так проходит несколько минут. А потом опять шум, крики и ссоры из-за мест, смех и плач, крестное знамение и пошлые шутки за-

поздалой храбрости.

Почему стояли?

Оттуда, с площадки вагона, было все видно. Очевидцы рассказывали: на разъезде скопилось много раненых и больных. Отчаявшись попасть в поезд на городской станции, они пешком пришли, помогая друг другу, сюда, на разъезд, и здесь пытались сесть в поезд. Но разве можно было это допустить? Во-первых, и так уже сидят друг на друге, а во-вторых, среди них больше половины тифозных. Они принесли многих на носилках... Пытались приступом брать вагоны, и вот... в конце концов стрельба и, кажется, есть раненые с обеих сторон. Человек десять, говорят, все-таки успели силой влезть в вагоны.

О, если бы вы могли видеть эту картину нападения больных и раненых воинов на поезд со «счастливыми»! Все это были разбежавшиеся из брошенных на произвол судьбы лазаретов бывшие студенты, взявшие винтовку во имя прав человека и борьбы с насилием над человеческой личностью, все это были защитники вот этих самых благополучно уезжавших от смерти людей, отбившихся теперь от своих защитников револьверными пулями. Многие из них уже были не в силах ходить и, ползая около вагонов остановленного поезда, простирали руки с мольбой к окнам их, плакали, как дети, и все надеялись до последней минуты на человеческую благодарность, справедливость и сострадание... Напрасно: не пожалели... И вот угрозы и проклятия, схватки

в дверях и на площадках, выстрелы... Пуля как награда и благодарность своим защитникам! О, если бы можно было заглянуть в этот момент в человеческие души, в души вот этих ползающих и молящих о спасении и в души тех, которые отвечали на мольбы выстрелами! У одних подлая боязнь за свое драгоценное здоровье и за захваченный клочок пространства, у других чувство оскорбления их жертвенного подвига, а потом кипучий гнев и бессильная злоба... Они оттолкнуты и выброшены, как использованный и ненужный уже балласт. О, подлость человеческая! Есть ли тебе границы?..

Что это за крик и ругань? Это поручик Борис Паромов схватился один на один с окружавшими его счастливыми эгоистами, ободрявшими оттолкнувшуюся погибающих защитников «охрану поезда»...

– Бывают моменты, когда ничего безнравственного в таком поступке нет... Я – моряк, и вот... наша совесть и обычай, наша традиция разрешают капитану судна не приближаться к гибнущему кораблю, если это грозит нам самим гибелью... Во время пожара, например. Здесь совершенно аналогичный случай: прием тифозных был бы опасностью для многих из пассажиров...

– Я не хочу знать ваших глупых морских обычаев. Это не оправдание. Люди шли за вас на смерть, а когда пришла ваша очередь отплатить им только одной справедливостью, то вы из подлой трусости заболеть, только из одной трусости...

– Наша традиция основана на требованиях здравого смысла. Неуместный сентиментализм в такие моменты только вреден...

– Совершенно верно.

– Конечно. Мы бежали вовсе не для того, чтобы умереть от тифа.

– Здесь дети и старики...

– А тогда зачем вы кричите о том, что ваши враги попирают моральные и религиозные ценности, что они жестоки и несправедливы, что они...

– Разве наши враги – не ваши враги? Кто вы такой? Как сюда попали?

– Сбросить этого субъекта с поезда...

Только сейчас очнулась Аделаида Николаевна: до ее сознания дошел громкий голос Бориса и пробудил ее от продолжительного летаргического состояния. Муки и ужасы последних дней, особенно последняя ночь на вокзале, так измотали ее душу и тело, что каким-то чудом попавшая вместе с Борисом в вагон она заснула, как убитая, в самой неудобной полусидячей позе, придавленная со всех сторон вещами и людьми. Она не слышала, как на рассвете двинулся поезд, как он стоял на разъезде и отбивался от погибающих, и только теперь очнулась от крика и шума, в котором звенел, как металл, голос Бориса, так напоминавший голос любимого ею человека, брата Бориса, Владимира.

Вздрогнуло сердце. Точно кто-то толкнул его невидимой

рукой и тайно и неслышно позвал:

– Лада!

На одно мгновение легкой грустной улыбкой скользнуло по губам Аделаиды Николаевны близкое и далекое уже воспоминание о радостном солнечном счастье и сейчас же померкло от вернувшегося сознания действительности. И все сразу вспомнила молодая женщинами все сразу поняла: они бегут!.. Но почему так исступленно кричит Борис? Она прислушалась и поняла только одно: несколько людей в штатских и военных костюмах со свирепыми лицами грозят схватить Бориса и выволочь его за двери вагона.

– Что вы делаете, как вы смеее? – закричала она, вскочив на грудь вещей и потрясая простертой рукою. – Этот человек проливал за вас кровь...

– Много теперь... таких.

– Нет, немного! Они почти все погибли в геройских боях, а вы... вы кто такие и кто вам дал право насильничать и издеваться над... вашими героями?

– А вы кто такая и какое право... – отозвался женский голос среди смущенно стушевавшихся мужчин.

– Я? Кто такая я? Я жена корниловца, который сейчас остался там, на фронте, умереть, чтобы дать вам возможность убежать из города. Поняли? Вы как звери, глупые и подлые...

– Это уже, мадам, слишком...

– Оставьте их, Аделаида Николаевна. Им дорога только



своя шкура!

Часть пассажиров, особенно женщин, все время оставались на стороне Бориса, но пока не выступила на защиту Аделаида Николаевна, молчала. Теперь они присоединились к смелой женщине, разогнавшей толпу озверевших людей. Нападавшие уже примолкли, но теперь не желала молчать другая сторона.

– Главное, кто бы лез, а то... буржуи какие-нибудь... Стоило их спасти!

– Их-то вот действительно надо бы выкинуть...

– Кого надо брать, тех бросают, а берут вот этих...

Все соседи оказались на их стороне. Защитные голоса раздавались и с верхних, и с нижних лавок... Борис протискался к своему месту и сел на вещах, рядом с невесткой. Вагон примолк. Точно всем вдруг сделалось стыдно... Соседи стали молчаливо ухаживать за Борисом и его спутницей, и этот переход от звериного к человеческому так подействовал на душу молодой женщины, что она растрогалась и не выдержала: уткнулась лицом в подушки и расплакалась... Борис, ласково и легко касаясь рукой мягких шелковистых волос на уроненной на руку красивой голове, успокаивал взволнованную женскую душу и, склонившись, шептал:

– Аделаида Николаевна! Голубка, милая... не надо, не надо... Слышите, Лада?

«Лада». Это так странно. Борис никогда не называл еще ее Ладой. Так зовет ее только муж, Владимир. «Лада». Странно

и смешно... И так схожи голоса братьев, что это произносимое шепотом слово «Лада» не обижает своей неожиданной интимностью, а приятно так, словно ветерок в летний горячий день, ласкает душу близкими воспоминаниями.

Пусть Борис гладит по голове и называет «Ладой»: ей греется, что это говорит и ласкает Володя. Так сладок этот самообман, что хочется ответить, и чудится, что стоит только поднять глаза – и увидишь Володю. И потому, глотая слезы, Лада шепчет в подушки: «Володя, мой прекрасный, мой родной Володя!»...

– Что случилось?

Опять крик, ссора, столкновение... Отлетели пугливые грёзы. Лада тревожно подняла голову. На ресницах еще дрожат слезинки. Встретилась глазами с Борисом: такой странный, тяжелый, неподвижный взгляд. Даже неловко.

– Что там, Борис?

– Мы вовсе не желаем ехать с покойниками.

– На первой же станции надо заявить и снять...

– А вагон дезинфицировать!

Пассажиры тискаются в дверях, ведущих в среднее отделение вагона, откуда вместе с негодующими голосами доносится плач детей и призывы: «Мама! Мамочка!»

– Куда же вы, господа, лезете? Здесь и так перегружено, – дышать нечем и повернуться нельзя, а главное: вас тоже надо снять и подвергнуть дезинфекции.

– Какая там дезинфекция, когда вши сыпятся со всех сто-

рон...

– Что случилось?

– Мертвая женщина...

– Как же пропустили больную?

– А кто может поручиться, что и вы сами не заражены?

– Надо заявить и потребовать врача для осмотра пассажиров.

Опять ропот и негодование, шум и крики, которые покрывает жалобный мужской голос:

– Я не могу бросить тело жены без погребения.

Разрешите довести до первого города... Пожалейте!

У меня четверо детей...

В дверях выросла фигура немолодого священника с тоской и страданием на лице.

– Если вы выбросите меня с детьми на маленькой станции, мы погибнем. А я не могу, как священник и христианин, бросить тело жены без гроба, без отпевания. Человек – не собака...

– Мама! Мамочка! – взывали детские голоса из соседнего отделения, и вдруг священник припал руками к косяку двери и стал рыдать, как обиженный мальчик...

– Дети! Дети! Что ж нам теперь делать? Что? О, Господи!..

– Случай исключительный, и греха тут нет, батюшка. Я моряк, и вот... когда случается покойник на судне, то его разрешается с молитвою спустить в море. Мы теперь подобны плавающим, и потому...

– Нас всех убьют, если мы слезем так близко... Куда с детьми побежишь?

– И потому надо снять мертвую, а самим остаться. Это ясно. Только этого мы от вас и требуем...

– Дайте мне, господа, свечечку. Хотя огарочек... все равно. Господь видит...

Притих вагон. Только дети не могли остановиться и судорожно всхлипывали около мертвой матери.

– Во имя Отца и Сына, и Святого Духа... – затянул вдруг дрожащий, готовый оборваться голос священника... Кто мог, – встал и стоял с опущенной головой. И снова всем было стыдно... Не смотрели друг на друга... И снова в разных местах вагона заплакали женщины, потерявшие недавно близких и дорогих людей. Опять начались истерики. Лада вспомнила о Володе, о том, что он остался там, позади, где сторожит людей смерть. Как знать? – может быть, ее «милый, прекрасный, родной Володечка» уже убит, и над ним некому поплакать, и некому его перекрестить в последний раз... И спазмы сдавили горло Лады, и она зарыдала в охватившем ее отчаянии, уткнувшись головой в плечо Бориса.

– Володечка... мой Володечка... Убьют, убьют тебя!..

– Лада! Не надо... голубка, родная... Нельзя ли, господа, достать воды?

А священник кончил молитву и вдруг превратился тоже только в несчастного человека, в потерявшего любимого друга и женщину мужа, в отца осиротевших детей:

– Прощай, дорогая Марусенька! Прощай, мой добрый ангел-хранитель! – причитал он, рыдая над мертвой.

– Мама! Мамочка! – хором кричали дети...

И все думали: от смерти никуда не убежишь.

Радовались, воображая, что убежали, а смерть ехала вместе с ними, в том же поезде, и гуляла по вагонам...

На первой остановке сняли двух покойников: жену священника и молодого поручика с детским выражением лица и с окровавленной повязкой на болтавшейся руке. Это покончил с собой выстрелом из револьвера один из числа тех десяти, которые силою ворвались на разъезде в поезд со «счастливыми»... С боя взял свое спасение, свою жизнь и бросил ее, как ненужный черепок от разбившегося сосуда. Не захотел жить...

Покойники задержали поезд. Около часа он стоял и пыхтел возле маленького вокзала, поставленного в безлюдном грустном поле, вдали от чуть видной станции. Было солнечное зимнее утро. Солнце так ослепительно сияло на белых шелках степного снега, что слепило глаза, и кругом была такая мирная тишина, что все пережитое казалось людям сном прошлой ночи...

Начальник станции долго отказывался принимать покойников и все говорил с кем-то по телефону. Покойники лежали на шпалах рядом, а около них толпились молодые люди в солдатских шинелях, с повязками и перевязками – это больные и раненые из лазаретов – все безусая молодежь, и

священник с детьми. Все с обнаженными головами. Никто не плакал. Неподвижно стояли с опущенными головами или с пристально устремленными на покойника взорами.

В детских глазах, широко раскрытых, застыл испуг: теперь мама только пугала их, а застрелившийся офицер возбуждал любопытство. У кого-то явилась мысль отслужить панихиду. Начали служить. Грустно так звучал хор молодых голосов в тихом солнечном утре, когда запели «Благословен еси, Господи», но загудел, завыл паровоз, появился начальник станции в красной шапке и махнул рукой к отправке. И пение оборвалось на полслове.

– Прощай, Сашка! – кричали с площадки вагона покойнику, а потом запели хором «Вечную память».

А священник с детьми остался. Пока видна была из окон станция, на белом фоне снега резко рисовался его черный силуэт с опущенной головой и развевающимися по ветру волнистыми волосами обнаженной головы...

– Остались?

– Остались... Не захотел покинуть свою Марусю... Трогательно, знаете...

– Ну и Бог с ними. Может быть, оно и лучше...

– А другой покойник тоже тифозный?

– Застрелился в поезде... молоденький поручик какой-то... Сашей звали.

– Из-за чего?

– А так... Слушал-слушал разговоры, вынул револьвер и бац в висок.

– Не ценят теперь жизнь люди.

– Жизнь-то стала страшнее смерти.

– Не для всех, – громко и хмуро отозвался вдруг чей-то голос из угла...

Кто это там так вызывающе и насмешливо обрывает разговор посторонних? Опять тот нее субъект, опекаемый красивой женщиной. Подозрительный господин.

– Мы вот с вами бежим от смерти, а там пошли навстречу. Да вот и поручик, Саша этот, тоже... посмотрел, послушал наши разговоры и решил, что попал не туда, куда думал... И предпочел смерть жизни.

– Но раз вы с нами, на что же вы ропщете и кого обличаете?

– Борис! Оставь, пожалуйста. Я прошу.

– Вам так не нравится наше общество, что... остается удивляться, почему вы с нами?

– Вы хотели бы, чтоб я остался с теми, которые, спасая вас, умирают теперь под городом?

– М-м... Ну, да. Если не на одной, то на другой стороне.

– Вам так нравятся большевики, что...

– Если мне многое не нравится у нас, то это еще не значит, что я сочувствую большевикам...

– Мы буржуи.

– Это, может быть, вы буржуй, а вот мы не буржуи, – за-

протестовали соседи Бориса и Лады.

– Я шел отдавать жизнь за родину, а не за буржуев! – громко выкрикнул Борис. – И воевал не за буржуев. Напрасно вы смешиваете себя с родиной... И все мы, корниловцы, пошли за своим вождем во имя освобождения родины и человеческой личности от всякого насилия, в том числе и вашего...

– Однако! Откровенно!

– Да тут открыто большевистская пропаганда ведется... Сомневаюсь, чтобы вы были корниловцем.

– Не считаю нужным вам это доказывать...

– А если я потребую?

– Я пошлю вас к черту.

– Ого!

Вагон разделился на два враждебных лагеря. И в том, и в другом были люди в солдатских шинелях, с погонами. Они сидели в одном вагоне, бежали вместе от одного и того же врага, но ненавидели друг друга. В долгом пути гражданской войны они уже давно присмотрелись друг к другу и неожиданно, но поздно поняли, что им вовсе не по пути. Но возврата не было. О, лучше бы не говорить! Крепко запереть на замок свою изболевшую душу и не растравлять ран удушливым газом злобы, ненависти и жажды мести, которым пропитался весь вагон, люди и вещи, самый воздух, табачный дым, глаза и голоса людей.

Ночью, когда люди, словно отравленные, сидели и валялись, попирая друг друга, в вагон втолкнулись новые люди с



фонарями, винтовками и револьверами...

– Вот этот! – сказал кто-то в темноте, и свет фонаря упал на Бориса и Ладу.

– Потрудитесь идти за нами!

– Я или...

– Вы! И ваша дама. Где ваши вещи?

– На каком основании?

– Об этом потом поговорим.

– Борис! Покажи им «Терновый венец». Борис раскрыл борта шинели и, показывая на грудь, где тускло блеснул черный венец с мечом поперек, сказал:

– Господин полковник. Я – корниловец, участник Ледяного похода.

– А вот это мы увидим. Потрудитесь следовать за нами.

Пропустите, господа!

Никто не вступился. Проснулись, смотрели и молчали. Все испугались и торопились притвориться спящими. Когда Бориса и Ладу вывели из вагона, кто-то в темноте произнес торжествующим тоном:

– Еще два покойника.

## Глава одиннадцатая

Дрогнул и проломился, как плотина, под натиском огромной «красной массы» «белый фронт», и, как весенние бурные воды с гор, людские потоки стремительно хлынули на юг, к Новороссийску. Было только одно тесное русло для этих потоков, один железный путь, и потому бегство объятых паникой людей было неописуемым ужасом...

И днем и ночью безостановочно катились эти людские потоки, оставляя на пути своем слабых, заболевших, умирающих и мертвых. Сходили с ума, бросались на поезда, стрелялись, дрались. Место в поезде, добытое большими деньгами, обманом, унижением, иногда продажей своего тела, казалось обезумевшим людям таким счастьем, за которое можно заплатить даже своей жизнью. Ведь многие, цепляясь на ходу, ехали верхом на буферах, на подножках, стаскивали друг друга и гибли сами. Хотя красные двигались очень медленно, но всем чудилась погоня, и, убегая от «Зверя из бездны», люди сами зверели, ибо от ужаса теряли все драгоценности души, утрачивали любовь к ближнему, сострадание, милосердие, сознание своего долга и обязанностей, часто самый стыд. Убегая от мести и жестокости, они сами делались жестокими и несправедливыми, несчастными и грязными... Родители не только теряли детей, но часто бросали их, лишь бы спастись самим; мужья покидали жен, невесты женихов

и обратно. Паника расшатала все бытовые и моральные традиции, мужское рыцарство перед женщиной, женскую верность. Все привычные добродетели подвергались испытанию и не выдерживали его за редкими исключениями. Многолетние браки рассыпались, как карточные домики, а взамен строились наспех новые, чтобы поскорее попасть в поезд или на морской пароход, и спастись. Возбужденные, нервно настроенные женщины неожиданно для себя влюблялись и наскоро выходили замуж или просто отдавались очертя голову, мало думая о чем-нибудь, кроме возможности спастись от мнимой погони. Казалось, что все добродетели, как и бумажные деньги, потеряли вдруг всякую ценность. И оттого все перепуталось: драма с комедией, трагедия с водевилем, и люди часто и сами уже не знали, где плакать, где возмущаться и негодовать, а где смеяться. Бешено мчавшиеся, подгоняемые паникой потоки беглецов докатывались до Новороссийска и здесь упирались в море. Дальше нельзя. Пока морские пароходы увозили еще самых высокопоставленных и их семьи, возбуждая глубокое возмущение и зависть в огромном большинстве невысокопоставленных. Конечно, умирать не хочется никому, но зачем эта привилегия и за какие заслуги? Разве не они своим глупым чванством и ретроградными вожделениями осквернили в глазах народа идею борьбы с насилием и погубили все дело «белых»? Почему раньше народ встречал белую армию цветами и хлебом-солью, а потом возненавидел и провожал смехом и свистом? «Погибли

тысячи прекрасной идейной молодежи и сейчас гибнут, задерживая продвижение кровожадного чудовища к последнему прибежищу на Черном море, но разве они гибли и гибнут, чтобы дать возможность прежде всего спастись всей этой...»

– Тыловые сволочи! – подсказывали со всех сторон негодующие голоса. И вот здесь тоже началась сортировка людей на «буржуев» и «демократов», закипела злоба и ненависть.

Лада с Борисом Паромовым приехали, когда город был уже переполнен и не вмещал больше ищущих пристанища под крышей. Они были счастливы, что их поезд поставили на запасный путь и разрешили в нем жить до парохода. Они очутились в целом городке из таких поездов с беглецами. Прибывали все новые и новые поезда с севера, и городок разрастался. Было уже много улиц и переулков из близко поставленных друг к другу вагонов, и трудно было, уходя и возвращаясь, отыскивать свой «домик». О, эти две недели жизни! Это был один сплошной кошмар. Все бегали в поисках разрешений сесть на пароход и куда-нибудь поехать, мокли под дождями, которые не останавливались ни днем, ни ночью, дрогли от злобного норд-оста и, измученные и озлобленные, возвращались ни с чем в свои домики. И так шли дни за днями, пока населением городка не овладело тупое равнодушие, тоска, скука или отчаяние. В этих домиках должна была все-таки продолжаться жизнь. Люди продолжали любить, ревновать, ссориться и мириться, чем-нибудь заполнять свое безделье, болеть и умирать. По узким улочкам

этого городка то и дело таскали на носилках покойников, во множестве домиков лежали тифозные, которых некуда было деть, потому что больницы уже не вмещали их; в одном домике рыдали, в другом от тоски и скуки пили, играли в карты и пели песни; там отбивали чужих жен, здесь делали предложение и в потемках целовались, – словом, машина жизни продолжала работать, только теперь эта машина работала гораздо нервнее, торопливее, как постукивающий маятник маленьких дешевеньких стенных часов. И вся жизнь вылезала наружу со всеми ее тайнами, которых теперь уже нельзя было прятать. И совсем не было красивых тайн, а все маленькие, мелкие и грязненькие...

Ходить по улицам и переулкам этого городка, особенно в темные ночи, и отыскивать свой передвинутый на другой запасный путь «домик» было невыносимой мукой для Лады. Смрадная грязь из глины и человеческих экскрементов. Покойники на носилках. Непристойные любовные похождения под вагонами и у вагонов. Пьяные солдаты. Иногда грабежи. А темнело рано, и ночи были бездонно-черные, с злобным завыванием норд-оста, грохотом железных крыш, тревожным гудением морских пароходов и непрерывными, похожими на крик о помощи свистками шныряющих около станций локомотивов. Несколько дней Лада сопровождала в беготне по разному начальству Бориса, пылая энергией и надеясь сейчас же попасть на «пароход в Крым», но как и все пала скоро духом и стала оставаться дома, возложив все хло-

поты на Бориса. Он такой энергичный, внимательный и заботливый и так похож на «Володечку», ее милого, любимого Володечку, который остался где-то и помогает всем убежать. Уже сжились, свыклись друг с другом в этой тесноте. Спят на одной скамье и постоянно чувствуют близость друг друга. Здесь нельзя стесняться, невозможно, и приходится мириться со многим, что в обыкновенной обстановке казалось неудобным и недопустимым. Слегка загородившись шалью или полотенцем, приходится переменять белье, надевать корсет и просить Бориса помочь застегнуть сзади крючки; уборные так загажены, что туда страшно войти, и приходится просить Бориса ходить с ней ночью из вагона, и пока она... Одной так страшно и можно нарваться на нахалов. Борис так корректен и воспитан, что умеет ничего не замечать, и потом... после мужа он все-таки самый близкий человек, если не считать отца и девочки, которых около Лады нет. Да здесь и вообще перестали стесняться друг с другом. Рядом – молодожены, и приходится не замечать, как они по ночам ласкают друг друга, и не слышать, как они целуются... Это теперь только смешит и развлекает скучающую публику, но никого уже не шокирует. Здесь так откровенны, что успели порассказать друг другу самые интимные стороны своей семейной жизни, дополнив признанием лишь то, что и так происходило у всех на глазах. Что ж делать? Лада думает, что если человек по природе не пошляк и не циник, то эта невольная близость мужчины и женщины не может повести

к скабрёзным настроениям и пошлым отношениям между ними. А Борис, как и Володечка, – в этом отношении – безукоризнен. И Лада порою совсем позабывает, что с нею не муж, а Борис. Часто она даже и называет его «Володечкой». И, правда, иногда сходство бывает поразительно. Кажется, что братья совершенно одинаково и думают, и чувствуют. И как-то незаметно для самой себя Лада начала говорить с Борисом на «ты». Теперь уже ей кажется просто смешным называть его «вы», как называла раньше. Никому здесь Лада не сказала, что Борис не муж, а брат мужа, и им обоим смешно, что их все принимают здесь за супругов. Пусть! Не все ли ей равно? Даже удобнее. Нахалы быстро остывают, теряя надежды при виде их заботливости друг о друге. А Борис тоже нуждается в ее помощи: левая рука у него все еще плохо поднимается, и приходится помогать ему одеваться. Лада немного боится этой руки. Она похожа на мертвую. Когда она смотрит на эту бессильно положенную на колено руку, делается и страшно, и так жаль Бориса, что она преодолевает свой страх и гладит ее своей рукой ласково и почтительно. Ведь эта рука защищала всех, в том числе и ее. И потом... такая приятная случайность, игра природы: на том же самом месте руки и совершенно такой же формы, как на руке Владимира, коричневое пятнышко, родинка. Иногда Лада берет эту полумертвую руку, и ей приходит в голову трудно одолеваемое желание поцеловать родинку. И однажды она не сдержалась: захотелось сделать то же самое, что часто делала

с Владимиром: рассматривала руку и вдруг поцеловала родинку. Борис, вздрогнув всем телом, отдернул руку и, смущенно взглянув на невестку, прошептал:

– Ну, Лада, зачем это?..

Лада даже не смутилась:

– Во-первых, родинка – Володечкина, а во-вторых, эта рука держала оружие, которым защищала Россию, нас всех и меня...

Тогда Борис взял обе руки Лады и покрыл их поцелуями. Что он мог сделать, чтобы ответить на эту милую, необычайную, такую трогательную экспансивность женщины?.. Женщины, которую он тайно любил еще в то время, когда она была невестой брата. Никто этого и не подозревал даже, а, между тем, счастье брата и этой женщины было некогда серьезной драмой для скрытного Бориса...

Может быть, от пустоты, которая почувствовалась в его жизни после того, как Лада вышла замуж за Владимира, Борис стал ухаживать за гордой Вероникой. Она была очень красива, нравилась Борису, как многие другие красивые девушки. Около Вероники шло всегда соревнование молодых людей. Вероника явно отдавала ему предпочтение, но Борис долго разыгрывал роль разочарованного Онегина. И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, после самоубийства одного из отвергнутых претендентов на престол любви вообразил, что он тоже безумно влюблен в Веронику. Начал петь под её аккомпанемент романс «Средь шумного бала»,



и когда грустно и пьяниссимо тянул: «Люблю ли тебя – я не знаю, но кажется мне, что люблю», – то с мольбой и тоской смотрел на Веронику. Его тоска рождала тайную и торжествующую радость в девушке. А потом весенняя прогулка в парке, полная очаровательного лиризма: он должен ехать на юг, чтобы исполнить долг гражданина, любящего родину, и пойти с теми, кто собрался под знаменем Корнилова... И тут вдруг оба поняли, что они любят друг друга. Были слезы, поцелуи и объятия, были клятвы. Грустно куковала кукушка в золотисто-розовых сумерках парка, и казалось, что она оплакивает эту красивую разлуку двух счастливых и несчастных любовников. Потом тайные проводы, опять слезы, благословение, образок на шею... и все оборвалось, улетело в вечность и потускнело. Что это было? Почему, как только Борис очутился на юге, среди героически настроенной молодежи, он перестал даже вспоминать о своей невесте? Почему не тосковал о ней в звездные летние ночи в ароматных степях сперва Дона, потом Кубани? Некогда. Почти каждый день бои, героические подвиги, чудеса храбрости, одоление непреодолимого... Роман с Вероникой теперь казался ему случайным и маловажным эпизодом прошлого, которое сразу отодвинулось, казалось, к периоду детства... Чаше Борис думал о Ладе, чем о Веронике. Которая из двух? Конечно, та любовь была настоящая, а эта... случайный эпизод молодости. Да и вообще, стоит ли теперь говорить о любви? Даже о своей драме с Ладой? Вся человеческая жизнь сделалась теперь

драмой. Два года жизни всегда «на волосок от смерти» отодвинули и эту драму в далекое прожитое и давно уже погасили пыл молодого увлечения, забросав его страстями иного порядка. Однако теперь при неожиданной встрече с Ладой оказалось, что под корой прожитого все еще теплилась искра прежнего тяготения к этой женщине и звучала далекой безответной тайной любви. Вот почему в глазах Бориса Лада часто чувствовала «нечто» непонятное, что так интимно напоминало мужа, что заставляло ее смущаться, закрывать глаза и, откинувшись головой, блаженно улыбаться тайным воспоминаниям... «Боже, совсем Володечкины глаза!» – думала Лада, поймав это «нечто». Была еще маленькая чисто внешняя мелочь, заставлявшая ее удивляться: Борис, точно так же, как и Владимир, просыпаясь, раскрывал один глаз меньше другого. Точно левый глаз не совсем еще проснулся, в то время как правый уже бодрствовал. Это открытие Лада сделала только здесь, в поезде, и оно смешило и радовало ее, несмотря на все переживаемые испытания.

Почти каждый день по утрам выли басом сирены морских пароходов, и сидевшие в домиках приходили в уныние и раздражение: «Опять уезжает тыловая сволочь», – злобно говорили они друг другу и впадали в истерическое состояние, особенно женщины. Лада обыкновенно только тыкалась головой в подушку и плакала. Борис кому-то грозил что-то такое сделать, куда-то пойти и что-то заявить, но, исчезнув на час-другой из домика, возвращался угнетенный и усмирен-

ный.

– Ну что? Едем?

– Когда-нибудь, но не сегодня и не завтра...

– Нас бросают здесь... Неужели Владимир и вы, столько лет воевавшие, не заслужили даже того, чтобы вам дали место на пароходе? Если бы узнал об этом Володя, он бы...

«Никуда мы не выедем», – гудели пессимисты.

Женщин эти пессимистические басы приводили в яростное бешенство. Им казалось, что эти господа так спокойно говорят о таких вопросах потому, что они – единомышленники большевиков, и начиналась перебранка. Домик превращался, как говорили пессимисты, в «собачий приют», и Ладой овладевало беспросветное отчаяние. Ей казалось, что ее, здоровую, посадили в дом сумасшедших и не выпускают, утверждая, что и она сумасшедшая.

– Я убегу. Я больше не могу...

Она торопливо напяливала пальто. Борис тоже: нельзя же пустить истеричную женщину одну – она, Бог знает, что способна сейчас сделать. А кончилось тем, что однажды, убежав таким образом из «собачьего приюта», Лада с Борисом попали под ливень и вернулись, промокшие до нитки и продрогшие до мозга костей. Наутро у Лады – сильнейший жар. Думали, простудилась и схватила местную малярию. Оказалось хуже: приведенный из железнодорожной больницы доктор сказал, что – тиф. Доктор сказал это только Борису. Тот умолил принять Ладу в железнодорожный тифозный барак. Ве-

чером в полусознательном состоянии Ладу завернули в черный непромокаемый плащ и с фонарем понесли на носилках в больницу. Носильщики были тоже в черных плащах с поднятыми капюшонами, и шествие напоминало тайное погребение. С этого вечера Борис уже ничем больше не интересовался, кроме больницы. В ссоры и споры не вмешивался, парходных сирен не слышал, и ничто, кроме мыслей о Ладде, его не тревожило. Не страшны были и разговоры о том, что большевики приближаются к Новороссийску. Разве он может убежать, бросив Ладу в больнице? Он останется. Что бы там ни случилось с ним, он должен остаться. Иначе он будет презирать себя. И как он потом посмотрит в глаза Ладды, если, убежав теперь и бросив ее, больную, потом с ней встретится? Ведь не все умирают от тифа и не всех убивают красные. Каждый день по несколько раз он ходил в больницу. Там был тоже хаос, отсутствие порядка и дисциплины. Это давало ему возможность, вознаградив сиделку, заходить в маленькую битком набитую больными женщинами палату. Тиф Ладды протекал бурно. Доктор боялся за ее психику. Все время говорила то с Володечкой, то о Володечке, воображала, что она продолжает ехать в поезде и стоит у станции. Подбегала к окну, стучала и кричала:

– Володечка! Я здесь! Здесь! Возьми меня...

То чудилось ей нападение красных, и она металась с постели на пол и лезла под кровать. В тихие моменты садилась в постели и начинала рассказывать окружающим про своего

Володечку:

– О, если бы вы знали моего Володечку! Вы и представить себе не можете, какое счастье называться Паромовой... Я Паро-мо-ва!

И Лада начинала радостно смеяться. Некоторые из больных женщин сами пребывали в бредовом состоянии, и вот начинался странный общий разговор...

Борис с тоской смотрел на Ладу. Прижавшись к стене спиной, он застывал в тоскливой неподвижности и с завистью поглядывал на тех, которые начинали уже поправляться. Не узнать прежней Лады!.. Остриженная под гребенку, она сделалась маленькой и была похожа на мальчика-подростка. Не узнает его. Когда он назовет ее по имени, она сделает страшные глаза, бросится и закроется с головой. Так болит сердце. Лучше бы не смотреть. А не может. Тянет идти и мучиться.

В городе было уже беспокойно, по ночам шла стрельба. Эвакуация совершалась в быстром темпе, в город входили уже отдельные воинские части. Однажды, вернувшись в тоске от Лады, он напрасно искал свой домик. Не нашел. Может быть, передвинули, а может быть, все погрузились на пароход. Остался без вещей и без пристанища. Бродил по улицам и думал, куда деться. Ночью сидел около ладиной палаты, и вдруг ему пришла в голову мысль пойти к доктору.

– Что вам угодно?

– Возьмите меня в сторожа, в служители, в санитары... Я бывший студент-медик, а теперь офицер...

– Тогда вам надо уезжать: вас здесь расстреляют.

Доктор посмотрел подозрительно. Борис понял сомнение и подал свой документ.

– Я сделал с Корниловым весь Ледяной поход.

– Зачем же вам понадобилось оставаться?

Борис начал объяснять. Доктор узнал частого посетителя больницы, вспомнил его трагическую фигуру, воскресшую теперь в памяти.

– Идите в санитары... В соседнюю мужскую палату... Только платить мы не можем. Сверхштатным.

– Ничего мне не надо.

Так неожиданно и случайно дело разрешилось более чем благоприятно. Ночевал в приемной, а на другой день сменил военную гимнастерку на белый халат.

В городе шла стрельба. Подошли красные. Военные крейсера сдерживали их в отдалении огнем тяжелой артиллерии. Начались уже пожары и грабежи. Грузились последние эшелоны. Весь город был в смятении.

И все это казалось Борису отдаленным и незначительным. Сегодня кризис, и скоро решится вопрос о жизни тайно любимой женщины.

Ждал докторского обхода. Больные были в возбужденном состоянии: выздоравливающие слышали грохот орудий и понимали, что это значило.

Некоторые плакали, ожидая расстрелов. Хорошо, что Лада весь день спит, ничего не слышит и не знает... Ничего не

слышит, впрочем, и сам Борис. Он слышит только, как отбивает лениво, с металлическим отзвуком секунды маятник больших стенных часов в звучном коридоре и как, точно похоронный звон, время от времени звучат они, напоминая о вечности и неизбежности законов бытия...

О, сколько мук принесло ожидание докторского обхода! Секунды, отбиваемые маятником часов, звучали в тишине ночи так громко, словно кто-то размеренно, не торопясь, ударял Паромова молотком по вискам.

За последние два года он так привык к человеческой смерти, что она уже не производила на него никакого впечатления. И вот теперь только она снова показалась ему чудовищной несправедливостью и страшной своей неумолимостью. Какая бессмыслица: долгие века человеческая наука и культура борются за право жизни со смертью, стремясь удлинить человеческую жизнь, и рядом с этим та же наука и культура изощряются в изобретениях, как бы убивать возможно больше людей. Одни спасают или чинят исковерканных, другие тут же рядом уничтожают и коверкают. И Богу, и Дьяволу по свечке.

Оторвался от размышлений, услышав гулкий шум шагов в дальних коридорах, сопровождаемый бряцанием оружия. «Пришли», – мелькнуло в сознании. Он встал в затененный угол, за шкаф, и когда доктор и фельдшер, сопровождаемые вооруженными «товарищами», прошли, примешался к шествию. Никто не обратил внимания на человека в белом ха-

лате.

– Ну, а в этой комнате нет белогвардейской сволочи?

– Тут тифозные.

– Офицеры есть? Говорите, товарищ, прямо. Если соврете, и вас вместе из окна выкинем.

– Этой сволочи нет у нас, – отозвался Паромов.

– Зайдите и проверьте, – обиженно предложил доктор.

– Не надо. Я вам верю, товарищ!.. А в этой комнате?

– Тут женщины. Тоже тифозные. Зайдете?

– Буржуйки?

– Наше дело лечить людей... Зайдите и определите сами...

– Черт с ними. Имейте в виду, что если понадобятся места для товарищей, всех выкинем.

Прошли. Паромов остался. Осмотра не было. Опять мука ожидания...

Целый час в коридорах слышался звон и бряк оружия. Наконец «товарищи» ушли. Проходивший доктор увидел Паромова и сказал:

– Тиф – наш защитник. Боятся...

– Доктор! – произнес Паромов, сделав жест глазами на женскую палату.

– Погодите!.. Голова кругом пошла... А, впрочем, сейчас можно...

Доктор скрылся за дверью, а Паромов прислонился к стене, стоял, как приговоренный к смерти перед казнью. Но вот



дверь раскрывается, и Паромов ловит отгадку на лице появившегося доктора.

– Хорошо. Останется жива...

Паромов схватил было руку доктора и потянул, чтобы поцеловать, но доктор сердито отдернул ее.

– Больной теперь нужен абсолютный покой. Вам не следует появляться несколько дней.

– Сколько?

– Два-три дня. Лучше три. Никаких волнений. Ослабло сердце.

Доктор ушел. Паромов сел на табурет около шкафа и в первый раз после памятной ночи, когда Лада с Владимиром пели «песнь в честь торжествующей любви», заплакал...

## Глава двенадцатая

Ничего не помнит Лада: ей все еще чудится, что она едет в поезде и вокруг не больные, а спутники. Почему все раздеты? Почему одни женщины? Почему не теплушка, а салон? Какой огромный вагон. Но куда же девался Борис? Когда они разлучились? Что-то случилось, а что – так трудно вспомнить. Начнет вспоминать, закроет глаза и незаметно уходит в счастливую нирвану... Так легко, беззлобно летаешь в светлых пространствах вместе с белыми весенними облаками...

Так проходит долгий бесконечный день: откроет глаза, начнет вспоминать, и вдруг все тело делается легким, как пух, койка поплывет все выше и выше, к белоснежным облакам...

Следующее утро было страшным пробуждением. Поняла, что в больнице, вспомнила, что она заболела тифом и что все это происходит в Новороссийске. Но куда делся Борис?

Потихоньку спросила сиделку: – А успею я выздороветь до красных? Сиделка не поняла. Подсела на постель, наклонила голову. Лада повторила вопрос и прибавила, что надо торопиться, а то не попадешь на пароход и убьют красные, потому что она жена офицера. Сиделка погрозила ей пальцем и шепнула на ухо:

– Пришли они. Осторожнее говорите.

– Но как же?..

– Молчать надо, – строго шепнула сиделка, поднялась, покашляла, подозрительно обвела взорами палату, и когда Лада, сидя в постели, испуганными глазами вопросительно смотрела на нее, та отворачивалась... Посидела, огляделась, повалилась и стала плакать, как маленькая девочка. Теперь она все поняла и почти все вспомнила. Одна! Борис бросил... Никого нет! Осталась у красных. И никогда теперь не узнает, где Володечка, и не увидит его... И папу не увидит!.. И свою девочку!.. Бедная девочка. Она почти не знает своего отца. А теперь и матери нет... «Володечка! Если бы ты знал, что со мной случилось! Где ты, Володечка?»

– Нехорошо плакать. Нельзя. Других больных беспокоите. Вон, и та заплакала... Наказанье с вами...

Лада притихла. Не могла сразу остановить слезы. Плачут сами: и глаза, и горло. Закрылась с головой простыней, чтобы сиделка не слышала и не сердилась. Опять думала. Не надо сердиться на Бориса. Если бы он из-за нее остался и не уехал, то его поймали бы и убили. Нет, нет... Лучше, что он уехал... Если бы с ней приехал в Новороссийск Володечка, она сама велела бы ему уехать, бросить ее и уехать. Так лучше: если бы их поймали, убили бы и Володечку, и ее, обоих. А теперь, может быть, все останутся живы: и Володечка, и она, и Борис... Стала мечтать, как они все когда-нибудь увидятся. О, какое это будет счастье! И от одной этой мысли она перестала всхлипывать и стала улыбаться, глядя в потолок огромными радостными глазами, словно видела там всех до-

рогих сердцу людей...

И весь следующий день она отдавалась сладким размышлениям о будущей встрече. Ведь они с Володечкой уже четвертый год женаты, а жили вместе только... десять месяцев. Только десять месяцев! Любить и все время ждать... почти три года... Когда они снова встретятся и можно будет жить вместе – будет похоже, будто они снова поженились... Будто он женился на вдове, у которой есть дочка. Это так странно, что хочется засмеяться... А Борис... Владимир говорил, что у Бориса есть невеста. Бедная!.. И все молодые теперь несчастные: если считать войну с самого начала, то у многих так и прошла вся юность без любви и без счастья. Есть множество таких, которые пошли на войну в 1914 году, когда им было двадцать лет, и с тех пор, вот уже шестой год, живут на фронтах. Теперь им 27–28 лет. Где она, юность? Когда все эти ужасы кончатся, они состарятся. И теперь многие поседел. Голова у Бориса – как бобер с сединкой... Может быть, и Володечка поседел? Ей-то все равно, только поскорее бы вернулся, хотя седой.

И вот однажды, когда Лада улыбалась, представляла себе Володечку седым, в дверях появился человек в белом халате и... Лада радостно завизжала...

– Володя!..

На лице этого человека в белом халате отразился испуг, глаза его сделали знак, предупреждающий об осторожности, и Лада, притворившись, что просто испугалась, снова пова-

лилась в постель, закрылась с головой и, дрожа всем телом от радости, смотрела ослезненными глазами в щелку на «переродившегося Володечку»... Хитрый он: сделал равнодушное лицо и вышел. Это прямо чудо. Чуть-чуть она от радости его не выдала.

Прибежала сиделка.

– Кто завизжал? Чего испугались?

Больная женщина показала рукой на койку Лады:

– Вот эта!

– Что с тобой, сударыня?

– Она санитару испугалась...

– Своего мужа не узнала? – удивленно спросила сама себя

сиделка и, вздохнув, заговорила о том, что после тифа больные часто совсем лишаются памяти, когда не только имена, а и слова забывают... А Лада, притихнув, слушала и думала, что теперь надо быть хитрой и очень осторожной.

Борис так испугался крика Лады, что боялся снова появиться. Лада действительно страшно взволновалась, и это отразилось на температуре и сне. Ночью то плакала, то смеялась. Беспокоилась, что сиделка назвала санитару ее мужем, и боялась, как бы не узнали этого красные и не раскрыли, что это не санитар, а белый офицер. Это было бы ужасно. От одной мысли об этом делается холодно... Кажется, убила бы эту дуру, сиделку, которая знает их тайну и раскрывает ее всем больным.

Может быть, тут теперь есть жены или сестры красных?

Лада стала молчалива и подозрительна ко всем. Даже к доктору. Однажды, делая вечерний обход, он слушал сердце Лады, потом тихо сказал:

– Ну, вот... скоро и встанем.

– Лучше бы умереть, – хмуро ответила Лада, не раскрывая глаз.

– Вот тебе и раз. Почему?

– У меня никого нет. Я одна здесь...

Доктор успокоил:

– Борис Алексеевич служит у нас в санитарях. А вы поступите в сиделки... Вот и все. А сердце все-таки слабовато, и волноваться не надо.

Борис Алексеевич?... Что он говорит? Какой Борис Алексеевич?..

Лада точно пробудилась от сна, и сладкий обман сразу раскрылся.

Не Володечка, а Борис! Сперва порыв отчаяния и злости на доктора и на Бориса. Точно это они ее обманули или отняли у нее Володечку...

Лада отвернулась от доктора и спрятала лицо в подушку. Доктор провел рукой по мальчишеской голове и сказал:

– Нехорошо капризничать и мучить близких людей. Борис Алексеевич ждет. И, стало быть, вы не одна, и вас не покинули... – сказал он и пошел к другой больной.

Сразу прошла злость на доктора и на Бориса. Борис остался. Не захотел бросить одну. Рисковал за нее своей жизнью.

Да, он – хороший... Он такой же, как и Володечка. Они так похожи друг на друга, так поразительно похожи! Володечка немного выше, но сразу этого не заметишь. Только когда встанут рядышком.

– Доктор! Можно увидеть... можно сюда Борису... Алексеевичу?

– А вот когда окрепнут нервы и перестанете капризничать...

А доктор напоминает «папу». Добрый голос, и любит подсмеиваться.

Говорит с ней, точно с маленькой дочкой.

– Пусть придет завтра... утром. Хорошо?

– А не боитесь, что он заразится?

– Ах, если так, то... Ведь дверь стеклянная? Пусть постоит за дверью, а занавеску можно отдернуть.

– Через стекло можно. Завтра увидите.

Ждала «завтра». Захотелось вдруг посмотреться в зеркало. Попросила у сиделки. Та принесла маленькое зеркальце на картоне. Смотрела, удивлялась: не она. Совсем другое лицо. Обезобразили. И так неровно обстригли...

– А где мои косы? Марья! Где мои косы?

– Сожгли.

– Зачем же это? Кто вас просил?

– Нас не просят, а приказывают. От заразы. Ах, как жаль было кос! Никогда уже такие не вырастут. Не понравится она теперь Володечке. Он так любовался, а теперь...

Опять стала смотреться. Печально улыбнулась себе, поправила прическу. Ничего не выходит: торчат. Сразу устала и надоело. Опустила худую руку с зеркальцем и закрыла глаза. Все это пустяки. Разве из-за кос ее любит Володечка? Вон, у Бориса рука мертвая, – разве за это его разлюбит невеста? Стала думать про Бориса и невесту. Почему Борис никогда ее не вспоминает? Ничего не говорит о ней с Ладой? Может быть, он уже разлюбил ее? Теперь это делается так скоро.

Вспомнила одного знакомого офицера. В Ростове встретила с незнакомой дамой в театре и спросила – так глупо вышло – про жену.

– А вот, позвольте познакомить...

Лада так смутилась. Чуть не сказала: «Не эта, а та, которая была в прошлом году».

И вдруг пришла мысль: может быть, Володечка тоже разлюбил ее? Десять месяцев прожили, и потом все оборвалось. Только один раз в течение трех с лишком лет приехал домой и одну ночь переночевал. Она была тогда... безобразная, почти накануне родов. Губы размякли. Живот вылез кверху, и ходила, как жирная утка. Даже нельзя было хорошенько поцеловаться... Наверно, было противно ему... С тех пор так и не удалось повидаться. Нарочно приезжала в Ростов. Так это вышло неудачно: приехала, когда все бежать начали. Так хорошо, что встретила с Борисом. Если бы этого не случилось, неизвестно, что с ней было бы. Не попала бы



на поезд или умерла где-нибудь от тифа, и никто никогда не узнал бы, где схоронена. И опять в душе родилась бесконечная благодарность к Борису. «Мой спаситель»... Так она потом и скажет Володечке...

Когда на другой день утром Борис подошел к двери и постучал в стекло снаружи, она моментально догадалась, кто стучит, наскоро посмотрелась в зеркальце, надела белый капор и, накрывшись одеялом и всунув ноги в большие туфли, приплелась к двери, отдернула занавеску и, увидав глаза Бориса за стеклом – бросились в глаза только одни глаза, – вспыхнула ярким румянцем. Подсела на стул у двери, и они начали говорить и улыбаться друг другу. Оба стеснялись. Придумывали, о чем говорить. Ведь о чем надо было поговорить, было нельзя, опасно, ну и придумывали разные пустишки. Когда свиданье кончилось, Лада, значительно мигнув глазами, сказала: «На-пи-ши», – и сделала жест кому: показала себе на грудь. Борис кивнул головой. На другой день Борис трижды стукнул в стекло двери и, слегка приотворив ее, сказал:

– Аделаида Николаевна! Вам приказано передать.

Лада попросила сиделку, и та передала ей записку: «Родная моя, я чуть не покончил с собой, когда ты заболела, но решил, что полезнее остаться около тебя, потому что смерть приходит только однажды. Набирайся сил, мужества и терпения. Не скоро, но ты увидишь свою Евочку. Ручаюсь головой. Не отказывайся от советов доктора, он – наш друг.

Изорви эту записку».

Взволновалась, перечитывала и все старалась раскрыть, что и как придумал Борис, чтобы убежать в Крым. О, если бы! Ждала особенных советов от доктора, но он был добр и ласков, подшучивал, но никаких советов не давал. Так прошло несколько дней. Ни Борис не появлялся, ни советов от доктора не получала. Наконец не выдержала больше и спросила его:

– Почему не приходит Борис?

– Я командировал его в Анапу по делам службы.

– Надолго?

– А так, дня на три.

– Ну, а какой совет вы мне дадите? – тихо и значительно спросила Лада.

– Когда выпишу, прийти ко мне на квартиру и просить у моей жены, чтобы взяла вас в горничные.

В первый момент при слове «горничная» Лада почувствовала обиду, укол самолюбия, но, скользнув по докторской физиономии и увидя в глазах и на губах его хитроватую улыбочку, поняла, что тут именно и кроется тайна. Она улыбнулась и прошептала:

– Слушаюсь.

– Без жалованья... Только паек...

– А чай и сахар? – уже шутила Лада.

– Ну, это уже слишком... Буржуазные требования.

Зачем Борис поехал в Анапу? Тут тоже тайна. Наверное,

устроить побег. Он, когда еще они жили на путях в «доми-ке», говорил что-то про Анапу. Ах, да, – вспомнила: там у Бориса с Владимиром есть какой-то приятель... Соловейко или Соломейко... Хутор около Анапы, кажется. И говорил тогда, в домике, что если их не погрузят на пароход, то надо пробираться в Анапу и оттуда попытаться бежать в Крым. Значит – она разгадала всю тайну. Но какой милый доктор! Расцеловала бы! Есть хорошие люди на свете... Не все еще озверели.

Прошло три, пять дней, неделя, а Борис не возвращался. Лада стала мучиться беспокойством. Доктор ничего не мог объяснить. Наконец, он получил письмо и успокоил Ладу: Борис остается на хуторе работать в винограднике, он напишет, когда и как должна туда приехать Лада. Просит ее не беспокоиться: все будет хорошо, он гостит у хуторянина Соломейко, недалеко от Анапы, у отца своего университетского товарища, пропавшего без вести. Лада сама читала письмо к доктору, добилась этого, все хотела своими глазами увидеть письмо, чтобы убедиться, что никакого несчастья с Борисом не случилось и доктор ничего от нее не скрывает.

Прошло еще две недели, и Ладу выписали. Ей бы так хотелось поехать тоже на хутор и работать в винограднике, но, когда она поделилась своим желанием с доктором, он сказал:

- Надо слушаться. Поняли? Вы – теперь горничная.
- Слушаюсь.
- Постарайтесь не забывать этого.

– Слушаюсь.

– Так вот, завтра утром...

На другой день Лада превратилась в горничную.

Доктор держался с ней по-господски, даже с преувеличенной гордостью, которая иногда или оскорбляла, или ставила ее в тупик. Зато докторша не могла, как она выразилась, ломать комедию, и постоянно сбивалась с тона барыни на тон доброй бабушки. Ни у одной горничной не было такой постели, как у докторской, ни одну горничную не кормили и не баловали сладостями, как докторскую. Поздним вечером, когда уже никто не мог прийти и увидеть, докторша приходила в кухню к горничной, и они болтали, как долго не видевшиеся родственники. Однажды они разболтались до петухов и, забыв о всякой осторожности, начали так громко говорить о современной жизни и событиях, что доктор прибежал в кухню и строго сказал:

– Так нельзя. Так вас обоих, да и меня с вами, к стенке поставят.

Каждую неделю Борис присылал открытку доктору: «Жив и здоров, чего и вам всем желаю». А Лада писала ему в ответ: «У нас тоже все здоровы и все благополучно. Господа добрые, служить нетрудно». А служить все-таки приходилось. Для посторонних наблюдателей она должна была весь день «ломать комедию»: открывала парадную дверь, подавала пальто, чай, иногда бегала в лавку за хлебом и провизией, а случалось, что и стирала, впрочем, свое белье. Лада нико-

гда не думала, что она такая хорошая актриса. И одевалась, и манерничала, и кокетничала, и дружила с соседней прислугой, как типичная горничная из «порядочного дома». Такая миленькая горничная! Волосы отросли и рассыпаются локонами по плечам, на шее – красная революционная ленточка. Молоденький «товарищ», телеграфист со станции, влюбился, называет «херувимчиком» и предложил «осупружиться по декрету». Когда стоит на крыльце, проходящие красноармейцы засматриваются и попрекают:

– Тебе самой барыней быть, а ты... стыдно, товарищ! Плюнь ты на господ-то!..

Кокетливо улыбнется и спрячется за дверь. Слышит, говорят за дверью:

– Хороша Маша, да не наша.

Получила печатное приглашение на танцевальный вечер с надписью: «Пролетарии всего света, объединяйтесь». Потом любовное письмо по почте пришло: автор просил прийти в воскресенье вечером в кинематограф «Универсал» смотреть интернациональную драму и кончал так: «И будешь ты царицей мира, подруга верная моя»...

Хорошо было теперь посидеть в докторском садике. Небольшой, но густой. Уже цвели вишни и черешни, распустились белые акации. Такой удивительный аромат. Полной грудью вдыхала этот аромат с влажным морским воздухом, смотрела в черное небо с ярко-синими звездами, разливалось сладкое томление по всему молодому, жадно вбиривше-

му «силу жизни» организму, и кружилась голова. Боже, как хотелось любить! Как хотелось любить и быть любимой.

## Глава тринадцатая

Лада уезжала. Получила, наконец, так долго ожидаемое разрешение поехать на хутор. Можно было поехать до Анапы морем, но море было беспокойно. Боялась качки. Наняла на базаре подводу, казачку-станичницу из-под Анапы. Так радостно было, а на глазах – слезы: жаль было расставаться с докторшей. Та вышла провожать. Целовались, и обе отирали слезы. Молодая озорница, «товарищ Настя», самая «красная» во всем дворе, стояла с подругами у своего крыльчика и удивлялась: горничная, уходя с места, не ругается, а целуется с буржуями! А когда увидела, что она еще и слезы вытирает платочком, то озлилась:

– А ты еще в ножки бы поклонилась!.. Раба!.. Холопка паршивая.

Подруга Насти, швея, оказалась куда мягче:

– Не сознательная еще, – объяснила она снисходительным тоном.

Ладе хотелось расхохотаться, но сдержалась. Притворилась, что не слышит. С трудом, смешно, залезла на высокую телегу, на сено и мешки, и телега дернулась и покати-лась, грузно громыхая и подпрыгивая на изрытой мостовой. Неприятно и страшно было ехать городом: все казалось, что могут остановить, догадаться, что она «барыня», и схватить. Надвинула на лоб пониже платок и нарочно грызла приго-

товленные с вечера подсолнечные семечки. Сперва думала все о докторше: «Как родная бабушка!» – думала о том, как все это странно случилось, странно и хорошо. А когда выехали из города и свернули к морской дороге и когда раскрылся светлый, голубоватый простор с фиолетовыми горами, вспомнила Крым, свою девочку и белый домик с колоннами, в котором они жили после свадьбы, – и вся душа ее всколыхнулась и закружилась в вихре радостной тоски ожиданий: все соберутся там, на другой стороне, лазоревого моря, под горами, в белом родном домике: и Лада, и ее девочка, и старик-отец, и Борис... и туда же пробьется Володечка... Больше ему некуда. И начнется тихая радость прежней дружной жизни, такой красивой жизни... И все отдохнут от этого ада с его бесконечными муками, ужасами, страхами и собачьей жизнью, случайной, бесприютной, полуголодной, некрасивой, грязной, озлобленной... И вот тогда снова вернется счастье, которое продолжалось всего десять месяцев и оборвалось... Боже, как хочется любить! Вся душа и все тело истомились по любви. Лада впивалась взором в морские дали, сверкавшие на солнце гребнями катившихся волн, грядами убежавших к крымским берегам, в голубой туман, сливавший море с небом, и сердце било тревогу: там, в дымке туманных голубых сияний, – ее рай.

И, быть может, скоро она будет в раю... А может быть... И Лада весело расхохоталась: может быть, они с Борисом придут, а Володечка уже там?! Ведь много пароходов с военны-



ми ушло в Крым, и на одном из них мог быть Володечка... Ах, как хочется крепко-крепко обнять Володечку!.. Можно умереть от счастья. Сладкий бунт в крови и в молодом теле поднимался волною против вынужденного аскетизма и наполнял Ладу ядом сладостного греха и ожиданий...

Лада перестала уже бояться. Попадались конные отряды, телеги, полные красноармейцев, группки пехотинцев – не трогали, а только подшучивали и выкрикивали комплименты:

– Эх, бабочки-молодушки, белые лебедушки! Полюбил бы, да некогда.

– Молодушка! Садись к нам, я колечко дам...

Один из пехотинцев ловко вскочил в телегу под хохот своих товарищей, но казачка сильным толчком спихнула его и погрозила кнутом. Ничего. Даже не обругался, а смеялся со всеми вместе, отряхивая пыль с одежды: упал.

– Смотри, они еще побьют, – сказала Лада, изумившись силе и храбрости казачки.

– Баб не тронут, – уверенно сказала та. – Нам с тобой нечего бояться.

Такая привилегия бабам! Лада высказала сомнение: ведь расстреливали и женщин. Баба обернулась, и даже лошадь встала:

– Так это кадетов и кадеток!

– Каких таких?

– Которые против народа...

– Буржуи, что ли?

– Все одно: где их буржуйами называют, а у нас – кадетами. Боже мой, какая путаница в головах!

– Ты за коммунистов, значит? – пытливо спросила Лада, придавая вопросу бесстрастно-нейтральный характер. Баба хлестанула кнутом лошадь:

– Чтобы я за этих разбойников и безбожников... – обиделась казачка.

– А кто ж тебе больше по душе?

– У нас за большевиков, а коммунистов никто не желает...

– Так большевики и есть коммунисты!

– Ты сама-то откуда? – обернувшись, удивленно спросила баба.

Лада поняла, что лучше не копать в этом вавилонском столпотворении народных понятий, потому что все равно его не распутаешь, а на себя подозрение наведешь.

– А у нас одних буржуйами, а других пролетариями называют... Везде по-разному.

Ладино объяснение удовлетворило бабу: засмеялась и сказала:

– Мало, вижу, ты в этом понимаешь...

– Конечно. Не бабье это дело... Все в горничных у господ служила, а теперь, как свобода всем, не желаю больше. Лучше на виноградниках буду работать...

– На что лучше.

Не только обезвредила бабу, но сразу завоевала ее симпа-

тии...

Дорога то подходила к самому морю, то уползала в покрытые лесом холмы. Эта постоянная смена приятно поражала своим разнообразием и неожиданностями: то необозримый простор и рокотание морского прибоя, то зеленая тишина, ласковый шепот листвы и птичий гомон. И душа то рвется к голубым туманам, то купается в уюте зеленого уголка, навевающего жажду маленького, спокойного и мирного, но верного счастья в семье. Сильней и сильней припекает солнышко. Становится жарко. Когда раскрывается морская зыбь, так тянет спрыгнуть с телеги, побежать и прыгнуть в манящие прохладой и влагой зелено-но-синие глубины. Сделаться наядой, рыбиной или чайкой, ныряющей над пенящейся волной...

На полпути привалили к корчме под зеленым навесом могучих акаций – покормить и напоить лошадь, самим промяться, испить холодной родниковой водицы. Здесь уже стояло несколько телег с полувыпряженными лошадьми, пара волов, верховая гнедая кобыла, злобно сверкавшая белками глаз на ржанье чующих ее издали жеребцов, привязанных за стеной корчмы. За врытым в землю столом «гуляют» приезжие казаки-терцы... Пьют виноградное вино, играют в карты на деньги, один лениво тренькает на балалайке. Пуглива Лада: они показались ей сперва похожими на разбойников. Были шумны, горласты, хохотали, как черти, сверкали черными глазами. Увидали Ладу и сразу попритихли. Не пото-

му, чтобы хотели показать себя понимающими приличие, а просто потому, что всем стало любопытно: молоденькая и хорошенькая женщина. Когда проходила в корчму, некоторые привстали и честь отдали, а один из-за спины товарищей несмело произнес:

– В горнице душно, барышня, здесь лучше!..

Ничего дурного не сказали. Она прошла в корчму и села под окном. Заметили, стали шептаться, вскидывая глаза на окошко, стали кокетничать по-своему: заломит папаху, встанет в удалую позу. Хочется быть красивее и удалее. Начали бороться. Победитель гордо смотрит на окошко. Так похоже на тетеревиный ток, когда самка сидит под кустиком, зарывшись в песочек, а краснобровые самцы устраивают ратоборство за ее внимание...

Кончилась борьба, танцы начались. Затренькала балалайка, захлопали ритмически ладоши рук и запели грубые голоса, отбивая такт «Карапета»:

Карапет мой бедный,  
Па-че-му ты бледный?  
Почему я бледный?  
Пата-му что бедный...

И вдруг на лужок выплыл высокий, стройный, с тонкой талией красавец. Сбросив наотмашь с головы папаху, он ритмично и легко стал носить на гибких тонких ногах свое тело, подплясывая, как легкий мячик, и складывая и расклады-

вая руки, напоминавшие крылья; потом, заломив одну руку за голову, а другой, опершись ухарски о бедро, начал, выделявая неуловимые «па» на носках, взлетать на одном месте и казался повисшим в воздухе, невесомым... Все быстрее, быстрее становился темп музыки и песни, сопровождаемых плеском рук, потом раздался дикий визгливый крик экстаза, красавец выхватил из ножен кинжал и, сверкая им на солнце, точно погнался в танце за врагом; снова застыл, взлетая на одном месте, потом поставил кинжал, не прерывая танца, острием себе на зубы и, подняв голову и следя за кинжалом, продолжал с ним плавать по кругу. Дикими вскриками сопровождали этот момент все другие, и вдруг, взметнув голову, красавец выбросил кинжал, и он, сверкнув в воздухе, описал полукруг и воткнулся в землю, а танцор гордо, величественно, оставляя стройно-неподвижным свое туловище, снова поплыл по кругу, взмахивая руками, как крыльями, и едва касаясь земли носками гибких ног.

Лада залюбовалась. Действительно в этом танце терских казаков была поразительная захватывающая красота. В нем наша русская широта, размах и удаль воссоединились с необузданной страстью, воинственностью и с дикой жестокостью разъяренного горца: наша «барыня» и «казачок» – с «лезгинкой»... Ладу захватил вихрь этого танца: она захлопала в ладоши... Выскочил другой соревнователь и начал стараться перещеголять в красоте и ловкости первого... Он подплыл в танце ближе к окну и, тоже подхватив кинжал,

начал им так жестикулировать, что Лада испугалась: уьбет или себя, или ее.

Танцы кончились. Два танцора, налив по стакану красного вина, понесли к окну и протянули сразу оба Ладе. На их лицах было не столько любезное предложение, сколько категорическое приказание. «Еще не выпьешь, так пырнет, пожалуй, кинжалом», – подумала Лада и приняла один из стаканов. Тогда другой, с злобным раздражением выплеснув вино из своего стакана, пошел прочь и был встречен дружным хохотом... Только тут Лада поняла, что должна была решить, кто победитель в танцах. А победитель оперся локтями на подоконник и перешел к знакомству.

– Вы что? – спросила баба. – Большевики или коммунисты?

– Казаки!

– А с кем же вы?

– Домой уходим. Не желаем... Ни с кем.

– А вас отпустят?

– А что нам спрашиваться? Не пустят, так вот он! – казак показал на кинжал. – Были с белыми, побыли с красными, а теперь ни с кем не хотим...

Казак полюбезничал с Ладой. Баба позвала ехать. Провожая их, казак пожал Ладе руку и вздохнул:

– Счастливо вам отправляться. Может, когда-нибудь опять встретимся.

Телега тронулась, а казаки запели песню... самую рус-

скую, разлитанную, нежно-тоскливую, хватающую за душу. Лада слушала и никак не могла понять, как люди, поющие такие нежные жалостливые песни, могут быть в жизни такими кровожадными и жестокими?..

К хутору подъезжали, когда уже стемнело. Еще издали залаяла собака, и так звонко разносился ее лай в тишине ночи, что и в Анапе, оставшейся в стороне и мигавшей красноватыми огоньками, тоже начали лаять собаки. Быстро сгущалась тьма. Черная южная ночь зажигала синие огни в небесах. Со степи наносило ароматными травами, пахло то землей, то морем, то вдруг в эти запахи врезался резкий трупный смрад и разгонял неясные пугливые мечты, на-веянные теплой южной ночью, звездным небом и ароматом окропленных росой трав... И тогда улетал покой из смягченной души, и рождались тревога и страх. Лада пугливо озиралась по сторонам, ей чудились голоса, шаги, куст превращался в фигуру подкарауливающего человека... Хор анапских собак оставался позади и звучал тише и мелодичнее, а пес на хуторе лаял все громче и злее. Впереди, точно копны сена, тускло выплывали едва намеченные силуэты хуторских построек. В темноте попрыгивал крохотный огонек: это Борис, нервно покуривая папиросу, вышел на лай собак и ждал, поймав ухом поскрипывание колес телеги.

– Лада? – спросил в темноте мужской басистый голос.

– Борис!.. – закричала радостно Лада.

– Тпру!..

Борис подошел к телеге, отбросил папиросу и почти снял Ладу. Она сделалась экспансивно-радостной. Обняла его левой рукою и крепко поцеловала.

– А я жду с шести часов... Боялся, не случилось ли чего...

– Вот какая темь!

– Боялась?

– Немного.

Борис заплатил бабе деньги, подхватил Ладин чемодан, и они пошли.

– Давай руку! Ничего не вижу. Знаешь, у меня ослабло после тифа зрение.

Лада шла, смеялась, сжимая руку Бориса, и говорила:

– Ведь мы с тобой не видались еще хорошенько... Я об тебе соскучилась!

Борис приблизил ее руку к губам и пощекотал усами. Шли между двумя изгородями, из-за которых нависала густая благоухающая сирень, выглядывали стройные фигуры пирамидальных тополей. Лада болтала, не успевая за своими чувствами.

– Ах, чем это так хорошо пахнет?

– Это с огородов...

– Огурцами пахнет. Как захотелось похрустеть свежим огурчиком...

– Рано еще. Только цветут.

– А не могут нас... поймать здесь красные?

Не дожидаясь ответа и говорила о другом, спрашивала и



рассказывала. Приостановила Бориса и удивленно спросила:

– Что это так шумит?

– Море.

– Море! Я и забыла про него... Куда же ты меня ведешь?

Где дом?

– Дом прошли. В садах есть домик... Я ведь сторож и огородник...

– А я горничная...

– Теперь уже не горничная, а моя жена, огородница. Полоть огороды будешь.

Все это было так интересно, неожиданно, таинственно, что теперь, когда муки ужасов, тиф и все угрозы смерти показались прожитыми, пройденными, – радостное любопытство овладело Ладой, и рождалась уверенность, что с таким умным и храбрым человеком, как Борис, бояться нечего. С ним не пропадешь. Свою жизнь отдаст, но не бросит, как делают многие. Вспомнила случай в «домике»: там, рядом с ними, тоже на одной скамейке, помещались влюбленные, которых все считали «молодоженами», потому что они целовались по ночам; незадолго до болезни Лады влюбленный исчез: нашел знакомого моряка и поступил в матросы, бросил свою Лелечку и уехал, а ей прислал письмо: «Держи путь на Константинополь!»... Было так жаль молоденькую глупенькую девчонку, которая плакала и всем рассказывала, какую подлость устроил с ней жених, и было так смешно, когда она сквозь слезы повторяла: «Сам удрал, а я – держи путь на

Константинополь!»...

– А помнишь, Борис, «держи путь на Константинополь»?

Она захохотала и покаялась:

– А ведь я перед тобой очень виновата. Очень!

– В чем дело?

– Когда я пришла в сознание, я подумала, что ты тоже...

бросил меня.

Борис промолчал. Ладе показалось, что он оскорбился таким подозрением, и она потеряла радостное настроение. Зачем она это сказала! Эх, какая она глупая!..

– Ты, Борис, не сердись!.. Я была совсем глупенькая после тифа. Глупее Лелечки... Что замолчал?

– Нет. Что ж тут...

– Прости, Борис, меня!

Лада приостановила Бориса, прошептала «прости меня» и, охватив его шею руками, хотела поцеловать в щеку. Чемодан выскользнул из рук Бориса, рука обвила пояс Лады, и ее губы встретили губы Бориса, дрогнувшие и не сразу оторвавшиеся от губ Лады. Лада ласковым прикосновением отстранила голову Бориса, почувствовав в этом поцелуе нечто, ее испугавшее, но отнесла это «нечто» на свой счет, потому что в момент поцелуя сверкнуло воспоминание и мысль о возможных ласках с мужем, отчего на мгновение помутнело в голове и забилось сердце. Несколько секунд они шли молча, оба немного смущенные, потом Лада, овладев непослушным голосом, сказала громче, чем они говорили перед этим:

– Знаешь, я иногда думаю: приедем мы в Крым, а Володечка там!

Разговор расклеился. Точно оба забыли, о чем они говорили и почему поцеловались... Теперь, в молчании, так отчетливо ворчалो невидимое море. Точно вздыхала уставшая земля...

Шли виноградником, потом садом. Вынырнула откуда-то собака и, вертясь под ногами, стала хлопать хвостом по юбке Лады. Она испугалась, Борис сердито отогнал собаку.

– Не бойся! – она не укусит тебя. Это наш часовой: она учуяла твою подводу за версту. Лучше самого верного друга. Не выдаст. Ну, вот... здесь.

Открытый навес для хранения падающих груш и яблок. Небольшой старый дощатый домик-караулка, обвитый виноградом так густо, что в листве чуть светятся, как вода ночью, стекла окошка. Тачка, грабли, лопаты, кирки, лейки и ведра. Над домиком два огромных пирамидальных тополя вздымаются высоко к небесам. Около них – стол и скамьи по двум бокам. Поблескивает желтой медью самовар, стеклятся стаканы. Звездные отражения сверкают и на самоваре, и на гранях стаканов.

Вошли в домик. Борис зажег лампу, и свет выхватил из темноты постель, столик, окно и плотно утопанный земляной пол. Лада обвела взорами внутренность домика, словно не нашла чего-то. Борис понял:

– Я сплю на воздухе, под навесом, а ты... спи на постели.

Она чистая и достаточно мягкая.

– А почему мы в саду, а не в доме?

– Если хочешь, можно и в доме. Но я решил, что нам здесь безопаснее.

Борис поставил самовар и, присев около него, объяснил, почему безопаснее. В случае опасности всегда можно скрыться в садах. У него уже все предусмотрено. А в дом могут завернуть иногда и «товарищи». Прожить придется здесь, вероятно, еще немало времени: побег еще недостаточно организован, и затем надо ждать благоприятного момента в окружающей обстановке, когда военные обстоятельства отвлекут и силы, и внимание от этого района.

– Тебе не нравится тут? А вспомни, как мы жили в вагоне!

– Нет, нет, не то... Я буду стеснять тебя...

– Эх, Лада! Стоит ли теперь об этом думать и говорить?

Конечно, садовая караулка по сравнению с одной скамьей в набитом людьми и шумном вагоне была целым дворцом, и не потому Лада смущенно и как будто разочарованно смотрела на свое новое прибежище. Все еще не исчезло то «нечто», что она почувствовала в недавнем неожиданном поцелуе с Борисом. Не прошел еще непонятный испуг от этого «нечто» и теперь при виде тесной комнаты с одной постелью смущал душу Лады пугливым беспокойством. Когда Борис с упреком сказал: «Стоит ли об этом думать и говорить», – Лада покраснела. «Какая я... гадкая!» – подумала она. Кого или чего она, в самом деле, боится? Бориса или...

самой себя? Сама поцеловала Бориса, у самой закружилась голова от этого поцелуя, потому что погрезилось, что целуется с мужем... Чем же виноват Борис? Посмотрела на Бориса, возившегося с самозабвением около самовара, и успокоилась. Все это так оттого, что так долго в разлуке с Володечкой, что такая теплая и черная ночь, что так ярко горят на небе звезды и... так хочется любить и быть любимой... Освободившись от лишней одежды, вышла за дверь, отошла в глубину сада и стала слушать, как вздыхает за буграми море, как шепчется листва, как где-то в садах хохочет женщина, которую кто-то поймал и не отпускает. Вот загудел мужской голос, и все стихло. Слышно, как в высокой траве тикают, как карманные часы, кузнецы. Тихо плывет ночь над уснувшей землей, и шум морского прибоя – дыхание ее... И самой хочется набрать в грудь как можно более ароматного воздуха, выпить этой навевающей жажду любви южной ночи... Боже, как хочется любить и быть любимой!..

– Лада. Где ты? Иди, у меня все готово...

– Я здесь... Ах, как хорошо, Борис, жить на свете, несмотря на все!..

Пили чай. Борис хозяйничал. Ветерок гасил лампу – заменили ее фонариком. Вспоминали все пережитое вместе. Много ужасного и много смешного. То страшно, то смешно, и теперь многое страшное кажется смешным, а смешное – страшным. Опять Лада сделалась радостной, перестала чувствовать в Борисе «мужчину», а чувствовала только родно-

го, близкого человека, который ей особенно близок теперь, после всего вместе пережитого. Точно годы прожили вместе. Столько общих воспоминаний, общей печали и радости!

– Ну, петухи запели... Надо спать ложиться...

Борис перенес в сторожку самовар и посуду, поцеловал Ладе руку и, захватив со столика револьвер, вышел. Лада раскрыла окно и сказала:

– Душно здесь. А что, Борис, если я не закрою двери?

– И прекрасно!.. Я рядом: бояться тебе нечего.

Долго еще в сторожке светился огонь. Лада что-то пришивала, штопала. Бог ее знает. Иногда через зелень листвы у окна мелькала ее белая фигура в одной рубашке, слышались ее шаги по земляному полу сторожки, легкое покашливание. Не спит.

Борис тоже не спал: задумчиво ходил взад и вперед около домика, сверкал в темноте огоньком папиросы. Он чувствовал себя так, словно караулил драгоценность.

– Это ты, Борис, ходишь?

– Я. Почему не спишь? И почему не гасишь огня?

– Боюсь.

– Чего?

– Не знаю. Дверь открыта, и страшно. Когда я засну, погаси лампу.

Борис ходил осторожно по дорожке и заглядывал и слушал в дверь. Так прошло около часа в этом осторожном хождении. Заснула, наконец. Тихо прокрался к лампе. Лада спа-

ла. Мелькнула ее голова в ореоле волнистых кудрей, тонкая голая рука, обнаженное плечо и излучина груди под сползшей рубашкой. Только на одно мгновение все это мелькнуло и исчезло во тьме: Борис погасил огонь. Зачем он несколько мгновений неподвижно стоит, тяжело дышит, слыша дыхание Лады?.. Какая несуразная кощунственная мысль пролетела в его голове в одно из этих мгновений: подойти в темноте, склониться и сжать это прекрасное тело в своих сильных руках... Испугался и торопливо пошел вон... Опять долго ходил мимо домика, сверкал огоньком папиросы и сам себя спрашивал: «Что со мной делается?» Улегся на душистую траву под навесом, старался уснуть, но сон не приходил. Поднимал голову, прислушивался, смотрел на раскрытую дверь и, вздрогнув, снова валился на траву. «А почему невозможно? Грех? А что такое грех?» Кто-то тайно разговаривал в душе, а он тайно слушал... «Наконец, если я просто люблю ее?» – шепотом спросил он темноту, сел, сбросив ноги, на досках, произнес: «Непонятно!» – и снова лег... На рассвете, истомленный бессонницей, заснул мертвым тяжелым сном.

## Глава четырнадцатая

Когда все страсти человеческие взбаламучены и выпущены на волю, когда кругом рушатся все казавшиеся когда-то непреложными и непоколебимыми «истины», когда жизнь кружит всех в своих хаотических вихрях, а сама перестает быть неприкосновенной собственностью личности, – «плен» половой страсти становится непосильным даже для прежде сильных волей людей. Если самая жизнь человека перестает быть ценностью и человека убить становится так же легко, как собаку, а порою даже и легче, чем собаку, то какие драгоценности душевной культуры могут сохранить свою прежнюю ценность? Половой инстинкт, тысячелетиями украшаемый божественной поэзией искусства и религии, этих двух родных сестер, получил в веках чудесное преобразование в любовь. На вершинах ее – Ромео и Джульетта, Абельяры и Элоиза, Данте и Беатриче. Позади – человек, преследующий женщину-самку, сваливающий ее наземь ударом дубины и удовлетворяющий свою половую потребность. Любовь зверя и любовь человека. Поругана сама Любовь, сорваны кощунственной рукой разнузданных страстей все ее прекрасные одежды из перлов поэзии и религии, и снова остается только страшный ненавистный и кощунственный половой инстинкт. Вместо Ромео и Абельяров – героями нашего времени делаются «Ермишки», насилующие пятнадцатилетних



девочек; люди высокой культуры, братья Паромовы, напоившие грязную бабу и в бессознательном состоянии оба на одной удовлетворившие свой половой инстинкт. От Гориллы к Человеку, и потом от человека снова к Горилле!.. Вышел «Зверь из бездны» и опоганил все человеческие святыни... Какая там «любовь!» Все это бредни, что в любви есть что-то кроме половых органов... И вот перестали видеть, что на навозе вырос чудесный сказочный цветок жизни – Роза Любви. Ведь она выросла на навозе, так какое же это чудо? Топчи ее в навоз ногами! Перестали слышать благоухание этого сказочного цветка, слышат только запах навоза... Нет в любви никаких святынь, как и вообще нет ничего святого ни в чем, даже в самой человеческой жизни. Грош ей цена. «Сегодня ты, а завтра я» сделаюсь сам падалью и навозом, так что остается еще пожалеть из всех, хотя и великих, сказок человечества? Ничего. Нигиль. А если так, во имя чего «геройствовать»?

Когда-то в зеленой юности Борис любил Ладу первой чистой любовью, прекрасной и ароматной любовью всех вместе: и Ромео, и Абеяра, и Данте. Давно это было. Потом затерялась эта драгоценность. Разбилась годами поругания над всякой человеческой любовью. Когда после многих лет разлуки Борис снова встретился с Ладой, воспоминания о пережитой сказке всколыхнули ему душу, и он стал трепетно волноваться, роясь в прошлом и находя разбитые черепки от когда-то драгоценного сосуда. Но, увы, это была не любовь,

а только эхо любви, прилетевшее из невозвратности, и потому, может быть, еще более нежное, грустное, трогательное. Уже в Новороссийске в вагоне, когда им пришлось жить в постоянной телесной близости, спать на одной лавке «в разные стороны головами», чувствовать взаимную теплоту тела, видеть случайно наготу, – смолкло грустное «эхо» в душе Бориса, и стало быстро расти вожделение. Борис часто ловил его по ночам, когда пред его глазами лежала тонкая нога Лады, вприсонье приоткрывавшаяся из-под белевших юбок более, чем обыкновенно, или перед сном, когда Лада освобождала себя от стесняющих условностей дамского костюма, плохо занавесившись в уголке, и Борис случайно схватывал глазами наготу плеч и груди. Он часто ловил себя на «сладких греховных помыслах», боролся с ними втайне и не мог их побороть. Эта женщина будила в нем страсть сильнее, чем всякая другая. Никакие доводы рассудка не действовали. Жена брата, родного брата? Не действовало. «Ну, что ж! Ведь она могла быть и его женой. Если бы она была сестрой, другое дело, но... она только формально, условно ему родственница, называемая невесткой. Сплошь и рядом двое любят одну женщину. А у евреев так есть даже закон, предписывающий брату жену умершего брата себе в жены. У всякого народа свои выдумки»... Но ведь все-таки это подлость перед братом, если бы вышло так, что?.. Тут вспоминалась грязная пьяная баба. Вообще Владимир так отвык от жены, столько раз менял ее на случайных встречных женщин, что

не ему говорить о подлости. Борису кажется даже, что Владимир уже мало и думает о Ладе. Это она воображает, что он по-прежнему пламенеет, сентиментальничает и прочее. Вообще, все это – одна философия и больше ничего. Чем он виноват, что Лада будит в нем страсть? И почему эта страсть подлая, а сам он – подлец?..

Был период, когда Борис снова почувствовал «эхо» невозвратности. Это случилось, когда Лада заболела тифом, а он служил санитаром в больнице. Было отчаяние, похожее на то, которое он переживал в юности, когда узнал, что Лада выходит замуж за брата. Тогда тоже казалось, что без Лады он не может жить на земле, и тоже приходили в голову мысли о самоубийстве. Тиф точно погасил половой инстинкт, и Борис вообразил себя бескорыстно влюбленным.

А вот теперь, когда они очутились в садовой сторожке глаз на глаз, снова грустное «эхо» невозвратности замолчало и уступило место вожделению. Опять мучительная борьба с самим собою, в которой изнывают и дух, и тело. И днем, и ночью.

Полюют огороды. Приходят две девки, и с ними работает Лада. Жарко постоянно нагибаться, ползать или таскать воду. Пот льется градом, хотя они почти в одних рубашках... Юбки высоко подоткнуты, ноги обнажены до колен, ворота рубашек спущены, грудь сверкает в щели и прыгает при работе. Совсем забывают про стыд: не до него. Работа под солнцем тяжела, и не приходит даже в голову женщинам сторожиться

от мужских взглядов. Борис таскает воду. Он мог бы этого не делать, но делает, чтобы быть тут же, около Лады, и видеть ее стройные ноги, шею, руки и грудь на свободе, чуть прикрытую тонкой пеленой рубашки, сползающей поминутно с плеч при нагибании, и выглядывающую то сверху, то из-под голой руки. Девки окончательно не замечают «сухо-рукого», как они за глаза называют «садовника-сторожа», и обращаются с ним, как с бесполом существом, шутя между собой и с Ладой, нескромно говорят, называя вещи прямо с циничной откровенностью, обычной у людей земли. Сперва это смущало Ладу, но скоро привыкла и перестала краснеть и смотреть, нет ли близко Бориса. Потом эта упрощенность и прямота вещей перестали ее пугать и даже стали втягивать саму. Она не говорила грубых слов, не употребляла циничных выражений, но дамская культурная осторожность с нее начала сливаться. Она уже перестала заботиться о том, чтобы не показать мужчине лишний кусочек своего тела или не принять нескромной позы, не потягиваться, выпятив грудь, не наклоняться низко, – все это стало казаться естественным и простым, как все естественно и просто было в окружающей природе. Ладу уже не шокировала расстегнутая рубашка Бориса, его волосатая грудь, незастегнутая пуговица, даже неожиданное дезабилье, в котором случалось иногда заставить им друг друга в домике. Лада была в этом чиста и искренна перед Борисом. Но Борис – он все время фальшивил, и вся эта первобытная простота и наивность, как он на-

зывал – «райских дней», для него была пропитана половой пошлостью, ибо в ней он искал только случая видеть Ладу в необычно откровенном виде и позах, раздражающих его половую чувственность, еще более острую от того, что ее надо было таить. Постоянно, как притаившийся вор, глазами воруемый, что плохо лежит, подделываясь под «райскую простоту», Борис и волосатую грудь свою обнажал намеренно и, обливаясь водой из колодца в полдневную жару перед обедом, делал это в кустах, около стены караулки, так, чтобы Лада в окно, через виноградную листву, могла случайно увидеть его стройное красивое тело. Он сам изнывал в греховной страсти, и в нем рождалось постоянное желание разбудить и в Ладе чувственность, ибо он уже плохо верил в женскую чистоту, и она его раздражала, как нечто притворное, быстро преходящее, обманывающее других и себя. Человек, не верующий в Бога, склонен думать, что и все другие не верят, а только притворяются, и они его раздражают, а если он убеждается даже, что перед ним действительно верующий, то он старается дерзким безнадежным кощунством посеять в том неверие, разочарование и превратить его в атеиста...

Надо было вставать рано, чуть всходило солнце. Лада не привыкла к этому. Борису приходилось будить ее. Пожалуй, это были для него самые опасные моменты испытания. Пробуждалась земля, птицы, цветы, вся тварь, и новое утро вливалось новую жажду бытия и желаний. Такая волна молодой силы и энергии переливалась в теле ранним летним утром, а

тут спящая, небрежно раскинувшаяся Лада, трудно пробуждавшаяся, безвольно-дремливая, горячая, источавшая особенный аромат молодого женского тела. И можно, пробуждая, коснуться рукой, дружески пошутить, испугать, что обольет водой или стащит насильно с постели. И вместо «эха» невозвратности – бунт половой страсти. Лада умывается на воздухе, Борис подает ей воду из кувшина. Иногда хочется после работ у земли очиститься от пота и пыли, почувствовать себя чистой – зовет Бориса пойти к морю. Море не близко – возвращаться приходится уже в темноте. Страшно одной. Борис сопровождает.купаются почти рядом, прячась за камни при раздевании. Возвращаются бодрые, освеженные, а ночь быстро опускает свой таинственный покров, зажигаются в синем небе звезды, стихшая степь начинает дышать ароматическими фимиамами, вздыхает море, где-то звонко лает собака, мигает огонек на хуторе. Горячий ветерок со степи целует в щеки... и, Боже, как Ладе хочется любить!.. И вдруг она начинает чувствовать во всем теле «нечто», что толкает ее прижаться к Борису, сжать его руку, за которую держится, или, склонившись над ним, сидящим, прижать свою грудь к его спине и тайно на мгновение вспомнить ласки мужа, далекие-далекие, ушедшие в туман прошлого... И вот, точно тайный договор: не замечать и тайно переживать эти мгновенные вспышки, у Бориса совершенно определенные, у Лады – туманные и призрачные. У Лады все это освещено воспоминаниями о Володечке, и Бо-

рис тут, как возбудитель этих воспоминаний. У Бориса ничем не освещено, кроме вожеления именно к ней, к Ладе. Лада всегда после этих тайных вспышек заговаривает о своем Володечке, а Борис чувствует себя вором, которому брат мешают украсть, и самое имя брата начинает раздражать его в эти минуты. И обоим снятся эротические сны... Иногда, под праздники, долго остаются у домика на крылечке, сидя рядом, и Лада, опершись на Бориса спиной перебрасывается с ним редкими-редкими малозначительными словами, а не хочется уходить; или Борис положит голову на колени Лады и притворяется задремавшим; Лада пристально остановится на лице, красивом, мужественном, так напоминающем Владимира, и проведет нежным прикосновением руки по волосам Бориса. Тот откинёт руку и нечаянно коснется груди. Тогда Лада вдруг решительно поднимается, сладко потягивается и говорит:

– Все равно... надо спать... Спокойной ночи! Желаю тебе увидеть во сне невесту.

– Особенного желания не имею...

– Вот как? Что же, разлюбил?

– Нельзя любить отвлеченную величину.

– Почему отвлеченную?

– Быть может, она умерла или живет и наслаждается с кем-нибудь... Ведь я для нее – тоже отвлеченная величина... Нельзя обнимать пустое пространство. Любовь, как тебе, вероятно, хорошо уже известно, состоит не из невесомого ду-

ха, но еще... и, пожалуй, главным образом, – из чисто материальных видимостей. Нельзя обнимать пустое пространство, наполненное одним воображением или воспоминанием... – философствовал Борис и, ввергнув Ладу в задумчивость, тихо баском пел:

*Увы, скажи любви конец,  
кто уезжает на три года...*

А Лада погружалась в печаль, и ей приходило в голову, что вот ей уже двадцать шестой год. Пройдет еще три-четыре года, и будет тридцать. Где же молодость? Когда вернется Володечка? Сколько лет еще будет продолжаться это томительное ожидание? А что если Володечка давно уже разлюбил ее и разделяет восторги любви с другими женщинами? Ведь уже три года на фронте, и... Борис говорит, что на фронте не бывает «верных мужей»... и что они давно уже исчезли. Посмеивается, когда Лада говорит, что Володечка не такой, как другие...

– Ну а ты, Борис?.. Неужели ты тоже... как другие? – спросила она однажды в минуты грустных сомнений. Он серьезно и пренебрежительно сказал:

– Я человек свободный... А потому, когда каждый твой день может быть последним на земле, ей-Богу, вся наша сентиментальность и чистота кажутся такими пустяками, о которых смешно говорить... Там, Лада, совершенно другая



психика: тебе дан только этот день, а завтра ты окажешься падалью, и одна истина стоит перед человеком: «Мертвый мирно в гробе спи, жизнью пользуйся живущий». А что может дать эта жизнь? Хорошо поесть, выпить, насладиться женщиной, выспаться – вот и все.

– Так неужели же...

– Что ты хочешь спросить?

– Так. Ничего.

– Ведь много среди нас таких, которые побросали семью и любимых женщин с начала войны, то есть шесть лет, – так неужели ты воображаешь, что они шесть лет живут монахами? Ведь, даже и «монаси сие приемлют». Конечно, если они не переступили еще пределов невольной святости...

– Замолчи! Не хочу слушать... Противно жить делается...

– Жизнь-то, Лада, только один раз нам дается, а юность и молодость быстротечны... «Дни нашей жизни быстры, как волны, что час, то короче к могиле наш путь». Помнишь в пушкинской сказке про Финна и волшебницу Наину? Эту фантастическую сатиру на верность в любви?

– Отставь, прошу тебя...

А Борис не переставал и насмешливо шутил, рисуя будущее: революция и гражданская война протянется тридцать лет (ведь была же в истории «тридцатилетняя война»). Лада превратится в седую Наину и будет гоняться за своим Володечкой, верная своей любви и своим клятвам, данным в юности. Доводил Ладу до слез, а потом подсаживался и уте-

шал: ведь он шутил, он не думал, что она все еще сентиментальная институтка в двадцать шесть лет!

– Ты врешь: мне не двадцать шесть, а двадцать пять лет.

– Извиняюсь, огромная, конечно, разница. Ведь теперь один год надо считать за десять лет. Так что наша жизнь по своим впечатлениям и переживаниям и переживаниям теперь прямо библейская: двести-триста лет. А потому в двадцать пять ты – девчонка, прекрасная, наивная, чистая и мечтательная... Ну, вот и засмеялась, что и требовалось доказать!..

– Какая ты болтушка, Борька! – уже с улыбкой, сквозь слезы шептала Лада.

– Не сердись. Так это все... от нашей несчастной жизни, такой прозаической и бедной красками даже в молодости. Когда-то поэт Надсон жаловался, что его поколение юности не знает и что юность стала сказкой миновавших лет... Врал!.. Вот теперь наше поколение действительно не знает ни юности, ни младости... Сказки это для нас всех... О, если бы можно было в них снова поверить! И у меня была, впрочем, сказка, волшебная сказка миновавших лет...

Борис вздохнул и замолк, сделался похожим на разочарованного героя.

– Расскажи мне ее, Борис! Это... про невесту? Про Веронику?

– Нет. Это моя тайна, Лада... Иногда эта сказка и теперь еще звучит в моей душе... Да, волшебная сказка... Сном те-

перь кажется, который снился в детстве...

– Ну, расскажи!.. Слышишь? Боричка?

Ладе делалось так жалко поникшего головой Бориса. Она начинала чувствовать материнскую нежность к нему, как и она, стосковавшемуся о чудных сказках жизни, гладила его по склоненной голове и просила:

– Ну, расскажи! Разве я тебе чужая?

– Вот именно тебе-то, Лада, я и не могу рассказать этой сказки...

– Мне? Почему?

– Впрочем, все это пустяки, и любовь игрушка, как говорят гимназисты.

– Боря! Расскажи, голубчик... А я тебе расскажу свою сказку. Хорошо?

– Начинай первая...

– Ведь ты мне... как родной!.. Я расскажу, только и ты не обманывай...

Лада начала рассказывать о том, как она впервые встретила Володечку, как она еще гимназисткой влюбилась в него и скрывала от всех, как они однажды летом шли лесом на реку и поссорились, потому что Володечка начал объясняться в любви. Потом как они однажды в лунную ночь шли лесом и слушали соловьев... И вот тогда она не могла уже и признаться...

Лицо Лады было восторженно, глаза устремлены в звездное небо, и вся она, казалось, покинула этот мир и улетела

в далекую сказку своей жизни. Вспоминала, как они венчались в деревенской церкви и потом как ехали в Крым...

– А я, Лада, в это время терзался страшными муками и думал, как прутковский «юнкер Шмидт», осенью застрелиться, – неожиданно вставил Борис.

Лада оборвала рассказ и удивленно посмотрела на склонившего голову Бориса:

– Ты? Почему? Ты был тогда влюблен? В кого?

– Потому что вот тут-то и разлетелась вдребезги моя первая и единственная сказка жизни. Не понимаешь?

– Нет...

– Понятно: в счастье люди слепнут и глохнут. Я тебя любил...

– Как? Не пон...

– Как сорок тысяч братьев вместе любить не могут!.. – сказал Борис и засмеялся. – А ты была в кунсткамере, а слона-то и не заметила. Хорошо, что тогда глупости не сделал, – вот теперь и пригодился тебе...

– Не поймешь, когда ты говоришь серьезно, когда шутишь...

– А если, Лада, вся жизнь моя стала «смешной и глупой шуткой»? Все прошло и поросло травой забвенья...

– Теперь не застрелишься?

– Нет!.. По каким-нибудь другим причинам, возможно. Не отрекаюсь. Но из-за любви... не стоит она теперь того!

– А неужели тогда ты... мог... из-за меня? Вот уж не по-

дозревала!

– Тогда? Ты даже и вообразить не можешь, как я мучился. Вы уехали, а я... Не помню, что меня удержало тогда. Должно быть, только гордость, мужская гордость...

Борис говорил уже совершенно спокойно, с ироническим оттенком, и Ладе было жаль, что такое красивое страдание преодолено и рождает теперь у Бориса только усмешку.

– Неужели ты так любил меня, что мог застрелиться? И как я не замечала? Бедненький Борька!.. Ты был такой серьезный и застенчивый, почти совсем не говорил со мной. А знаешь?.. Теперь уже можно признаться... Одно лето, когда мы все еще были в гимназии, ты мне нравился больше Владимира. Ей-Вогу! Честное слово! А потом уж... потом полюбила Володечку... Ах ты, бедненький! Ну, не поминай лихом и не сердись, что перенес когда-то эти муки... Ведь все это было так красиво и поэтично!..

Лада поцеловала в голову Бориса и вздохнула. Взяла его «мертвую» руку в свою и стала ласково гладить.

– Что с тобой? Боря! Борис!..

Борис вздрагивал от подавляемых рыданий. Такая острая жалость пронзила душу Лады. О чем? Ведь все пропало, все позабыто. Ведь теперь уже нет страданий, и только одни далекие воспоминания. Уговаривала, а у самой прыгали слезы и дрожал голос:

– Боря! Ведь, все это сказки... все сказки!.. У тебя есть невеста и...

Борис сорвался с места и убежал в глубину сада. Так тревожно стало на душе Лады. Так хотелось как-нибудь утешить этого взрослого мужественного человека, плачущего над призраками прошлого. Могла ли она думать, что Борис так любил ее! Хороший он. И смешной: вспомнил и расплакался... Вот тебе и сказки!..

## Глава пятнадцатая

Хуторок Соломейки стоял на отскочке, вдали от железной дороги и от шоссе; «своя» дорога к нему была, и по ней только туда ездили. Не привлекал поэтому этот хуторок внимания ни «белых», ни «красных». Когда-то Соломейко был станичным писарем, а после стал хозяйничать на купленном хуторке и жил теперь трудами рук своих с огородами и сада. Последний год старик ослаб, потерял былую энергию, колоссальную трудоспособность и самый интерес к труду. Точно увял Соломейко, раньше веселый говорун, любивший и выпить, и пошутить, и песни попеть казацкие. Стал угрюмый, задумчивый, точно всегда разрешал в уме какую-то трудную задачу. Неразрешимая задача! Старший сын, Петр, – у «белых», а младший, Павел, – у «красных». А сердце отцовское не поделишь. Старик не любит и боится больше «красных», да и «белых» недолюбливает. «Белые» делали обыск и увели лошадь; «красные» забрали корову. Одни ругали «товарищем», другие – «буржуем и кадетом», теперь застраховался от всякой опасности: однажды, когда победителями были «белые», приехал повидаться с отцом старший, Петр, и выдал старику «охранный мандат», в другой раз, когда были победителями «красные», приезжал младший, Павел, и тоже выдал «мандат». Можно бы хозяйничать, да нет на душе успокоения: Бог знает, когда и как кончится вся эта злоба, и

стоит ли трудиться... Для кого? Для которого из сыновей? А сам он уже стар и немного ему надо...

Иногда он заходил в сад – посидеть в сумерках и разогнать хмурую разговорами с Борисом и Ладой. Говорил, что пора бы за покойной женой, подальше от этого зла, к Господу Богу на покой, где нет ни белых, ни красных, а только одни грешники. А когда Борис с Ладой говорили ему слова утешения и старались поддержать его дух и энергию, то безнадежно махал рукой и говорил:

– Точку в жизни потерял!.. Ногами опереться не во что... И все люди тоже потеряли точку... Не видно, где правда. Сперва думал – она у белых, потом стал думать, что у красных. А теперь ничего нет, одна злоба и грабеж, убийства и пьянство. Один разбой везде...

Долго молчал, смотря тупыми глазами в землю, потом, тяжело выбросив из легких воздух, разводил руками и думал вслух:

– Видно, один на свете остался: от Петра давно ни слуху, ни духу нет. Ждал, что теперь Павел явится или весточку подаст, – тоже ничего... Может, одного там, другого здесь убили. Помирили... А хорошие оба ребята были... Жить бы да жить, а они... Брат на брата, отец на сына, сын на отца!.. Помирать надо...

Вставал и медленно уходил, смотря в землю.



Случилось это поздним вечером. Было уже темно – лампы зажгли.

Стала брехать собака внизу, под садом, где стояла баня. Борис взял револьвер и обошел сад. Собака бегала около бани, но, увидя Бориса, замахала хвостом и пошла за ним, лениво позевывая.

– Что ты, дура, разбрехалась?

Постоял, прошелся вдоль изгороди. Все благополучно. Мало ли поводов у собак полаять. Иногда лают для собственного удовольствия, лают и слушают раздающееся в тишине эхо собственного лая. Со скуки и от «нечего делать». Иногда и самому хочется сесть и завывать на луну. Все не налаживается дело с побегом: боятся еще рыбаки, все оглядываются, все еще разъезды и подозрительность к жителям. Вернулся Борис в сторожку и успокоил Ладу. Несчастье у ней: занозила на работе ногу, нарывает и дергает, ступить нельзя, на пятке ходить приходится. Лежит на постели с книгой и не знает, как ногу свою устроить.

– Покажи, что там у тебя с ногой!

– Что-нибудь осталось: колет и дергает. Плакать хочется...

– Ну!

Пристроил лампу на табурет и стал осматривать ногу Ла-

ды. Опять зашевелился «зверь», и нужен волевой намордник: такая красивая, точно выточенная из слоновой кости нога...

– Теперь больно и выше, до колена тянется боль... Ой! Тут, тут!

Борис положил ногу на свое колено и осторожно массировал. И опять поднимался бунт вожделения и жег душу и тело Бориса. Уже туман страсти застилал его рассудок и подвел его к краю бездны, когда собака скрипнула дверью и появилась в сторожке. Оба испугались. Испуг вырос, когда в ночной тишине послышались отчетливые шаги по дорожке. Борис инстинктивно схватился за револьвер, запер дверь и стал на страже. Лада подобралась, села в постели и устремила испуганные глаза на дверь. Стихло. Кто-то, несомненно, бродит по саду. Выпустил собаку и стал слушать: не лает, кто-то ласково и тихо говорит с ней. Отлегло от сердца. Значит – «свой». Лада еще дрожала, а потом стала нервно посмеиваться...

– У меня даже болеть нога перестала...

– Дай я подую, поцелую, она и совсем пройдет...

Оба были настроены возвышенно, немного взвинчены испугом, но радостны от того, что тревога оказалась напрасной, и никакой опасности опять нет. Сидели с запертой дверью и подшучивали друг над другом...

В этот момент послышался осторожный стук в дверку.

– Кто?

– Я это.

Старик Соломейко. В такой неурочный час...

– Случилось что-нибудь?

– Радость у меня!..

Борис отомкнул дверь: со стариком стоял еще человек, лицо которого показалось знакомым Борису.

– Не узнаешь? Этак ты, пожалуй, мог бы убить меня, если бы заглянул давеча в баню...

– Сын! Петруша! – подсказал старик Соломейко, с нежностью поглядывая на рослого красавца.

– Петр? Ты?

Обнялись и расцеловались.

– Попутчик тебе, Борис: тоже пробираюсь в Крым. Эх, Володьки-то нет! Втроем бы опять очутились...

– А он?..

– А ты разве не знаешь? Поймали нас: я убежал, а его расстреляли... Мы...

Дикий нечеловеческий крик оборвал слова Петра, и тут только Борис, растерявшийся от неожиданного визита, вспомнил о Ладе. Но было поздно. Лада схватила смысл страшного разговора и поняла, что говорили о ее Володечке. Все растерялись. Старик сейчас же ушел. За ним, обменявшись глазами и жестами с Борисом, вышел и Петр. А в сторожке настала ночь скорби и стенаний над последней сказкой жизни, в один миг и одним словом так жестоко разбитой страшным вестником... Пришел вестник от пустыни и ска-

зал: «Твой муж был жив и любил тебя, но вот пришел ветер от пустыни, и у тебя нет больше ни мужа, ни любви!» Это было такое исступленное бешеное страдание, такой бунт души, не желавшей примирения со смертью любимого человека, что даже Борис, привыкший ко всевозможным картинам человеческих страданий и отчаяния, растерялся. Он просто не думал, что так безграничны и страшны могут быть эти страдания.

– Нет! Нет! Не хочу! Не верю! – кричала Лада кому-то, трепеща в судорогах. – Володечка, ты жив! Жив! Жив! Это неправда? Бог! Это неправда?

Она билась руками и ногами, словно сама отбивалась от смерти, стенала и кидалась с обезумевшими глазами к Борису, что-то от него требовала, потом начинала рыдать, затихала, и казалось, что она умерла... лежала, откинувшись головой и разбросав руки на коленях Бориса, с порванной на груди одеждой, с полуобнаженной ногой. Как большая сложенная кукла. Но проходило несколько минут, глаза широко открывались, и снова отчаянный крик и бунт души и тела... Нельзя было с ней говорить: кошунственно звучал голос пред таким страданием. И все равно Лада ничего не слышала. Борис положил ее на постель и, сев около, держал ее руки. Стихла и стала жалобно умолять Бориса убить ее или дать ей револьвер. Даже перестала плакать. Говорила вкрадчивым задышающимся шепотом такое, от чего Борису было жутко и хотелось закричать о помощи: чудилось, что эта жен-

щина потеряла рассудок:

– Ведь ты меня любил и... любишь еще... Если ты отдашь мне револьвер, то я... тебе... отдамся. Хочешь? Возьми меня, а потом... Уйдешь, и я кончу все это... Не хочу! Не хочу! Бог, я не хочу жить!

И так всю ночь. Только к рассвету она потеряла силы и смотрела безмолвно на Бориса потухшими глазами со странной улыбкой на губах... Может быть, она лишилась дара слова: слабым жестом руки велела ему склониться и, когда он это сделал, прижалась к нему всем телом и, крепко уцепившись за его шею правой рукой, закрыла глаза. Редко и ровно дышала в ухо Бориса, моментами вздрагивая всем телом, словно от электрических токов. Казалось, что все исцеляющий сон погасил наконец ее сознание и ее страдания; Борис пытался осторожно приподняться, чтобы расправить свои члены, одеревеневшие от неловкого напряженного положения. Но всякий раз, не раскрывая глаз, Лада отвечала этим попыткам испуганным судорожным движением руки, не выпускавшей шеи Бориса. Только раз она прошептала в ухо Бориса: «Володечка!.. мой». Странно, что только от этого сказанного шепотом слова Борис вспомнил о брате и о том, что он убит. До сих пор известие об его расстреле словно выпало из сознания его и не оставило никакого следа в его душе и сердце. От этого шепота словно раскрылась душа для несчастья: острая жалость вонзилась в душу, и Борис, упав рядом с Ладой, заплакал о брате. Лада шевельнулась,

прильнула еще плотнее к Борису и успокоилась. А он потихоньку плакал... Полуоткрытая горячая грудь Лады ткнулась прямо ему в лицо, и чудилось в дреме, что это летнее жгучее солнышко печет лицо пучком своих лучей. Опомнился, изменил положение, посмотрел на Ладу: глаза то смыкаются, то чуть-чуть приоткрываются, и в них туман и улыбка. Взяла его руку и положила на свою обнаженную грудь. Он стал целовать ее в губы, и она продолжала странно улыбаться. Стал целовать обнаженную грудь – не отталкивала... И вдруг налетел шквалом вихрь проснувшегося вождения, взметнул все тело, затуманил-закружил сознание и превратил Бориса в «зверя»... Не сопротивлялась. Обхватила шею рукой и, откинув голову на бок, разомкнув рот со сверкавшими зубами, смотрела в пространство слегка раскрытыми туманными глазами, а на губах продолжала играть странная полурадостная-полупечальная улыбка...

Заглянуло зелеными золотящимися на стене пятнами солнышко в затененное виноградом окошко. Борис очнулся и вспомнил все, что случилось. Лада была, как мертвая: глаза чуть-чуть стекленели в щели глаз, лицо было мертвенно бледно, губы сухи и крепко сжаты. Строгое сосредоточенное лицо. Борис осторожно снял ее отброшенную руку со своего колена и встал. Она широко раскрыла глаза, удивленно посмотрела на Бориса и отвернулась к стене. Может быть, она снова погрузилась в дремоту. Как вор, что-то драгоценное стащивший, Борис прокрался к двери, тихо приоткрыл ее и,

выскользнув, снова притворил ее за собой. Посмотрел подозрительно по сторонам, послушал ухом у двери и стал заискивающе похлопывать собаку и шепотком разговаривать с ней:

– Поздно уж? Проспали мы? Ах, ты... стервочка!..

Пошел к колодцу и умылся холодной водой. На душе оставалось воровское самочувствие, и как будто бы что-то беспокоило, но в молодом теле переливалась радость, особая радость мужчины, утвердившего свое половое превосходство над женщиной. Точно свершил подвиг. Здесь, вдали от сторожки, воровская осанка пропала, шаги на цыпочках сменились твердой поступью, и на губах стала блуждать торжествующая улыбка. Обвеял ветерок мокрую голову и сырое лицо, захотелось расправить члены, разрядить мускульную силу: одной рукой подтянулся, ухватившись за перекладину колодца, покачался всем телом и отпрыгнул. Погулял, что-то вспомнил и направился к окнам хутора: кто-то там мелькнул в раскрытом окне. Это был старик Соломейко. Печально вполголоса поговорили о вчерашнем.

– А ведь я думал что это ваша супруга... так считал.

– А где Петр?

Старик осмотрелся по сторонам:

– В бане. Надо посвистать перепелом, и он будет знать, что свои. Надо пореже – туда!.. Когда темно, можно, а днем лучше поосторожнее. Вы с ним поговорите: у него налажено дело-то... в Крым-то! Там опять начинается...

Поговорили с оглядкой, Борис пошел прочь. Вернулся к сторожке, и опять у него появилась воровская повадка. Послушал ухом у двери, заглянул в окошко: не спит, лежит на спине и смотрит расширенными глазами в потолок. Помнит или нет, что случилось ночью? Войти боялся. Начал возиться с самоваром, посвистывал, вообще давал понять, что он близко и ничего ужасного не случилось. Ну, вот... сама зовет:

– Дай мне пить!..

Дал ей холодной воды из колодца. Приподнялась на локте, жадно выпила воду и, подавая стакан, упала в постель. Закрыла глаза.

– Сейчас будет чай...

Не ответила, точно не слышала. Подсел в ногах. Встретились глазами. Тоскливая безмолвность и больная улыбочка. Облизала губы и чуть слышно сказала: «Ну, вот и все!..» Непонятно, что это означало. Он взял безвольную руку и приложил к своим губам. Не отняла. Нечто хищное сверкнуло в глазах Бориса. Он подумал: «Притворилась, что ничего не помнит». Отлично! Он тоже будет покуда притворяться. Не вставала. Едва коснулась чая. Почти не говорила, редко раскрывала глаза. Он уходил и приходил. Все то же. И так до момента, когда Борис, захватив подушку, хотел идти на свое обычное ночное логово. Лада слабым голосом остановила:

– Не уходи!.. Я боюсь одна...



А ночью опять припадок отчаяния, опять рыдания, стенания, мольбы убить ее. И все случилось так же, как было прошлой ночью. Налетел «зверь» и потопил, точно придушил, слезы стенания и муки. И опять Лада, точно напоенная «мертвой водой», раскинувшись, с обнаженной грудью и ногами, лежала с туманными прищуренными глазами, и опять на губах ее застыла странная улыбка, полурадостная, полугрустная...

И шли дни и ночи: дни молчаливые, тихие, что-то странное затаившие, а ночью – точно убийства, учиняемые зверем-разбойником над больным ребенком. И «зверь» победил больного ребенка: в минуты припадков тоски и отчаяния Лада искала забвения в бурных ласках Бориса...

## Глава шестнадцатая

Люди науки говорят, что история, как и люди, имеет свою логику. Если это так, то и в истории бывают эпохи, когда она делается «сумасшедшей». Сумасшедшими делаются тогда люди и события. Тогда ничто не происходит, а все только случается. Сама жизнь, кажется, теряет логику, и мы начинаем болтаться, как щепки в море. То волна выкинет на берег, то снова подхватит и унесет в пучину. Человек лишается способности предугадывать, что с ним будет завтра и как он поступит в ближайший момент. Точно кто-то за него думает и делает, овладев его материальной оболочкой и всеми чувствами познания мира. Все начинает зависеть только от всемогущего случая... Так бывает в бурные революционные эпохи. Так – теперь.

Свалилась неожиданно-негаданно на старика Соломейку радость: явился старший сын, Петр, долго пропадавший без вести. Так же неожиданно-негаданно пришла и вторая радость: приехал младший, Павел, которого отец считал убитым. Две несказанные радости. И с ними вместе пришла пировать на хутор смерть...

Однажды поздним вечером на хуторе произошел переполох: начала злобно лаять у запертых ворот собака. Всех встревожила: за воротами разговаривали люди, пофыркивали кони. Борис, захватив револьвер, пошел осторожно

проведать, что случилось. В окне дома показался свет: это проснулся старик Соломейко. Вышла старая баба-кухарка из кухни. Высмотрев через кусты изгороди приезжих, Борис понял, что это – красные, опрометью кинулся назад, разбудил Ладу, и они, наспех похватав кое-что из вещей и одежды, побежали в баню, к Петру. Разбудили. Тот моментально отрезвел и взвесил обстоятельства. Он никогда не терялся, и это его всегда спасало.

– Не волнуйтесь! Если отец зажжет лампу с зеленым абажуром, тогда надо бежать. Будем наготове, но зря бежать не стоит. Не хочется.

– А если он не успеет или позабудет это сделать?

Петр успокоил. Не торопясь и не волнуясь, он объяснил, что на окне, выходящем в сад, стоит специальная лампа, и около нее всегда спички; отец не может забыть зажечь лампы, если грозит опасность, как не может забыть, что у него есть сын, приговоренный к смерти; не успеть тоже не может: у него – «охранный мандат», и потому всегда найдется время провести дураков. Оделись в путь, осмотрели револьверы, и Петр вышел на дорожку, с которой видно окно. Было слышно, как брякнул засов ворот и люди въехали во двор, как остановились у крыльца дома и вошли. Что это – красные, Петр не сомневался, но ждал... Зеленая лампа не зажигалась. Хлопали двери, бегала баба из кухни в дом и обратно, собака не лаяла. Вообще мир и тишина ничем враждебным не нарушались. Петр постоял еще полчаса и вернулся тихим

шагом в баню. Пустяки! Вероятно, завернули случайно знакомые из красных. У старика были такие. Ладу уложили на скамью в предбаннике, одетую и готовую каждую минуту к походу. Сами не ложились: с револьверами наготове сидели у бани в кустиках, тихо говорили.

Изредка Петр отправлялся на разведку и возвращался: лампа не зажжена...

– Однако не спят. Надо думать, едят и пьют.

Смеются и говорят.

– Много их, гостей?

– Немного. Двое-трое. Справимся...

Так прошло еще с полчаса. И вдруг шаги и покашливание в саду.

Насторожились, щелкнули затворами... Но тут Петр рассмеялся и сказал:

– Отец идет!.. Этак и убить можно... Ты, папа?

– Петя! Ты с кем тут? А! Не узнал...

Старик был радостен, немного возбужден вином и стал торопливо рассказывать о своей радости:

– Паша приехал! Жив! Не веришь? Клянусь тебе Господом Богом. Точно из мертвых воскрес!.. Ах, Господи, Господи! Все съехались... Только матери нет... Нет матери!..

И старик стал отирать рукой слезы радости и печали. Он был прямо трогателен в этой печали и радости. Петр, однако, оставался холоден и молчал. Старик почувствовал, что одинок он и в своей радости, и в своей печали, и стало ему

обидно и досадно.

– Вот ты, Петя, считаешь его подлецом и... а он... Вспомнил я тебя, а он вздохнул. Да! Вздохнул. Думает – убит. Утешать меня стал... Остались вдвоем (он с товарищем приехал), Паша и говорит: а любил, говорит, я Петю! Выпил это, и... душа нараспашку. Хотя, говорит, мы с ним – враги, но по крови мы – братья... И заплакал.

– Даже заплакал? – хмуро и насмешливо произнес Петр.

– И вот что мне хочется, Петя: я Пашу положу в своем кабинете, вместе мы, а товарища уложим на мансарде. Хочется мне, чтобы вы увидались...

Петр помолчал, тихонечко посвистал и ответил:

– Незачем нам...

– Эх, Петя! Ведь, братья! Вместе росли, одна мать рожала...

– Ошиблась она! – усмехнувшись, бросил Петр.

А Борис заметил мимоходом:

– Опасно это... для всех нас.

– Пора, Петя, бросить это... Вот увидались бы и... того...

– В красную армию поступили? Или он – в белую?

– Не надо ничего! Довольно уже крови пролили...

– А ты ему сказал бы это, папа!

– И скажу! Неужели даже на один час нельзя забыть, кто в какой армии, и просто... братьями сделаться?

– Каин с Авелем тоже братьями были, – хмуро ответил Петр.

Старик сидел на бревне у бани. Когда Петр сказал про Каина с Авелем, отец встал. Постоял, подумал и сказал:

– Ты, Петр, жесткий человек. Жесткий! А вот я спросил Пашу, а что если бы Петя вернулся, как ты? А он говорит: на фронте – враги, а дома – братья. Так и сказал...

– Он вот в доме сидит да винцо с тобой попивает, а я, как бродячая собака, в бане скрываюсь... от братца-то своего и его приятелей.

Старик еще постоял и, ничего не сказавши, медленно побрел и скрылся в темноте.

Долго Борис с Петром сидели молча, в сосредоточенном раздумье.

Вышла Лада. Она пряталась за приотворенной дверью и все слышала. Старик произвел на нее сильное впечатление своей страстной мольбой о примирении. Женское сердце чувствительнее. Оно уловило в этой тщетной попытке отца помирить двух братьев всю трагедию жизни, увидала темную бездну, куда катятся люди в озлоблении. Когда же конец? Нет конца. Значит – злоба до взаимного уничтожения? О, как изустало, изболелось женское сердце по мирной жизни, как устала душа вечно бояться смерти, вечно думать о врагах, о спасении жизни, терзаться скорбями невозвратных потерь, разбивать свое и чужое счастье! Ладе казалось, что если бы Петр не был такой жестокий и черствый, то не мог бы отказать отцу, да и сам не смог бы отказаться от такого редкостного случая – увидеть брата, поцеловаться с ним и в

поцелуе понять, что они вовсе не враги...

– А мне очень хочется увидеть вашего брата и поговорить с ним, – пожимаясь, сказала Лада.

– Что ж, вам не так это опасно, – отозвался Петр.

– Женское любопытство! – произнес недовольный Борис.

– Нет, не то... Не из любопытства, Борис. Ведь и они такие же несчастные люди, как мы...

– А не приходит тебе в голову, что... случай такой... что именно этот человек убил... моего брата Владимира? Погодите! Кто это там?

Все притихли. По дорожке, мелькая темными силуэтами через листву, шли двое. Лада спряталась за дверь. Борис скользнул за стену бани. Петр остался и ждал. Это шли, обнявшись, подвыпившие отец с сыном – мириться с Петром...

– Вы оба в родном отцовском доме. У меня, Паша, никакого фронта нет!..

– Я, папа, тебе сказал, что сейчас я только твой сын и только брат Петра... – слышался в тишине ночи разговор шагавших по аллейке к бане добродушно настроенных, счастливых взаимной радостью свидания родных людей.

Когда Петр услышал голос брата, все тот же мягкий и ласковый голос, который звучал ему в течение долгих лет взаимной любви и дружбы, – он вспомнил мать, детство, гимназию, в которой они учились и кончили курс, еще какую-то смешную мелочь из далекого детства, и душа его радостно шевельнула крыльями. Точно приотворилась закрытая став-

ня в окошке, и пучок солнечных лучей ворвался в темноту. Рука, положенная в кармане на рукоятку револьвера, испугалась и вылезла, и за минуту невозможное, сделалось вдруг возможным:

– Петя! Мы идем... нечего прятаться.

– Я здесь.

И вот враги сошлись. Несколько мгновений смотрели в глаза друг другу, потом по лицу Павла проскользнула улыбка, и он протянул руку. Не сразу поднялась рука Петра, с запинкой. Но поднялась. Старик Соломейко захныкал от радости, и душа Петра от этого старческого хныканья очистилась вдруг от злобной гордости, как последние тучки по небу после грозы, пробегавшей еще в сознании. Что-то толкнуло врагов друг к другу, и случилось чудо: обнялись и застыли. А старик, продолжая хныкать, поднял голову к звездным небесам и стал креститься и шептать:

– Благодарю Тебя, Господи! Мать! Видишь ли?

И все это было так мелодраматично, что стоявшая за дверкой Лада, вспомнив о том, что вот это, что она видит, никогда уже не может случиться между Борисом и Владимиром, потому что «Володечка убит», – не выдержала и разрыдалась.

– Аделаида Николаевна, выходите, голубушка! Что прятаться? Он не волк... – сквозь смех и слезы громко сказал старик Соломейко. – Боятся друг друга люди!.. Всех ты, Паша, напугал. Выходите оба! Паша все знает, и нечего боять-



ся...

И вот все сошлись около старика. Он был необыкновенно счастлив, точно опьянел еще сильнее. Всех тянул в дом выпить «круговую» и все заставлял братьев поцеловаться.

– Папа! Мы не женщины. Можно и без поцелуев...

– Сделайте для меня эту божескую милость!

– Ну!.. Петя!.. Надо уважить старика...

Остановились. Произошло торжественное лобызание. Около крыльца задержались: Павел остановился первый и тихо сказал:

– А ведь, там наверху... еще есть «товарищ»... Пожалуй, лучше бы все-таки.

– Так неужели выдаст? Тебя? Друга? – возмущенным шепотом спросил старик.

– Не знаю, – задумчиво произнес Павел, а Борис тронул Ладу за руку:

– Нам лучше не идти.

– Пустяки! Все мои гости, и больше ничего.

Вышла из кухни баба и удивленно посмотрела и послушала. По голосам узнала Ладу с Борисом и подумала: «Что-то тут не так». Она уже и раньше об этом подумывала. Кое-что заметила уже. Не настоящие это работники и что-то очень людей опасаются. Книжки тоже читают, и разговор между ними не простой, хитрый всегда. И вот тоже: хозяин строгий с ними, никогда не поклонится, а тут ночью в гости привел. И еще третий явился. Недаром старика «кадетом» называ-

ют. Тут что-нибудь неспроста. Опять «буржуи» сползаются. За что баба ненавидела «кадет» и «буржуев», и кого она называла этими именами? Под этим собирательным наименованием ей смутно чудились все ее личные недоброжелатели и враги, от которых ей выпала злая доля: пьяница-муж, бедность, побои любовника, пожар, от которого сгорела ее хата. Все это от проклятых «буржуев и кадетов»! Слыхала она, что старший-то сынок у хозяина в белогвардейцах. Не верила, что и младший – «красный», прикинулся только. А вот другой, который приехал с сыном, – настоящий. Это сразу видать. «Буржуй, – говорит, – твой хозяин; если бы не сын, Паша, – давно бы, – говорит, – к стенке поставили». Выпивши-то люди всегда правду говорят...

Раздумали, не пошли Борис с Ладой в дом. Павел не посоветовал. Один Петр пошел. И совет вполголоса, и то, что Борис с Ладой вернулись и скрылись в саду, – все это было так таинственно и подозрительно, что у бабы не осталось больше сомнения: «Что-нибудь буржуи задумывают», – конечно, враждебное, злое – против того, «настоящего», который ее «товарищем Мавром» назвал и винца стакан поднес да сказал: «Пролетарии, собирайтесь!» А оно как раз наоборот выходит: не пролетарии, а буржуи с кадетами собираются... «И хитры же, псы окаянные, чтоб им сдохнуть проклятым, чтобы лопнули у них зенки и вытекли чтобы...»

Не хотелось спать. На душе было тревожно от этого «случая» с двумя братьями. Лада с Борисом сидели на порожке

бани и делились своим волнением. Павел сразу Ладе понравился, и она не ошиблась: когда шли в дом, он сказал Петру, что ему надо поскорее бежать и что он поможет этому делу. И, конечно, всем поможет. Говорил, что всего лучше бежать через Тамань в Керчь.

– Вот видишь, Борис, а ты...

– Никому я не верю, Лада.

– А Петру?

– Даже самому себе! Мы потеряли сами себя – вот в этом весь ужас и все наше бессилье... Я вот думаю: мог ли бы я протянуть руку брату, если бы мы были в разных лагерях? Тебе вот было приятно, когда они поцеловались, а меня перердернуло. Я не мог бы. В этом для меня оскорбление и унижение...

– В тебе сатанинская гордость.

– Возможно. Мне этот поцелуй напоминает Христа и Иуду из Кариота.

– Кто же Христос и кто Иуда?

– А скорее напоминает Петра, отрекавшегося от Христа во дворе первосвященника Каиафы.

Говорили и не понимали друг друга. И потом сами запутывались в своих мыслях и чувствах и от этого погружались в тяжелое молчание, рождавшее ощущение полного одиночества, полного отчуждения от всего мира. Оставалось вдруг круглое одинокое «Я» и больше ничего. Нигиль!

А в доме шло свое. Там было похоже на библейскую ле-

генду о «Блудном сыне». Роль блудного сына выпала на долю Петра. И отец, и брат Павел чувствовали себя хозяевами, единым отцом блудного сына Петра: не знали, чем угостить и как проявить свое подогретое вином внимание и расположение. И это оставляло неприятный осадок на душе Петра. Разве он не такой же сын? И разве он сам не мог бы угощать брата? Почему именно он должен разыгрывать роль несчастного блудного сына, а Павел чувствует себя господином в доме и проявляет неуместное покровительство? И делает это он с какой-то не подлежащей никакому сомнению правосознательностью. Точно вся правда и вся истина – только на его стороне, а Петр должен до смерти раскаиваться, что сделал непоправимую глупость и ошибку. Петр вовсе этого не чувствует, и ему все это «было бы смешно, когда бы не было так грустно».

– А здорово мы вас, Петя, потрепали? Вот то-то, брат, и оно-то, брат!

– Что ж, радуйся и веселись! Нас рассудит история, только история.

– Народ уже сказал свой приговор, а история дело темное.

– Народ? Какой народ? Народ и нас встречал цветами да молебнами.

– А потом? Когда вас раскусил?

– Что ты подразумеваешь под этим «раскусил»?

– Согласись, что ты все-таки очутился игрушкой в руках реакции?

Отец словно предчувствовал, что дело идет к размолвке, и старался поворотить разговор в другую сторону, Но ничего не выходило. Братья уже схватились и не могли расцепиться. Не слушали отца и продолжали, машинально чокаясь новыми стаканами, обвинять друг друга. Повышенный острый разговор долетал до мансарды, и неожиданно из двери наверх выглянул полуодетый «товарищ».

– Что за шум, а драки нет? – спросил он.

– Э! Гриша! Иди, – познакомлю... Хочешь вина?

– Женщин нет? Я, можно сказать, без галстука.

– Бросьте вы эту философию! – просил старик, начинавший дремать под принципиальные разговоры, в которых сам черт ногу сломит. Появление Гриши немного убавило пыл столкновения. Примолкли было.

Баба принесла еще три бутылки вина: «товарищ Гриша» налил бабе стакан вина и сказал:

– Выпьем, товарищ Мавра! Смерть буржуям! Верно?

– А мне их что жалеть?

– А тогда пей до дна!

Вот тут и вцепился снова Петр:

– Ты, Павел, правду народную в устах этой Мавры прозреваешь?

И опять началось. Товарищ Гриша с недоумением слушал дерзкие слова Петра и наконец сказал:

– А вы, товарищ Борис, или как вас?

– Борис это другой, не этот... – подсказала баба.

– Меня зовут Петр Степаныч, и потом... я вам не товарищ.

– Слышу и чувствую... И удивляюсь.

– Чему именно?

– А тому, что в этом доме позволяют так разговаривать.

Кто вы такой?

– Пойдите вы от меня к черту! Я не позволю вам говорить со мной тоном прокурора.

– А если я имею право так разговаривать? Павел! Я требую объяснить, кто этот господин, разводящий здесь контрреволюцию...

Баба, иезуитски вздохнув, вышла из комнаты, полная тайной радости, что все так хорошо случилось. Старик обиделся, что в его доме распоряжается чужой ему человек:

– Вы – в гостях! Не дома. Нехорошо вам тут шуметь и привязываться...

Товарищ Гриша, оттолкнув Павла, который пытался увести «товарища» в мансарду, оскорбился:

– Мы везде дома! И я не позволю оскорблять красное знамя разным...

– Что такое? Я офицер и не позволю вам...

И тут Петр выхватил револьвер. Товарищ Гриша скользнул в дверь на мансарду. Отец и брат схватили Петра за руки и стали вырывать револьвер.

– Оставьте меня! Оставьте, говорю вам! – кричал Петр, отшвыривая от себя отца и брата. Отстранив их, он молча

повернулся и пошел вон из дома. В этот момент с мансарды выскочил товарищ Гриша и побежал следом, за Петром. Заметив в руках его револьвер, Павел побежал за ним, чтобы помешать убийству. Петр, заслыша погоню, нырнул в сад, побежал кустами и закричал в темноту ночи:

– Борис! На помощь!

В этот момент озверевший товарищ выстрелил в скользившую в кустах фигуру «контрреволюционера», но промахнулся и продолжал бежать, мыча от злобы, как тигр в зоологическом саду, а Павел догонял его, чтобы остановить и дать возможность убежать брату. Когда Борис услышал крик о помощи и выстрел, он побежал в темноту. От пули Петра сковырнулся товарищ Гриша, от пули Бориса упал Павел... И все сразу стихло...

Лада от ужаса потеряла всякую способность соображать. Борис гнал ее вперед, вон из сада, куда бежал Петр. Притаилась ночь, слушала и вздыхала земля морскими «охами». Звезды смотрели с высоты в помутневшие раскрытые глаза двух лежавших рядом людей. По дороге с хутора торопливо уходила с узелком баба с собакой, поминутно оглядываясь на молчаливый страшный теперь хутор.

На другой день приехали «товарищи». Обыскали хутор, сад, огороды и расстреляли около караулки старика Соломейку.

## Глава семнадцатая

Всю ночь, не отдыхая, шли то по самому морскому берегу, сырыми песками, и ноги лизала белая ажурная пена морского прибоя, то, вспомнив о своих печатающихся на песке следах, испуганно уходили вглубь, в покрытые лесом или кустарником овраги, и шли едва намеченными тропинками, иногда их совсем теряли и карабкались по серым горным породам, покрытым лишайниками, падали, поднимались и боялись отстать друг от друга. Не говорили между собой, поглощенные одной мыслью: убежать как можно дальше от смерти, которая, казалось, бежит по следам... И этот страх смерти побеждал изнеможение.

– Не надо садиться: если сядем, мы не в силах будем подняться...

Ночь прикрывала беглецов, а шум моря, казалось, хотел заглушить топот ног, когда они попадали на каменистую почву. Петр шел впереди, Лада между спутниками. Никакого угрызения совести у Петра и Бориса не было; напротив, было тайное злорадное торжество: ведь убитые хотели сами убить их, и вот им смерть по заслугам. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Петра беспокоила только одна мысль: лучше если бы покончить с глупой бабой, а отца увести с собой. Баба поможет врагам узнать их, а отцу может достаться. Борис испытывал даже некоторую гордость: это он спас Петра и с



ним всех, и Ладу, и самого себя. Одна Лада была угнетена и чувствовала безотчетную тяжесть на душе и совести. Это замедляло ее шаги. Борис сердился и говорил:

– Что ты, точно воз везешь? Иди быстрее!

– Надоело...

– Что?

– Бегать... Хочется лечь тут, на камнях, и не вставать больше...

– Отдохнешь в лодке...

– Боюсь я этого моря... Беспокойное оно, все ворчит, несетя, скачет...

Перед рассветом набрали на становище рыбаков. Две лодки были втянуты далеко на берег, и в них спали рыбаки, прикрывшись парусом. Третья лодка болталась на якоре, танцуя на волнах.

Настал решительный момент. Жизнь всех троих зависела от одной минуты. Петр с Борисом несколько минут тихо сговаривались. Лада отошла к берегу и не оборачивалась. Она понимала, что минута наступает страшная, боялась оглядываться. Лучше ничего не видеть, пусть как будет, так и будет. Оглядевшись по сторонам, Борис и Петр стали одновременно, но с разных сторон, быстро приближаться к лодке, в которой спали рыбаки. Обменявшись жестами, они выхватили револьверы и стали расталкивать спящих. Только двое было взрослых; остальные совсем мальчишки. Рыбаки сперва не поняли и озлились, но, увидев револьверы, стихли. Что та-

кое? Почему? Куда ехать? Зачем?

– Не разговаривать! Живо! Весла! Парус!..

Повскакали наконец и мальчишки. Они спросонья ничего не понимали и механически исполняли приказание. Стянули лодку к воде, стали бросать весла, свернули на мачту и принесли парус.

– Поезжайте!.. – хмуро сказал старший рыбак, избегая смотреть на «разбойников».

– Провизия есть?

– Нет. С вечера уехали в Анапу за провизией и не вернулись. Видите, нас только двое.

– Не разговаривать! Несите воду, хлеб, что там есть еще...

– Картошка вареная есть, – испуганно подсказал старшему рыбаку один из мальчишек.

– И картошку! Живо!.. И троих в лодку. Марш!

Старший рыбак стал посылать подростков, но те не двигались.

– Сами садитесь! Одного парня...

Рыбаки стали, было шептаться между собой, но Петр пихнул их ручкой револьвера.

– Живо! А то, вот... Не разговаривать!

Двое взрослых забрали одежду, брезент и в угрюмом молчании двинулись к берегу. Никуда не убежишь! Сами позаботились о погрузке провизии.

– Куда же, товарищи, поедем теперь?

– Садись! После узнаешь.

– Лада! В лодку!

Все остальное шло быстро и в полном молчании.

Попрыгали в лодку; мальчишки оттолкнули, шагая прямо в воду; рыбаки сели к веслам, перекрестились, стали вскидывать весла, злобно опираясь ногами в переднюю лавку. Берег стал уходить, лодка – колыхаться на боковой волне. Лада сидела на полу, на груди брезента: она боялась смотреть на скользящую зеленоватую волну, лижущую борта лодки. Петр стоял на корме и орлом озира́л берег. Что-то увидел там, на уползавших берегах, и строго скомандовал: – Парус!

Старший рыбак начал было противоречить, стращать разными мудреными названиями ветров, но Петр крикнул: «Не разговаривать! Парус!», – и рыбаки, оставив весла, начали развертывать и поднимать парус.

– Давай мне конец! Борис! Смотри за ними в оба. Разбух, изогнулся парус, рвануло и накренило лодку. Маленько бортом воды зачерпнула, но быстро выправи́лась и, плавно вздымаясь, понеслась вперед. К берегу подъехали всадники, смешались с мальчишками, потом оттуда стали доноситься слабые хлопки, и белые дымки стали прыгать и таять в воздухе. – Ложись! – скомандовал Петр и погрозил своим рыбакам револьвером. Стоял один и хищно посматривал то на берег, то на своих гребцов. Свистнула над лодкой пуля, другая. Петр погрозил на берег кулаком и спокойно уселся и стал править парусом. Он не привык «кланяться» пулям, шутил и смеялся; рыбаки сидели, словно приговоренные к

смерти. Борис держал их под угрозой револьвера.

– Ну-ка, молодцы, на весла! Правый борт!

Все дальше уплывал берег. Пропали фигуры людей. Остались только движущиеся точки. Теперь можно сказать – спасены! У всех отлегло от сердца, повеселели и стали оживленно разговаривать. После избегнутой опасности люди всегда делаются странно возбужденными и веселыми. Только рыбаки угрюмо работали правыми веслами и смотрели с беспокойством на покинутый берег. Ветерок стал усиливаться, волна расти. Брызги неслись с носу лодки и изредка обдавали Ладу мелкой соленой пылью. Лада боялась моря. Когда она скидывала взор на безграничную шевелящуюся морскую пустыню, по которой катились грядями волны, пропадающая в зеленовато-желтой мгле, ей делалось жутко, сердце сжималось, и начинало казаться, что уже никогда нога не ступит на землю. Безграничность этой пустыни внушала молчаливый трепет и поклонение. Делалось страшно смотреть, и она потупляла взор себе под ноги. Однако вместе с трепетом богопочитания и стихии в ее душе все время звучала, как идиллическая пастушеская свирель, мысль о том, что там, в зелено-синей мгле, прячется дорогой ей белый домик с колоннами, а в домике том живут ее девочка и папа с мамой. Все, что осталось!.. И от этой мысли хотелось смеяться, неудержимо смеяться... Улегшись на брезенте и прикрыв лицо руками, Лада, истомленная в страшную ночь, быстро укачалась на волне и заснула крепким и сладким сном. По-

шли только на парусе. Один рыбак остался под надзором Бориса, другого Петр посадил рядом с собой для советов. Теперь можно и сказать, куда они едут. Рыбак уже примирился с «захватом», и собственные интересы побуждали его теперь говорить правду и выбрать самый удобный путь. Озлобление с обеих сторон угасло. Понятно: никому неохота умирать, а теперь связаны. Попадешься красным, всем будет одна участь. Когда Борис намекнул Петру, что не мешало бы все-таки обыскать этих «товарищей», они это сразу поняли и даже обиделись. Выворотили свои карманы, побожились и оба сказали, что они никогда «красными» и не были и что им все одно.

– Мы вам хорошо заплатим и отпустим.

– Благодарим!.. Все понимаем... Надо, Ваше благородие, сперва вдоль берега, а как коса покажется, переваливать.

– А с берега-то картечью?

– Далеко поедет. Не возьмет. А у них сейчас и догнать не на чем.

Так они сделались друзьями. Друзьями поневоле. И все-таки беглецы никогда не бросали охраны: если один спал, другой бодрствовал. Погода и ветер благоприятствовали. Небеса были чисты, и белые облачка-барашки предвещали благополучие.

К вечеру исчезла синяя полоса покинутого берега, и лодка очутилась в безбрежности. Солнце упало в море, и бездны засверкали страшными огнями. Точно все море загорелось,

а далекие волны стали походить на пламенные языки. Потом все сразу потухло, и море сделалось черно-синим, бархатным, с серебристыми узорами покровом, на котором перебежали блуждающими синими огоньками звездные отражения. Было страшно и невыразимо красиво. Лада проснулась и с изумлением осмотрелась... Точно и вверху и внизу небеса. Замирает душа от страха и красоты. Лодка возносится и падает, и кажется, что они летят на огромной сказочной птице... Летят в неведомое царство-государство, где живут только добрые и счастливые люди, где можно отдохнуть. Наконец можно отдохнуть! И все это, как сон... Все как сон!

## Глава восемнадцатая

Это было так удивительно. Точно из ада перелетели в рай. Все осталось позади. Казалось, что удалось-таки убежать от «Зверя из бездны». Здесь, в глухом уголке Крыма, где по скалистым, поросшим природным лесом из столетних можжевельников, дубов и терпентиновых деревьев, прилепились несколько домиков, словно случайно упавших из плывшего на облаках города, было так удивительно спокойно, что все лично пережитое и все, что творилось во всей стране, представлялось теперь страшным сном. Казалось, что, как и в далекие старые годы, здесь все еще течет мирное, беспечно ленивое время, что не было никакой всемирной войны, не было страшной гражданской бойни с ее ужасами и кошмарами. Не стреляли, не кричали, не плакали, не расстреливали. Совсем не было видно людей. А Лада стала бояться больше всего людей, и от людей она устала. Боже, как она устала от людей, от их злобы, глупости, ненависти, жестокости и несправедливости! Какое это счастье жить в уединенном белом домике с колоннами и видеть, слышать и говорить только с близкими людьми!.. И никого не бояться! Да, здесь можно еще было не бояться. «Бати-Лиман» – так называлось это дикое местечко – точно спрятался от революции. В Крыму уже были однажды «красные» и в течение трех месяцев пировали свою победу кровавыми тризнами в Ялте и Сева-

стополе.

«Красный синодик» Крыма за эти три месяца, несомненно, войдет в историю революции одной из страшных страниц по жестокости и тупой мстительности людей, очутившихся во власти «Зверя из бездны».

Он успел пройти окровавленными следами по всем центрам крымской культуры, по всем главным путям и дорогам, ведущим к дворцам и гнездам так называемого «старого мира», но сюда не заглянул. Может быть, не знал, что в этом уголке спасается «секта интеллигентных бегунов», а, может быть, просто потому, что здесь не было никаких «дворцов» и «жемчужин» и не стоило «грабить награбленное»: времени было немного, и нельзя было тратить его по пустякам. Так или иначе, но за время первого трехмесячного владычества большевиков в Крыму, в Бати-лимане их не видели. И ни одной капли крови не пролилось еще в этом позабытом временем уголке.

«Зверь» свершил свое кровавое дело и уполз на север, оставив живым ужас, проклятие, слезы, бескrestные могилы и воспоминания. Но нет радости на свете вечной и нет печали бесконечной. А здесь слишком яркое солнце, так лазоревы небеса и море, так много радости и красоты в природе. Затихла боль душевных ран, и снова вздохнули люди и стали улыбаться радостям бытия. Где-то там, очень далеко, люди продолжали убивать и мучить друг друга, но в Крыму было счастливое междуцарствие и не было ни красных, ни белых



мстителей. Жители отдыхали от междоусобной брани...

В этот момент отдыха и попали Борис с Ладой в глухой счастливый уголок южного берега, напоминавший теперь рай до грехопадения... Вернулись в «потерянный рай».

Не так давно сюда и попасть было трудно: сплошной лес, густо поросший по горным, спускающимся к морю террасам и оврагам. Только пастухи да жители ближних татарских деревушек умели пробираться к берегу узкими едва намеченными тропинками, с трудно преодолимыми препятствиями из каменных екал и крутых откосов с цепкими и колючими растениями. Теперь была просека и вчерне сделанная дорога, завалившаяся, непроезжая, загроможденная свалившимися во время весенних ливней камнями, иногда величиной в целый татарский домик.

Когда-то кружок писателей, художников, артистов и людей свободных профессий купил этот дикий уголок, чтобы устроить здесь «Скит творчества». Но война помешала. Успели построить лишь несколько домиков, развести несколько садиков и виноградников и забросили. Война оборвала всякое строительство. По красоте своей это местечко единственное на всем южном берегу. Красота дикой первобытности. На верхних террасах многовековой можжевельный лес. Там, под стенами отвесных, высоко к небесам взметнувшихся скал, над вершинами которых всегда плавали орлы, в этих можжевельных рощах, – такая тишина, словно все околдовано и заснуло сказочным сном.

Не слышать даже морского шума. Точно в огромной монастырской роще. Мерещится черная фигура монаха, отрешение от всякой мирской суеты и абсолютный покой души. Momentами даже делается страшно: точно все люди на свете умерли, и остался только ты один. К мысу Айа, упавшему в море неприступными, похожими на стены сказочного замка великана, скалами, эти монастырские рощи переходят в хаос обвалившихся сверху скал и камней. Начинаясь наверху узкой грядой, этот хаос, по мере приближения к морю, расползается вширь и образует огромный непроходимый парк из могучих сосен. Когда смотришь снизу, то чудится, будто некогда стоявший на вершинах город великанов сполз и посыпался к морю: камни, как дома, поверженные при падении в самых разнообразных положениях. И весь этот поверженный и разрушенный град великанов зарос вековыми соснами, как крылья распростершими над вечным покоем свои темнозеленые лапы.

Позади и с боков – гордо вздымающиеся вершины гор, а впереди – безбрежная лазурь и синь сливающегося с небесами моря. Безбрежность и широта моря, вечное его движение, эта великая и необъятная красота и вечность уносят душу человеческую из всех тревог мирской суеты. И все пережитое, и все, что осталось позади, все теперь казалось «суетой сует», и злая кровавая борьба, которая шла и продолжается где-то, начинает казаться перед лицом чистой правдивой природы растревоженным муравейником, когда кро-

шечные, похожие на черные точки живые существа, не понимая причины несчастья, мечутся в безумии, ужасе, злобе и начинают кусать друг друга и всякую случайно подвернувшуюся щепочку. Брось им в этот момент ни в чем неповинную бабочку или лягушку, и, уверовав, что именно они виновники несчастья с муравейником, толпа муравьев моментально облепит жертву и замучает до смерти. «Я такая бабочка, только я успела улететь!» – думала Лада.

И в самом деле, в своей тонкой греческой рубашке белоснежного цвета, широкой, треплющейся и сверкавшей в зелени, Лада была похожа на бабочку. Первая встреча с отцом, матерью и ребенком, захватившая ее душу целиком, прошла в трепете и в слезах: в слезах от радости и от печали. Ведь Володечка пропал, его загрызли муравьи! Но что же делать? Осталась девочка, похожая на рафаэлевского херувима, и всю любовь к Володечке она отдает ей. Смешная и трогательная девочка: дедушка и бабушка постоянно ей говорили про папу и маму, она так ждала их, все смотрела с балкона на море и, когда появлялась лодка с парусом или пароход, кричала:

– Он-папа! Он-мама!

И показывала пальчиком.

И теперь, когда они приехали, девочка стала называть Бориса – папой.

Все равно, пусть зовет его папой. Пусть эта чистая, невинная душа лучше не будет пока знать, что нет у нее больше

папы, которого убили люди, как собаку. Зачем ей это знать? Борис не без удовольствия принимал это фальшивое звание. Он был нежен с ребенком. Может быть, святая душа, которую он любил теперь носить на руках и целовать в розовые щечки и синие глазки, была для него, обогрванного человеческой кровью и потонувшего в зверствах, тем Богом, который все простит и все очистит через любовь и привязанность? Дедушка с бабушкой потихоньку поплакивали, глядя на Бориса с ребенком: вспоминали Володю и трогались нежностью Бориса к ребенку погибшего брата. Да, пусть Борис заменит ребенку отца! И все начали называть Бориса папой. Трогало стариков и отношение Бориса к несчастной Ладде. Борис так нежен и так внимателен к ней. Редко теперь встретишь такую сентиментальность. «Тайна» раскрылась не сразу. Кругом был такой простор для сокрытия. Уходили гулять, поднимались в тихие трущобы «монастырских рощ», и разве только птицы да насекомые могли бы, если умели, рассказать людям эту тайну. Как первые люди в раю, с той разницей, что и после грехопадения они остались в раю.

Начавшись гипнозом больного воображения, родившим жажду воспоминаний о ласках мужа, связь Бориса с Ладдой перешла в настоящую любовь. Так казалось теперь обоим. Окружающая красота украсила эту любовь. Половое «зверство» стихло, отлетело от Бориса и сменилось ровным счастливым обладанием, обвеянным вернувшимся сном из невозвратности. Ведь Борис всегда любил Ладду!.. А с Ладдой свер-

шилось нечто трудно объяснимое: ей стало казаться, что Бориса она любит еще сильнее, чем любила Владимира. Так бурно воспринятая ею не так давно потеря мужа казалась теперь такой далекой, точно это было много лет тому назад. Ни тоски, ни скорби не рождалось, лишь по временам в душе появлялась тихая грусть воспоминаний, быстро рассеивающаяся от соприкосновения с радостями настоящей минуты. Борис властно вошел в ее душу, и в нем растворилась любовь к Володечке. Так бывает с детьми: сломается любимая игрушка, ребенок в отчаянии, плачет, терзается страданиями, и со стороны кажется, что для него нет и не может быть утешения; но вот кто-то сунул ему в руки другую игрушку, которая показалась ему более интересной, и он уже смеется и счастлив, обломки старой игрушки не рожают уже в нем никаких мук. Владимир где-то в тумане прошлого, а Борис... В нем и Владимир, и еще нечто, крепко захватившее душу женщины: он – ее спаситель, он – ее живой герой, с ним переплелось столько острых моментов жизни, столько лишений, ужасов и неожиданных счастливых случайностей, с ним вместе столько раз стояли на краю гибели и убегали от смерти. Теперь Борис кажется ей во всех отношениях больше «Володечки», а мысль о том, что и Бориса она может потерять так же, как потеряла Володечку, рождает в Ладе удвоенную силу любви, нежности и привязанности... О, теперь-то она уже никому не отдаст своей любви и своего счастья!

Если с Борисом что-нибудь случится, она не переживет...

Пусть убивают вместе всех: и Бориса, и ее, и ребенка! Но разве это может случиться? Никогда. Они убегут на край света, но не отдадутся в руки смерти... Впрочем, не стоит об этом думать: все говорят, что Крым неприступен, и они сюда не придут. Иногда, уходя с Борисом в хаос, где только птицы и насекомые могли сделаться свидетелями их тайной любви, счастливая Лада пугалась неожиданно приходящей ей в голову мысли: «А вдруг они придут?» Они живут в такой глуши, что совершенно не знают, что творится на белом свете: все новости приходят сюда через татар с опозданием на две, на три недели. Разве не может случиться, что они не успеют убежать? Что будет тогда?.. Лада спрашивала об этом Бориса. Тот улыбался и фантазировал:

– Тебя не тронут, а я буду жить в хаосе. Здесь сам черт не найдет. Ты будешь приносить в условленное место пищу и воду, иногда ночевать у меня в гостях. Можно целый год скрываться, и никто даже и подозревать не будет...

Они блуждали по природному парку в хаосе и намечали места, где можно устроиться. Тут действительно сам черт не мог бы отыскать спрятавшегося человека. Каменные глыбы разнообразных и причудливых форм, обвитые густо ползущим плющом, напоминавшим ковры и ткани, были повалены или поставлены друг на друга в таких изумительных комбинациях, что порой чудилась здесь рука невидимого строителя, распорядившегося размещением, подбором и укладкой скал и огромных каменных глыб. Гроты, узенькие пе-

реулочки, арки, мосты, наблюдательные вышки, крепостные стены. И все это прикрыто вековыми соснами, повито плющами, украшено странными деревьями, «арбутусами», стволы которых так напоминают человеческое тело, и можжевельниками, рождающими призраки разных чудовищ замысловатыми корнями и сухими лапами: то каких-то допотопных птиц, то спрутов, то карликов. Мхи, ползучие растения, густая трава или глубокий мягкий ковер из пихты, огромные сосны, дикий виноград. Местами точно зимние сады, дворики с потайными ходами. Здесь даже бывавшему часто человеку легко заблудиться и потерять выход. Когда бродишь тут коридорами и переулочками – видно одно небо. Человек здесь, как букашка.

– Вот здесь, Лада! Готовый дом со всеми удобствами.

Они останавливались и подробно осматривали грот и дворик. Дворик порос травой, через щель голубеет море. Из грота ход на другой двор, а оттуда опять переход, и можно забраться по случайной лестнице из камней на высочайшую скалу, откуда видна крыша их домика... И так красиво, словно кто-то приготовил все к их осмотру. Абсолютная тишина, только чуть-чуть дышит море. Прохладно. Все завешано плющами. Приступ веселой радости охватывал Ладу и с ним новый приступ любовного порыва...

Иногда брали девочку и уходили лежать на море. Опять выбирали грот в камнях и, освободив тело от всех одежд, полдня не возвращались домой, то купаясь, то лежа на песке,

то играя камешками. Было в этом что-то от первобытного действительно райского бытия, когда человек переставал отличать свое «я» от окружающей природы. Тихо поплескивает волна, облизывая ноги прохладной влагой, палит солнышко спину, шуршит, точно шепчется, галька, тянутся над водой белые чайки. Ленивая истома ползает в теле. Море убаюкивает и ласкает, как мать в далеком полузабытом детстве. Хорошо! Ничего не надо. Точно поймали наконец за хвост призрак неуловимого счастья... Касаясь друг друга обнаженными телами, слушают плески прибоя, шум камешков, веселый детский голосок, без умолку разговаривающий около них то с камешком, то с морем, то с раковинкой, – все тут, около, все счастье собрано в кучку, и никто не украдет. Можно лениво дремать, ощущая друг друга и душой, и телом...

Изусталые души, казалось, жаждали забыть все прошлое, не могли больше бояться, ненавидеть, знать об ужасах жизни, творить эти ужасы и бегать от них и от смерти. Не могли больше! И самое дорогое теперь на свете было – любить, дремать под ласками природы, пить тишину, созерцание и правду самой природы, без ее «царя», человека, возмечтавшего сделаться Богом и превратившегося в Дьявола...

Сколько радостей давали горы, скалы, море и небо! И днем, и ночью... И свежее утро с пропитанным соленой душистой влагой воздухом, и раскаленный полдень с неумолчным стрекотанием цикад, и вечер с закатами сказочных чудес на горах, на небесах и на морской пустыне, и ночь с фос-



форическими и звездными сияниями, со вздохами ветерка и с тяжелым дыханием моря. И полное жемчужное затишье, когда вдоль берегов по гладкой поверхности спокойного моря точно разбросаны тонкие радужные ткани, и когда даль морская становится похожей на расплавленный свинец, а далекий парус – на крыло огромной белой птицы, и буря с ее грохотом прибоя, вздымавшего к небесам целые смерчи водяных столбов, вспененных поверху водяным дымом брызг, с мрачными тучами, чередой проползавшими над вершинами гор и повисавшими там облаками, с свистом ветра в деревьях, с раскатистым грохотанием громового эхо в скалах, с стучавшим в железную крышу ливнем и гнущимися кипарисами... Во всем захватывающая красота, трепет и радость бытия! И все рождает новую жажду жить и любить. Любить в предрассветном дуновении ветров, в зное полдня, в зеленых тенях вечерних сумерек и в черной бездне безлунных ночей с огромными вспыхивающими звездами. А в бурю? О, тогда и в человеке рождается буря сладкой страсти. Душа человека как зеркало мироздания и его красоты... Было это зеркало загрязнено, запылено, а теперь точно кто-то вымыл его начисто, оттер чистым полотенцем, и в его чудесном стекле снова ярко и отчетливо стали рождаться былые образы человека, сотворенного по подобию Божьему... Когда всплывали непрошенные воспоминания, окровавленные и политые человеческими слезами, рождался испуг и отвращение, и гражданская война начинала казаться бессмыслен-

ной и кощунственной бойней. И самым страшным было сознание, что и сам ты в крови и что где-то за горами все еще льются кровь и слезы. Заснула злоба, пропала ненависть, желание отомстить. Было одно только желание – кричать: «Довольно крови! Остановитесь! Захлебнетесь все в крови и слезах». Такое желание рождалось у обоих: у Лады и Бориса. Оба боялись теперь возобновления притихшего вокруг братоубийства и одинаково боялись и красных, и белых мстителей и фанатиков. С того часа, когда Лада узнала от Соломейки, что Володечку расстреляли не красные, а свои, белые, она словно прозрела и стала видеть то, что от нее закрывала злоба и мстительность.

Странное слепое чудовище – эта гражданская бойня! Похожа на ползущий через все препятствия танк, какой она видела под Ростовом, танк, управляемый сумасшедшим человеком и давящий на своем пути всех, и правых, и виноватых, и даже детей. И в душе зародилось одинаковое отрицание и красных, и белых, стала бояться и тех, и других...

И душа Лады, успокоившаяся, прояснившаяся, отразившая в своем зеркале и небеса, и Бога, сразу потеряла равновесие, когда однажды вечером к ним в залив прилетел и опустился гидроплан из Севастополя с двумя людьми в военной форме. «Что-то случилось!.. Что-то снова начинается»... Лада убежала в горы и спряталась. Долго не возвращалась в белый домик. С гор она видела покачивающийся на воде гидроплан, похожий на огромного белого лебедя, и

ждала, когда этот страшный лебедь улетит. Ждала час, полтора. Дождалась: военный человек подъехал с рыбаком на лодочке к лебедю и сел на него. Зашумела, загудела птица, побежала все быстрее по воде, взметнулась, поднялась и понеслась, взвиваясь все выше и наполняя тревожным, таким знакомым Ладе гулом, весь воздух, море, горы и самое душу. Когда страшная птица скрылась за горами и вся природа, взволнованная ею, снова пришла в блаженное прозрачное спокойствие, Лада вернулась и узнала: прилетал Соломейко и его механик. Привез новости: борьба будет продолжаться, организуется снова белая армия, Крым укрепляется, и уже объявлена мобилизация...

Лада слушала молча эти новости и вдруг вскочила и закричала:

– Будьте все вы прокляты!

Схватила на руки ребенка и быстро ушла из белого домика. Уже горела розовыми и фиолетовыми тенями вершина Святого Ильи, потемнело синее море, загорелась вечерняя звезда, а Лады не было. Родные встревожились. Борис пошел на поиски. Только ночью привел Ладу с спящим на руках ребенком. Сама несла и не захотела отдать даже Борису, который, рассказывая ей принесенные Соломейкой новости, пошутил угрозой пойти на фронт...

Целую ночь сидела на скале-вышке, как белое мраморное изваяние, и спрашивала сверкающее звездными отражениями море:

– Когда же конец? Когда конец?..

## Глава девятнадцатая

Красные построили свою силу на ненависти и мести. Белые начали строить на любви к человеку и родине, но пламя ненависти и мести перекинулось от красных к белым, заглушило идею любви, и «Зверь из бездны» объял своим смрадом всю землю русскую. «Сатана тот правил бал». Он уже не давал людям возможности рассуждать. В этой кровавой пляске надо было без усталости плясать, ибо отдых грозил смертью. Кто не хотел плясать, того гнали плетьюми, пулеметами, расстрелами...

Люди стали прятаться в лесах и горах. Убегали от красных, убегали от белых. Стали называть себя «зелеными». Такие во множестве появились на Кубани, на Кавказе, в Крыму. Здесь они появились с первым же приходом большевиков. Теперь, когда пришли белые и их вожди объявили принудительную мобилизацию, количество их возросло и с каждым днем увеличивалось. Не верили больше ни тем, ни другим, не хотели умирать сами и не хотели убивать других. Вначале это были просто отшельники, спасавшиеся в горах и лесах от «Зверя из бездны», пред которыми, наконец, открылось его истинное лицо. В простоте своей люди думали, что стоит только отойти от зла, и тем уже сотворишь благо для себя и других. Но «Зверь» был величайшим из когда-либо живших на земле деспотов. Обе головы его, и красная,

и белая, считали таких уклоняющихся от зла своими врагами, называли то дезертирами, то разбойниками, жалили их с двух сторон. Спасаться приходилось уже не просто отшельничеством, а вооруженным отшельничеством; не желая проливать крови, приходилось это делать, спасая свою жизнь и свое право не убивать. Облавы на «зеленых» заставляли их жить шайками, спланиваться в организованную самозащиту. Суровые наказания за помощь «зеленым» даже пищей со стороны жителей влекли за собой необходимость добывать себе питание с оружием в руках... Так мирно настроенных людей, не желавших проливать человеческой крови, «Зверь» превращал в озлобленных разбойников... Если человек соглашался называться или «красным», или «белым», то имел перед собой одного врага, а если он не хотел проливать ни красной, ни белой крови, то должен был превратиться в общего врага и, защищаясь, проливать ту и другую. Так всякая «человечность», всякое моральное побуждение уйти от зла и сотворить благо приводило к еще более широкому злу. Идею «зеленого» отшельничества опоганили прилипавшие к нему, как и к каждому из революционных движений, всякие темные элементы, действительные разбойники, бездельники, вскормленные многолетним военно-бродячим образом жизни с его грабежами и легкой поживой... Скоро и «зеленые» превратились для населения в новую, третью тяготу жизни, мешавшую не только трудиться, но даже спокойно спать. Стали бояться ходить и ездить по дорогам в горах

и по шоссе: нападали, грабили, раздевали, при сопротивлении убивали. Татары сбивались в длинные обозы, чтобы проехать в город и из города. Не спасали автомобили, стрелой мчавшиеся по шоссе на дорогах, – их обстреливали. Боялись гонять на пастбища гурты овец и барашков: появлялись вооруженные люди, и среди белого дня, на глазах у пастухов, взваливали барашков на плечи и уносили, грозя револьверами. Боялись доносить – мстили. Захватывали неосторожных женщин, уводили в горы себе в жены, насиловали девушек. Страх пополз по всему Крыму... Кто называл разбойников и насильников красными, кто – белыми, кто – зелеными. Начались ночные набеги на уединенные хутора: назывались белыми и искали красных, назывались красными и искали белых, и всегда грабили, обвиняя в сокрытии и помощи «врагам народа»...

Но вот междуцарствие кончилось. Как бабочки на огонь, в Крым слетались остатки разбитых и деморализованных частей белой армии. Севастополь превратился в центр новой «белой организации». Беспорядочные толпы военных стали превращаться в стройные ряды, начались смотры, заиграли военные оркестры, по дорогам стали мчаться военные автомобили, потянулись к северу поезда с пушками, войсками, снарядами. Город превратился в одну сплошную казарму. Полетели в разные стороны белые лебеди, наполняя воздух металлическим зловещим гудением. Над домами взвились флаги с красными крестами. По улицам, угрюмо смотря

в землю, отбивая шаг по пыльным мостовым, маршрутировали с мешками за спиной мобилизованные, большей частью совсем еще мальчишки. По панелям за ними бежали матери и на ходу отирали слезы. В порту выгружались новые эшелоны, развевались иностранные флаги. На заводах и днем и ночью начали выделять снаряды для человеческого истребления. «Товарищи» только накидывали заработную плату и работали на белых, как некогда работали на красных. Они тоже не знали теперь, добро или зло они своим трудом поддерживают... Негостеприимно приняли первый приход красных, теперь молчаливо подчинились белым. Для них оба прихода приносили одно и то же: диктатуру одинакового озлобления. Как тогда, так и теперь их подозревали в сочувствии врагам и круто расправлялись, если они проявляли желание заявить себя «гражданами», а не просто жителями и «едоками». Для обеих диктатур не могло быть граждан, а были только смиренные или строптивые... Как тогда, так и теперь господствующая партия прежде всего заявила себя мстительностью, кто помогал или сочувствовал врагам. Узнавали это «по слухам» и доносам. Круто расправлялись, не уступая друг другу в бессмысленной жестокости и несправедливости. И снова – кровь, слезы, проклятие и мстительное пожелание возвращения большевиков... Начинало многим казаться, что лучше – красные, чем белые, как раньше казалось, что лучше белые. Взвешивали оба «зла», каждый – на своих весах личных впечатлений и случайностей. Дезертирство в горы к «зе-



ленным» с каждым днем возрастало. Возрастали и случаи нападений, грабежей и убийств на дорогах и по хуторам. Чтобы обезопасить тыл, начали устраивать облавы на зеленых. Начались маленькие схватки и сражения с потерями, пленными и с расправой. Мстили не только родственникам, но целым деревням, откуда родом оказывался захваченный или убитый «зеленый». И снова белые хулиганы начали действовать под зелеными, зеленые – под белых. Все перепуталось, и население встало перед сплошным произволом и насилием. Прятали все, что можно было прятать, так же как при красных. Исчез хлеб, опустели базары и лавки, цены бешено поднялись, началось полуголодное существование, стояние в длинных хвостах и всеобщий ропот и недовольство. За дерзкое слово, неосторожно сказанное на улице, на базаре, в лавке, арестовывали и обвиняли в государственном преступлении, иногда присуждали к высылке за линию фронта и по дороге расправлялись домашним судом. Каждый считал себя судьей, имеющим право казнить и миловать. Писали и говорили одно, часто очень хорошее и справедливое, а делали по-другому и как раз так, чтобы их словам, обещаниям и законам никто не верил...

Неспокойно стало по всему Крыму...

Только в раю Лады и Бориса продолжалась еще прежняя идиллия. Ничего не случилось. Тишина, мир и благоволение. Залетали от редких захожих разные слухи, иногда страшные, угрожающие, иногда невероятно радостные, но этим слухам

давно здесь уже перестали верить. Было так очевидно, что все это либо злостная выдумка, либо оптимистическое настроение и воображение. Всякие слухи, точно дым, таяли пред лицом красоты, величия и простора, постоянно напоминавших о суете сует... Но вот и сюда залетело беспокойство: стали появляться воры, то с гор, то в лодке с моря, и разворовывать брошенные хозяевами пустующие домики. Обдерут рамы и двери, заберут посуду, что-нибудь из мебели, выломают плиту. Воры хозяйственные. Порубят лес на дрова, выкопают фруктовые деревья из сада. Кто-то однажды видел в лесу под берегом костер и около него двух неизвестных. Стали побаиваться гулять в уединении, вдали от обитаемых домиков. Собрались на совещание и решили нести ночную охрану. Было всего шестеро мужчин, одна винтовка и два револьвера.

Дежурство по двое мужчин и обход жилых домиков два раза в ночь: в двенадцать и на рассвете. С вечера до двенадцати ночи – условный знак тревоги с крыльца или балкона, порученный женщинам: набат в таз или ведро. Общая опасность нарушила прежнюю уединенность и заставила искать общества друг друга. Сошлись с рыбаками, расположившимися табором на пляже. Они обещали помощь в случае нападения.

Днем никто ничего не боялся, бродили по берегу, купались, навещали друг друга и делились новостями, заносимыми рыбаками из Балаклавы. Но как только опускалась ночь,

все шорохи становились подозрительными, фигуры людей – опасными, далекий свист заставлял вздрагивать и настораживаться. Лада выходила на балкон с тазом, вперялась в темноту очами, вонзала в тишину уши, думала о том, что непременно надо завести собаку. Не боялся только один Борис. И от того, что он не боялся, Ладе казалось, что если Борис тут, рядом, то ничего случиться не может. И все женщины смотрели на Бориса с изумленным почтением: вот мужчина, который ничего не боится! Все остальные – трусы. Когда Борис шел обходом, все женщины слали спокойно. Но Борис, томимый жаждой военных новостей, скучавший от мира и тишины в этом, как он говорил «безвоздушном пространстве», начал пешком путешествовать в Севастополь и обратно. Мятежная душа его, в течение нескольких лет вкушавшая сильные и острые впечатления, тянулась к «бурям». Если плохо действующая рука, как поломанное крыло птицы, мешала ему полететь снова навстречу опасностям, то великое наслаждение давало самое общение с бывшими боевыми товарищами, самая атмосфера боевой обстановки.

Тянуло в город, где двигались в походном порядке колонны, обозы, слышалась учебная стрельба, военные марши. Нацеплял своего «Георгия» и «Терновый венец» Ледяного похода и, невзирая на протесты Лады, уходил на денек в Севастополь. Тогда для Лады наступала двойная мука: домик казался беззащитным, и нападал страх, а кроме того, терзала боязнь за жизнь Бориса. Не любила Лада этих опасных

путешествий еще и потому, что Борис возвращался из них совсем другим человеком: возбужденным, рассеянным, воинственным и... мало внимательным к ней и к ее девочке. Точно разлюбил. Ходит гордой походкой, словно на смотре ротный командир, покрикивает, словно командует, с языка срываются особенные военные выражения, грубые и подчас не совсем приличные. Массирует себе руку, делает гимнастику и стреляет в цель из винтовки. Нарисовал фигуру в человеческий рост, поставил к скалам и стреляет. Девочка спросила про эту фигуру:

– Папа? Это дядя?

– Да, да. Дядя Троцкий.

Изрешетил дядю Троцкого пулями и потирает руки. Да, глаз еще достаточно верен, а левая рука... можно обойтись с одной правой! Лада чувствует его мысли, его вспыхнувшую новым огнем жажду кровавого отмщения и ненависть, в которых начинает потухать огонь любви, и это приводит ее в отчаяние:

– Ты, кажется, опять начал верить в победу?

– Да, верю!..

Ухмыльнулся, поет: «Это будет последний решительный бой», – и поясняет:

– Мы отмстим. О, как мы отмстим этой подлой сволочи!

Будет и на нашей стороне праздник.

– Ты все еще не упился кровью и слезами?

– Бабы разговорчики. От Москвы до Петрограда на теле-

графных столбах будут висеть предатели...

Только злоба и ненависть. Только жажда кровавого отмщения. Потонула в них вся идея борьбы. Забыта. Кровавая бойня сделалась профессией, отравила своим ядом души человеческие. И таких множество. Скучают в мирной обстановке безмятежного существования. Лада смотрит на Бориса странными глазами: точно другой человек!

– Ты что на меня так смотришь?..

– Страшный ты... И все вы страшные: и красные, и белые... Я не люблю ни тех, ни других...

– А я горжусь тем, что я белый, – вызывающе заявляет Борис.

– Убийство – все равно убийство... Твоего брата расстреляли твои, белые.

– Ошибки везде случаются.

– Да, хороши ошибки!.. Я думаю, Борис, что вся эта ваша бойня есть ошибка, страшная, непоправимая... Будьте прокляты, кто толкнул народ в эту кровавую яму.

– Пожалуйста, без истерик. Это – буржуазные предрассудки. Не действуют теперь эти фокусы...

– Какой ты грубый!.. Нет, я ошиблась: ты не похож на своего брата... Душа того была мягче и нежнее...

– Значит, и тут ошибка... Поправимая, впрочем: я могу уйти на фронт в пулеметчики и освободить тебя от своей грубости...

Вот тут и раскрылась, наконец, тайна Лады и Бориса перед

стариками: сцена кончилась бурно, с рыданиями, проклятиями и раскаянием со стороны Лады, призывами к покойному Володечке, – и старики поняли, что Борис заменил Ладе убитого мужа. Лада впала в истерическое состояние и говорила назвавшей Бориса «папочкой» девочке:

– Нет, нет!.. Не зови этого человека папой! Он тебе не отец. У тебя папу убили... убили белые... вот такие, как он, этот грубый и жестокий человек...

Драма в белом домике с колоннами. Лада спряталась и заперлась с девочкой в своей комнате, откуда несется вопль матери и плач ребенка. Старики объясняются с Борисом. Борис уже потерял горячность, и ему кажется, что вообще не стоит жить на свете: скучно, надоело. Теперь он никому не нужен, с Ладой... вышло все случайно: думали оба, что любят друг друга, а оказывается, что она разочаровалась и раскаивается...

– Но все-таки... ты связал себя с Ладой, и так нельзя... Вы – не собаки.

– Я ее продолжаю любить, но я имею другие обязанности и не могу сидеть около ее юбки, когда идут на гибель мои друзья... Я ношу «Георгия» и свой долг воина ставлю выше всяких привязанностей...

– Вы свой долг исполнили, вы... вы калека и потому не обязаны...

Испортили все дело одним словом «калека».

– Вы предлагаете мне, как и Лада, спрятаться за мою по-

раненную руку? Я не из этого сорта людей. Ошибаетесь. Напрасно вы так хлопчете: жениться на жене брата все равно не допускается, увлечение Лады кончилось, тайна известна только нам одним, и потому наша связь может остаться без всяких последствий... Случай из жизни. Только. Драмы тут совершенно излишни...

Тут распахнулась дверь ладиной комнаты: Лада стояла с девочкой за руку и, глотая слезы, надорвано говорила, почти кричала:

– Я тебя люблю!.. Если ты уйдешь на фронт, я брошусь в море... утоплюсь!..

В этот момент кто-то стукнул в окно, и Лада спряталась в свою комнату. Что такое? Кого черт там принес? Борис пошел на балкон. Здесь стояли в трепетном волнении четыре дамы и наперебой, захлебываясь от ужаса, начали рассказывать, что случилось: две из них ходили за сосновыми шишками к хаосу и опять видели двух подозрительных людей. Скользнули в сосны и исчезли. Это непременно – воры или разбойники, которые ждут удобного случая, чтобы убить, ограбить или изнасиловать. В горах изнасиловали татарскую девочку, собиравшую в лесу кизил. Это ужас!

– Наши мужчины без вас не хотят пойти и поискать подозрительных.

– Я тоже предпочитаю, чтобы они сделали сперва мне визит, – холодно ответил Борис, злой сейчас на всех женщин в мире. Вообразили почему-то, что он поступил в караульщи-

ки или охранители их целомудрия...

– Мы боимся... Нельзя погулять... Нельзя ходить за шишками, за ягодами.

– Ничего они не сделают женщинам. Вероятно, голодные дезертиры или хозяйственные жители, осматривающие брошенные дачи...

– Но они... они могут изнасиловать.

Борис пожал плечами:

– Сейчас я не могу идти. Предстоит не спать ночь и караулить вашу неприкосновенность. Потом что-нибудь придумаем.

– Только на вас и можно надеяться. Вы ничего не боитесь...

– Не скажите! Боюсь женских слез больше... всех воров, грабителей и насильников...

– Почему?

– Это самое сильное из всех насилий. Для нас, конечно, мужчин.

– Сегодня вы какой-то странный и загадочный... Слышали: белые переходят в наступление?

– Слышал.

Поболтали, успокоились и, вильнув хвостами, ушли. В домике стихло. Лада с девочкой пошла гордой поступью к морю. Старики шептались в запертой комнате. Скучная тягучая канитель. Игра в любовь, драма, позы... Взял винтовку и пошел стрелять в цель: в стоявшую у скал фигуру Троц-



кого... Увидал с горы сидевшую на берегу моря, на высоком камне, неподвижную фигуру Лады с девочкой. Сидит, как статуя греческой богини с устремленным в морскую даль взором. О чем она думает? Не выкинула бы в самом деле глупости: не бросилась бы в морскую зыбь! Она всегда говорила, что ее манит зеленая прозрачная глубина. Прыгнуть и исчезнуть.

Бросил Троцкого и пошел к берегу, к Ладе. – Папочка! Папочка! Мама, папа идет. Такой радостный и звонкий голосок. Лада обернулась, и улыбка скользнула по ее губам. Борис заговорил с девочкой. Стал стрелять в кувыркавшихся дельфинов. Убил. Неожиданно убил. Ждали, когда волна пригонит к берегу дельфина, но напрасно. Стал раздеваться, чтобы сплавать и пригнать дельфина. Лада испугалась: не потонул бы. И заговорила. Борис поплыл. Отчаянный человек! И страшно и приятно смотреть на его загорелые мускулистые руки, сверкающие над морем, как крылья. Плавает, точно играет с волной. Красиво. Нет, она любит этого человека. У него уже хорошо поднимается рука и только не сжимаются еще на ней пальцы... Девочка плачет: боится, что папочку унесет страшное море. Пригнал дельфина. Странная рыба. Рассматривали, удивлялись, восхищались: точно лакированная гуттаперчевая кожа. И начали говорить и смеяться, словно никакой драмы не было. Вернулись все втроем с добычей. Вышли старики и порадовались, что все хорошо кончилось. Когда стемнело, Борис снарядился в обход. Такой

бравый, надежный мужчина, не то, что его спутник, близорукий и сгорбленный интеллигент, супруг той барыни, которая так боится, чтоб ее не изнасиловал вор или разбойник. Борис ушел. Лада долго слушала в тишине ночи музыку пианино, долетавшую из одного из домиков рая. Изумительно звучало ночью пианино. Точно арфа и хор нежнейших детских голосов. Словно призыв из потустороннего мира. Нежно ласкает и успокаивает душу, пробуждает в ней порывы в неведомую страну счастья, хочется вспоминать что-то далекое, позабытое, что было в детстве... Сидела на вышке и слушала. И когда музыка смолкла, казалось, что ее звуки долго еще носились над морем и о чем-то напоминали, растворяясь в морских и звездных сияниях, в плеске волны, в шепоте листочков, в шорохах галек на берегах...

Нет, она любит Бориса. И без него не может и не хочет жить...

– Ты, Боря?

– Я. Все благополучно... Все одно расстроенное воображение... Почему ты не спишь?

– Ждала... Хочу тебя крепко поцеловать...

## Глава двадцатая

Размолвка сгладилась. Но в душах что-то треснуло и не склеивалось.

Точно тень «Володечки» встала между Ладой и Борисом. Поколебался гипноз самообмана и самооправдания. Лада все чаще стала замечать и чувствовать, что Борис совсем не похож на своего брата. Постоянное сравнение вызывало тень покойника и рождало не поправимое ничем раскаяние и упреки совести. Но разве можно изменять мертвым? Разве теперь Володечке не все равно? Однажды, в минуту таких переживаний, Лада заговорила на эту тему с отцом. Тот нахмурился, долго пытался, затрудняясь, как и что ответить. Наконец вздохнул и сказал:

– Конечно, это... в прежнее время было недопустимо, чтобы с двумя братьями... Но теперь... Володя убит... Затрудняюсь ответить. Раз так случилось, значит... Полюбили друг друга... Снявши голову, по волосам не плачут... Мы с матерью тебя прощаем... А как Володя – гм! Это уже дело твоей веры и твоей совести...

Дело веры и совести. Верит ли Лада в Бога, в загробную жизнь? Раньше верила, а теперь... не знает, сама не знает. Ничего не знает. А на совести все-таки беспокойно. Иногда увидит во сне, что пришел Володечка, и проснется в холодном поту, целый день думает, вспоминает, ходит в те места,

где после свадьбы целовались с Володечкой, и пугается тех мест, где не так давно целовалась с Борисом...

Трещина увеличилась еще сильнее, когда Лада убедилась, что никуда не уйдешь и нигде не спрячешься от «Зверя из бездны»...

Верстах в трех по берегу, на противоположном берегу залива, где когда-то в мирные времена стоял пограничный таможенный кордон, устроили пункт береговой охраны и связи. Там появились офицеры, солдаты, матросы, в распоряжении которых имелись шлюпки и паровой баркас. Каждый день вооруженный отряд ходил обходом по берегу, наблюдал за жителями, домиками, осматривал документы, вообще проявлял властность. Сделал обыск у рыбаков и увел одного подозрительного грека, про которого говорили, что он в первый приход большевиков проявил к ним подозрительную услужливость, а теперь прятался от «белых». Заезжали офицеры на шлюпке за рыбой и познакомились с дамами. Стали болтаться солдаты около единственной в «раю» кухарки. Борис подружился с начальником пункта, стал часто ходить туда и возвращался на паровом катере. Иногда доносилась стрельба, солдатские песни. Скоро поставили будку на берегу «рая», под самым белым домиком, и там стал неотлучно торчать часовой-матрос, переговаривавшийся флагами с пунктом и с пробегавшим катером. Вообще запахло всякой «военщиной». Все женщины, за исключением Лады, были довольны: стало не страшно по ночам и веселее. Лада была

недовольна: ее раздражали все эти признаки военного состояния, и ей казалось, что последний уголок на земле начинает захлестывать волна человеческой бойни. Борис от постоянного общения с «пунктом» все быстрее утрачивал мирное настроение и все сильнее поддавался снова «Зверю из бездны». Однажды он вернулся и с торжествующим волнением сообщил Ладе:

– Сейчас расстреляли того большевичка, которого поймали у нас тогда, у рыбаков.

– Говорят, что он вовсе не большевик... Это ошибка. Ужасная ошибка!

– Э! Помогал, значит, не о чем рассуждать.

– Какой ты свирепый стал!

– Это – милосердие на свою шею.

– Вероятно, так же говорят и большевики.

– Да. И правильно говорят. А поэтому глупо было бы проявлять нам какое-то милосердие... Я очень жалею, что мне не удалось пустить ему пулю в лоб.

– Неужели ты...

– С полным удовольствием бы!

– Все вы звери!.. Никуда от вас не спрячешься... Однажды на пункт приехали гости из Севастополя, а с пункта вместе с начальником его направились на катере погулять в «раю». Привезли с собой вина, фруктов, лакомств и всякой снеди. Купались, жгли костер и варили уху из свежей рыбы. Вечером Борис всех их затащил к себе в гости. Было шумно и ве-

село. Пили, пели «Черных гусаров», потом устроили на площадке под балконом пляс. Кто-то заиграл на пианино «Карапета», захлопали в ладоши, и началось... Выплыл статный смуглый красавец и начал летать на носках, поводя руками, как крыльями, а за ним выскочил другой и начал дико взвизгивать, делая странные жесты сверкающим кинжалом. При диком восторге подвыпивших мужчин и женщин он взметнул кинжал к зубам и потом выбросил его под ноги Ладе так ловко, что он вонзился в пол около самого ее башмачка. Испугалась Лада впрочем не кинжала, а своего странного и страшного душевного самочувствия: в памяти механически воскресла сцена такого же танца около кабачка, когда она пряталась от красных, и слилась в символическое единство с происходящим. Был момент, когда Лада утратила способность ощущения времени и пространства и не могла понять и отделить прошлого от настоящего. Было туманно: у красных или у белых все это происходит? До того все это было тождественно. И вот в этот именно момент под ее ногами зашатался вонзившийся в пол кинжал, и она вскрикнула от ужаса, который объял ее душу от потери способности чувствовать по-разному прошлое и настоящее. Это был только момент. Способность вернулась, но все еще казалось, что плясали те же самые красавцы, которых она случайно встретила у кабачка на пути к Анапе. Она пытливо всматривалась в лицо одного из танцоров и, не веря своим глазам, выбрала удобный момент и спросила, не был ли тот на Кубани весной.

– Так я тот самый, который...

Тот самый! Тот, чей стакан с вином она приняла после танца у кабачка! Невероятно. Непонятно. Спросила, как же так? Ведь он убивал белых?

– А теперь будем резать красных! – ухарски и свирепо ответил при общем хохоте казак. – Ох, как будем резать! Играй, пожалуйста!

И опять пианино забрякало, ладоши захлопали, полупьянные голоса запели:

*Каранет мой бедный,  
Почему ты бледный?..*

И опять дикий, необузданный, зверский и изумительно-красивый танец!.. – Для тебя танцуем!

Дикий вскрик и взлет на месте, блеск обнаженного кинжала и плавный бег на носках с гордо поставленным неподвижным корпусом...

И опять казак подошел к Ладе со стаканом вина и свирепо заставлял ее выпить. Все это было так кошмарно, что не было сил пить, точно стакан был не с красным вином, а с человеческой кровью. Подошел Борис и настоял, чтобы выпила. Долго, до ночи шел бесшабашный кутеж и песни. Потом стали рассказывать с гордостью о том, как, взяв в плен красноармейцев, определяли их в свои части, и они били с ожесточением «красных», как раньше били «белых».

Один из гостей не одобрил: надо расстреливать и в плен не брать, эта сволочь переходит на сторону тех, которые побеждают, им все равно, кого бить, они просто спасают свою шкуру.

– Я захватил раз целую роту и всех – под пуле-мет!.. Тра-та-та-та!.. И никаких разговоров...

Лада слушала, и ей делалось жутко. Мутилось в голове, хотелось рыдать, бежать куда-то, кричать о помощи, пожаловаться Богу. Ушла к спавшему ребенку, склонилась и думала: «Бедная детка! Зачем ты пришла к людям?» А за дверями опять играли «Карапета», плясали, хлопали в ладоши и пели:

*Каранет мой бедный,  
Отчего ты бледный?..*

– Лада! Может быть, ты спляшешь русскую? Что ты прячешься? Неудобно это...

– Русскую?.. Что ты говоришь, Борис!

– Давай спляшем русскую!

– Оставь меня, ради Бога!..

В зале шум, хохот, требуют «хозяйку». Лада скользнула на подоконник и вылезла в окно, выходящее в узенький переулочек между домом и облицованной камнем выемкой горы, к которой прижался домик. Отсюда, крадучись, вышла в виноградник и села здесь, в густых кустах, на спуске. Нет,



она больше не может! Какой счастливый Володечка: ушел навсегда, и все для него кончилось!.. А вот ей, Ладе... куда ей уйти от ужасов человеческой злобы и безумия?

Смотрела в синее кроткое небо, усыпанное звездами, на сверкавший в высоте пояс млечного пути... В уши барабанили хлопки, топот пляса, дикие визги, бессмысленные слова под музыку про «Карапета», а вот ей, Ладе... куда ей уйти от ужасов человеческой злобы и безумия?

– Володечка! Я хочу... к тебе! К тебе!..

Даже смятая и затопанная женская душа с оплеванной и поруганной любовью к человеку и к мужу через постоянное общение с чистой душой ребенка, через материнство тянулась к Богу и отказывалась вместить все то «звериное», что так быстро и с такой силой охватило уже снова мужскую душу Бориса.

– Господи! Возьми меня с деткой. Я хочу умереть... Мы пойдем к Володечке...

Была такая жажда умереть, когда глядела в тихое звездное небо! Если бы детка была в этот момент с Ладой, она может быть, выполнила бы приходившую ей иногда в голову мысль – броситься в море вместе с ребенком... Так страшно и противно было сейчас жить и слушать «Карапета»! Но детка... Они ее разбудят, напугают. Несчастливая детка! Зачем ты появилась на свет? И вот опять безграничный порыв материнской любви. Нет, нет, надо жить для этого маленького чистого человека!.. Пусть ее жизнь скомкана и поругана,

пусть счастья нет и не будет для нее самой, но вот этот маленький человечек, это живое воспоминание о Володечке и о коротеньком оборванном счастье... его жизнь – впереди! Разве она смеет отнять у него жизнь или отнять мать? Лада поборола свое отвращение и ужас: пошла и влезла обратно в окошко. Девочка проснулась, назвала ее «мамочкой», и от ее сонного голоска с души слетел весь кошмар жизни, и Лада счастливо улыбнулась:

– Ты мой ангел-хранитель!..

В зале пели и кричали, а Лада, успокоив девочку, стояла на коленях у кровати и, подняв лицо к окну, в котором сверкали звезды, молилась Богу.

– Мамочка! Это не разбойники?

– Где? Господь с тобой!

– Там, в зале?

– Нет. Это гости.

– Они не убьют папу?

– Нет, Бог с тобой! Спи!..

Так верит маме: повернулась к стенке и быстро заснула. Верит мамочке. Спрашивает про папу... Обманывает она свою девочку! Когда-нибудь узнает всю правду, – простит ли? Поймет ли эту поганую страшную жизнь, осквернившую все святыни души? Не поймет! Трудно будет представить и еще труднее понять и простить.

И снова Лада поднимает взор к кусочку звездного неба в окошке и без слов молится о том, чтобы ей «все» прости-

ли Володечка и детка... И вдруг страшно вскрикивает и, лишившись чувств, падает около детской кровати, Что там случилось? Вбежал Борис. Около отворенной двери столпились гости.

– Лада! Очнись! Что с тобой?..

– Дай ей вина!

– Расстегни платье!..

Вынесли Ладу на балкон и положили здесь на кожаной скамье. Намочили голову водой, облили полуобнаженную грудь вином. Хотели послать катер в Алупку за доктором, но Лада очнулась:

– Уйдите отсюда... ради Бога!

Гости понемногу разбрелись. Около Лады остались только родные. Что случилось?

– Так... Не знаю.

– Испугалась?

– Не знаю.

Лада знает, но никому не скажет: ей почудилось за стеклом окна лицо Володечки. Как живое! Это было так ужасно. Смотрит и улыбается. Так было несколько мгновений. Лада поняла, что это галлюцинация, и старалась взять себя в руки и убедить свои глаза в обмане: посмотрела еще раз. Но призрак смотрел с той же улыбкой, и тогда сделалось» так страшно, что она закричала... и потеряла сознание.

– Не оставляйте меня: я боюсь.

Вдали плакала девочка, требуя маму. Ее успокаивал де-

душка. Надо туда идти Ладе и лечь. У нее измотались нервы.

– Я туда не хочу!.. Я схожу с ума...

– Что с тобой?

– Так. Ничего. Что-то страшное у меня в мозгу... Я боюсь сойти с ума...

– Ну вот тебе! Не болтай чепухи. Засни, и все пройдет.

Пьяный Борис ходил по балкону и сердился на Ладу: обмороки, разные глупости, истерики и прочие дамские штуки. Пора бы все это бросить: не такое время.

– Знаешь, Карапет положительно влюблен в тебя! Это он тебя вином облил. Грудь была расстегнута, все видно, а он...

Борис остановился около Лады. Быть может, в нем вдруг проснулась пьяная ревность к Карапету, который видел обнаженную грудь Лады. Подсел и грубо сжал руками грудь Лады. Она оттолкнула Бориса и заплакала. А он не отставал. Снова склонился и стал ласкать грубыми чувственными ласками, уговаривая на ухо пойти в скалы или в виноградник.

– Уйди! Я закричу.

– Вот как? Куда уйдешь? К Карапету? Я кое-что заметил... Вы с ним, оказывается, уже встречались... Что ж, для разнообразия и Карапет в любовники годится...

– Боже мой, что ты говоришь? Опомнись!

Но Борис не слушал: обливал Ладу грубыми пошлостями своей пьяной звериной ревности.

– Знаете, только первый шаг для женщины труден, а там пойдет, как по маслу. У вас, женщин, это делается гораздо

легче, чем у нас... Вон, Донна Эльвира на могиле мужа нашла себе любовника, этого... как его? Дон-Жуана...

– Отойди, зверь! Ты мне противен! Я тебя не люблю больше.

«На могиле мужа нашла себе любовника». Точно в самую душу Ладе плюнул Борис этими словами. Точно отхлестал по лицу. Оно загорелось до корней волос. Чувство злобы, оскорбления и стыда разливалось потоками по всему телу и сделало его слабым, вялым, точно переломило. Что ж, разве это неправда? Разве не отдалась она Борису почти в тот же день, когда узнала о смерти мужа? Разве она не оскорбила памяти Владимира этой неожиданной для нее самой связью с его братом? «Боже мой, какая я гадкая, подлая, развратная. Так меня и надо, так и надо»... Стыд победил и злобу, и оскорбление. Да, Борис имеет право бросить ей в лицо это оскорбление. Она заслужила. Пусть оскорбляет! Еще! Еще! Так ей и надо.

– Не верю, когда женщина говорит, что не любит, не верю, когда говорит, что любит... Все дело случая, игра природы... Если я не возбуждаю в вас больше желаний, значит, природа захотела обновления... Подвернется какой-нибудь Карапет, и...

Борис сидел, не обращал никакого внимания на ее слезы и похлопывал рукой по спине. Лада лежала, сжавшись в комок, грудью вниз, охраняя ее скрещенными руками. Шепотом умоляла уйти, но Борис говорил и говорил, теперь уже

не злобно, а насмешливо-ласково, с похотливым оттенком в голосе. Точно Лада – принадлежащая ему кошка, а не женщина, имеющая право на человеческое достоинство. И она не двигалась и не протестовала. Она только пугливо вздрагивала и поджималась. Слишком глубоко было нанесенное ей оскорбление, – казалось, оно смертельно ранило ее человеческое достоинство, а стыд осознанной мерзости парализовал волю. Да, она мерзкая, подлая, развратная!.. Ей нет прощения и нет возврата. Все равно! Но только... сам-то ты, обвинитель, разве не такой же подлый и развратный? Не тебе унижать и обличать. Если бы воскрес Володечка, он, только он один, имел бы право так унижить ее, обоих их. Оба одинаково – подлые, оскорбившие и осквернившие свежую могилу Володечки. Нечем гордиться друг перед другом...

А Борис склонился низко, целует плечи, гладит ноги, шепчет, что «все это наговорил спяна и от ревности, захотелось позлить», лезет руками под живот, мнет и звереет все больше.

– Постыдись! Ведь мама не спит, у нее огонь... Ради Бога, уйди! Какие мы звери...

Вырвалась и вбежала в зал. Борис с искаженным лицом очутился перед ней и, хищно озираясь, опять сел к ней на диван. Она сорвалась, скользнула в комнату девочки и заперлась. Борис, она это чувствовала, стоял за дверью. Притихла, прижалась к девочке. Было слышно, как Борис отошел наконец от двери. Немного отдышалась. Прильнула головой под

ножки ребенка, и захотелось подремать. Унижение держало в своих руках и душу, и тело, делая их безвольными, хилыми, пугливыми. И вдруг чуткое ухо уловило скрип гальки и песка под окном. Это Борис! Он влезет в окно и напугает ребенка. Метнулась к окну, чтобы запереть его, и остолбенела. слабый свет ночной лампочки под зеленым колпачком падал на стекло, и за ним, в бледно-зеленоватом ореоле, глазам Лады представилось снова лицо похожего на мертвый призрак Владимира... Лада знала, что за окном Борис, но душа не поверила. Призрак Володечки! Он! Он!..

И снова Лада вскрикнула и тихо скатилась около кровати ребенка...

## Глава двадцать первая

Это случилось еще на прошлой неделе. Ехали из Севастополя в Байдары подводы с мукой. Дело было под вечер. Все опасные места, где бывали нападения «зеленых», уже миновали, и татары-подводчики повеселели. «Хвала Аллаху!» – прошло благополучно. Торопились попасть в Байдары за светом, лошадей не жалели и заморили, а теперь надо было и скотине передышку дать, да и самим отдохнуть, пожевать хлеба с водой, покурить, посидеть около журчащего фонтана. Остановили обоз, стали поить лошадей, греметь ведрами, умываться от белой, как мука, пыли. Лошади, чуя воду, звонко ржали и лезли, нарушая порядок, к фонтану; неуклюжие мажары сцепились колесами, подводчики стали ссориться и ругаться между собою. Не заметили, как из кустов, сбегавших с горы почти вплоть к шоссе, вышли два человека и, подойдя к последней брошенной хозяином мажаре, сняли с нее мешок с мукой. Спавший на одной из мажар татарчонок Хайбулла, лениво подняв в этот момент голову, увидел, как за кустами исчез мелькнувший на спине человека мешок. Крикнул хозяину мажары: «Не твой мешок в лес пошел?» Так и есть! С шумом, напоминавшим встревоженных галок, татары бросились в горы и настигли... Человек сбросил с плеч мешок и побежал, другой стал отстреливаться из револьвера. Может быть, и скрылись бы, но стрелявший по-



скользнулся и упал, а убежавший хотел отбить товарища, и оба попали в руки озлобленных татар. Начали бить чем попало. Один вырвался и убежал, другого полумертвым положили в мажару, привязали на мешках и повезли с собой. Всю дорогу возбужденно кричали-разговаривали и радовались, что наконец-то поймали хотя одного разбойника! Жалели, что убежал другой, и обсуждали, как и где его надо ловить. Попал главный: это он стрелял. Все утверждали, что пуля чуть не угодила ему в голову, мимо уха просвистела, и, приходя вновь в озлобление, хлестали кнутом примолкшего разбойника. Уже стемнело, когда приехали в Байдары и сдавали пойманного властям. Собралась огромная толпа около квартиры пристава и возбужденно галдела, требуя прикончить пойманного тут же, без всякого разбора и следствия. Пришел пристав и милиционеры. Развязали разбойника и кричали, чтобы слезал. Не хочет! Притворился. Хлестали кнутом и хохотали. Не встает! Наконец один из татар, повернув разбойника, насмешливо сказал:

– Кончал базар!

И все стихли и стали расходиться, наполняя улицу оживленным разговором. Подводчики роптали: их задержали для составления протокола.

– Зачем протокол? Собака!

– Какой-такой бумага? Зачем бумага марать? Возьми, пожалуйста, – ехать надо!

Сняли труп, обыскали, нашли документ:

– Иван Спиридоныч Спиридонов. Не зеленый, а красноармеец: вот и печать!

Черт их разберет, этих «зеленых», кто они такие. Всякие попадаются: и красные, и белые, и безо всякого цвета. Все разбойники и грабители!

– А куда другой побежал?

Другой побежал на шоссе, а оттуда в овраг. А овраг крутой и лесом зарос. Где же поймать? Теперь будет шататься в лесах и лесных трущобах по горам, около моря, да грабить деревни по проселочным дорогам... Опять начнут пропадать барашки, куры, утки, белье с изгороди на задах. Как волки, по ночам рыщут.

– А какие приметы? Как одет?

Бестолковый народ. Все видели, а рассказать не умеют.

– А узнаете, если показать?

Все обещают узнать, хором.

Так погиб искатель «настоящей правды» Спиридоныч и так спасся от смерти еще раз Владимир Паромов. Бежали от красных, добрались до крымских гор и долго болтались с «зелеными». Поняли, что и здесь надо убивать и грабить, и решили добраться до Бати-лимана, где, по предположениям Паромова, он мог отыскать потерянную жену с ребенком, отдохнуть с другом от собачьей жизни и, может быть, снова сделаться «человеком». Целый месяц жили зверями, прятались по пещерам или в каменных щелях горных пород, иногда спали на столетних дубах, как обезьяны, питались ягода-

ми, желудями, съедобными кореньями трав, иногда отнимали хлеб у пастухов. Вступили было в шайку людей, называвших себя «зелеными», но бросили: она занималась истреблением «белых», «партизанила», делала набеги на курорты, подбивала проезжающих по шоссе в автомобилях «буржуев» и не убегала от крови, а сама проливала ее. Пришли да не туда. Убивай или сам будешь убит! Где же лучше?

– Там, Спиридоныч, где нас нет.

– Это, друг, верно.

– Пойдем в наши горы, к морю! Там есть у меня близкие люди. Если проберемся, может быть, там до зимы отсидимся. Теперь нельзя далеко загадывать. Прожил день, и слава Богу! Если жена там, то... поживем еще на свете.

И вот почти уже дошли. Голод толкнул на дерзкую кражу. Показалось, что никакого риска нет: татары все у фонтана, а хвост обоза загнулся, и татарам не видать последней мажары. Голодная жадность ослепила глаза и помутила разум: не сообразили, что пятипудовый мешок таит в себе смерть... Прощай, верный друг!

Паромов прыгнул с шоссе через низенькую каменную стенку в густую поросль кизила, буков и грабов и кубарем покатился вниз по крутому скату горного ущелья. Иглами шиповника и «держи-дерева» исцарапал себе в кровь лицо и руки. Ветхая рубаха повисла клочьями, и обнажилось темное загорелое грязное тело. Вырванный на штанах клочок открыл коленную чашку. Потерял фуражку. Вид его был

необычайно растерзанный, и всякий встречный понял бы, с кем он имеет дело. Прошел лесистым оврагом версты две и, выбрав логово, залег, как медведь в берлогу, до ночи. Сперва прислушивался, не ищут ли, но опустившиеся сумерки успокоили. Хорошо, что в кармане уцелел револьвер! И забыл про него... растерялся, когда Спиридоныч упал и очутился в руках татар. Думал о Спиридоныче: не знал, что Спиридоныч уже нашел исход и настоящую извечную правду... Эх, Спиридоныч!.. Не пощадят, расстреляют. Думал о том, что приходит какой-то конец и его собачьей жизни. Теперь одна дорога – в белый домик у моря, где промелькнуло коротенькое счастье его жизни... Лада! Она представилась ему в том светлом еще девичьем образе, какою была тогда, после свадьбы. Радостная, восторженная, наивная и вся светлая. Потом, немного спустя, он еще раз видел ее, некрасивую, отяжелевшую от беременности. Точно две Лады: от той, первой, сладостная тоска щемит душу... Лицо второй ускользает, мелькает в памяти, как в тумане. К той, первой, рвется душа, и теперь чудится, что именно она, первая, живет там, за синими лесистыми горами, около моря, куда он сейчас пойдет... Ведь у него есть дочь! Совсем забыл, что есть дочь! Тревожно и испуганно забилося сердце. Дочь!.. Он совсем не знает ее, и она его не знает... Верно, уже бегают и говорят... А если там никого нет? Если там поймают? Что ж, какой-нибудь конец должен наступить. Больше он не хочет и не может бегать по земле волком. Посмотрел на звезды, на

темный профиль гор около моря. Стал припоминать окрестности, фигуры горных массивов. Взобрался на кручу, увидел вдали огоньки в Байдарах и сразу понял, где он находится и в каком направлении надо пробираться домой. Давно уже не молился, а тут перекрестился и прошептал: – Помоги, Господи!

И пошел. Прямо, напролом. Без всяких тропинок. Ломался сушняк под ногами и руками, вспархивали испуганные птицы и пугали его, бросая в дрожь. Никогда он еще не был таким трусом, как теперь. Привык быть всегда вдвоем. Одиночество в пути, который ведет... куда? Может быть, в могилу! – нет ничего страшнее. Приостанавливался, слушал, переводя дух, шорохи леса. Это шишки с сосен валяются. А это змея скользнула в прошлогоднюю листву. Каждый звук леса изучен. Попал на просеку, вынул револьвер, осмотрел и пошел быстро. Дорога вилась все ввысь. Кажется, это Хайтинский лес. Такой знакомый овражек! Должен быть ручей! Да! Облегченно вздохнул и, склоняясь к ручью, умылся, жадно глотая с руки воду. Теперь знает... не закружится в лесах. Деревню надо миновать, обойти подальше: там много собак... Вон, слышно уже, как лают, проклятые!.. Неужели зачуяли так далеко? Долго обходил без дороги, подальше, деревню и наконец, выйдя на склон гор, узнал зубчатый профиль знакомой вершины Святого Ильи, точно начертанный углем на небе. Вся душа вздрогнула: такой знакомый профиль горного хребта! Сколько раз, в час вечерних закатов,

они с Ладой сидели и, счастливые, прижавшись друг к другу, любовались сказочной сменой цветов этой горной вершины. Сколько раз ждали в укромном уголке, когда между зубцами ее покажется краешек луны, словно Бог зажжет на горах небесный костер. Как давно все это было! Точно лет двадцать тому назад, в детстве, когда был маленьким и глупеньким мальчиком... счастливым таким, что смеяться хочется от радости... Выбрался наконец и на перевал. Тут уже все знакомо. Точно только вчера ушел отсюда... Кажется, что уже дома. И все-таки лучше не идти выющейся вниз, к морю, дорогой. Не для него дороги. Даже и тропки опасны. Лучше и спокойнее опять – лесом, оврагами... Уже сверкает, как небо, морская хлябь узкой ленточкой через лес... Уже внизу вправо, точно в преисподней, мигают три огонька... Это у них!.. Один огонек, наверно, в белом домике, и там сидит Лада, светлая, нарядная, такая, как была тогда, когда они только что повенчались.

– Ах, Лада! Лада...

Торопился, скользил избитыми башмаками по каменным отвесам, иногда катился, как на лыжах или в санках, и попадал на изгиб дороги... Все ниже, ниже!.. Над головой растут темные глыбы скал, все выше и выше. По дороге – знакомые каменные глыбы, великанами встающие над лесом. Чем дальше, тем сильнее встают воспоминания. Приходится приостанавливаться: сердцебиение и одышка мешают идти. Уже видна почти вся линия берега, залив и вреза-

ющийся в море мыс. В темноте все это он больше угадывает, чем видит.

Огни! Они и пугают, и радуют. Огни на кордоне, огни в заливе и три огонька в невидимых домиках по откосам. Огни – значит, люди, но из всех огоньков только один может рождать надежды. И он старается угадать этот огонек. Наметил этот огонек и долго и пристально смотрел на него, точно надеялся разгадать его тайну. Если около этого огонька Лада с ребенком – огонек этот может сделаться якорем спасения; если нет тут Ладиного огонька – смерть!.. Арест и короткая расправа. Если не убьют на месте, то поведут в Байдары, куда увезли Спиридоныча. А там он окажется только «разбойником из зеленых», с которыми один разговор: «К стенке!»...

Шел по лесным оврагам, а то взбирался на высоту и снова останавливался, намечал огонек и смотрел на него пытливо, пристально, стараясь отгадать свою судьбу. Теперь он был уже настолько близко, что ветерок доносил человеческие голоса и смех снизу. И эти голоса и смех не обрадовали, а испугали его. Надо обойти все огоньки, чтобы не встретиться ни с одним из говорящих и смеющихся, и прокрасться к белому домику, минуя все дорожки и тропки между домиками и вьющимися коленами дороги. Хорошо, что так темна звездная южная ночь. Каждый куст – надежное укрытие для «волка» в человеческом образе.

Место хорошо знакомо. Хорошо памятно. Когда-то бродили с Ладой и прятались от людей, тоже прятались, но они

прятали свое счастье, а теперь он прячет свое несчастье. Целый час он обходил опасность возможных встреч и, наконец, спустился и спрятался в заброшенном винограднике, на последнем откосе: внизу дорога, а ниже ее, через густые шапки огромных можжевельников, выглядывает крыша и труба заветного домика, где прячется тайна его судьбы. Что там, в этом домике? Там это или на берегу? Кричат, смеются, пляшут? Да, там. Кто они? Лежал, слушал, ловил голоса и приходил в отчаяние: чужие голоса, полупьяные голоса. В белом домике – чужие. Значит, смерть!.. Разве может это случиться, чтобы Лада устраивала кутежи и пляс в белом домике, когда он... Нет! Там – чужие.

*Каранет мой бедный,  
Отчего ты бледный?*

Топот ног, визги, звон стаканов, хлопанье рук и пьяный хохот, похожий на лошадиное ржанье... Но что это? Почудилось? Голос брата Бориса! Неужели? Горячей радостью облилась душа. Стал напряженно слушать и ловить голоса, смех, крики. Вот опять голос Бориса! Но почему нет ни одного женского голоса? Спуститься? Прокрасться к окнам домика? Ну, а если слух обманул его? Если ему лишь почудился голос брата? Если очутишься в руках пьяной компании воинственно настроенных чужих людей?.. Если даже между ними – Борис, успеет ли он предупредить убийство, если на-



ткнешься сперва на чужих? Да узнает ли его и Борис в таком виде «лесного бродяги»? Не узнает даже Лада. Один момент может решить судьбу. Если брат и Лада здесь – надо впервые встретиться с ними наедине. Но как это сделать? Скрыться где-нибудь в хаосе, где когда-то прятались они с Ладой от людей, хороня свое счастье? Спрятаться и ждать, не пойдет ли по дорожкам Лада? Но она не узнает, испугается, убежит, поднимет тревогу, и... на него устроят облаву, как на забежавшего волка, и убьют... Что ж делать? Надо решить до рассвета, иначе все пропало...

Мозг напряженно искал выхода, решения. Мысли кружились вихрем в голове. Если бы был карандаш и клочок бумаги, можно было бы написать записку, подкинуть и, спрятавшись, ждать. А снизу неслась песня про «Черных гусаров»...

Марш вперед! Смерть нас ждет, Черные гусары...

Опять, опять узнал голос брата. Вскочил и побежал вниз по винограднику. У самой дороги приостановился. Снова овладело душой тяжелое раздумье. Вспомнил, что с одной стороны дома, между стеной, изломанной уступами, и откосом, облицованным камнем, есть узкий проулочек с ползучим виноградом. Туда выходит окошко из домика. Оно из той комнатки, где была когда-то спальня Лады. Вот если бы удалось пробраться туда незаметно от людей и там выждать удобный момент для встречи, для первого свидания с дорогими людьми! Надо решать. В этот проулочек можно спрыгнуть с горки. Если это удастся, если слух его не обманул –

жизнь спасена... Несколько мгновений постоял, прислушался, огляделся. Показалось, что позади, наверху, кто-то шагает. Это ускорило решение. Перекрестился и скользнул через последнюю дорогу. Наклонился и, пробежав несколько шагов, очутился над белым домиком. Теперь было уже все равно, ибо отступления не было. Вот она, каменная лесенка! Побежал по ней, прыгнул на косогор, к облицовке, отсюда в переулочек. Упал и, прижавшись к земле, затаил дух. Несколько минут лежал без движения: боялся, что шум от его прыжка будет услышан в домике. Нет! Шумят, говорят, поют. Никакой тревоги. Значит, никто не слышал. Огляделся: уголок забыт и заброшен. Разросся шиповник, дикий виноград, бурьян. В изломе стены светится зеленоватым отсветом стекло окошка. Оно занавешено легкой полупрозрачной материей. О, как страшно заглянуть туда! Долго не решался и боролся с самим собой. И вдруг сонный плач ребенка, призывающего маму. «Моя дочка!..» Помутилось в голове, захватило дыхание. Упал лицом в землю и плакал, кусая свою руку. Потом за стеклами прозвучал женский голос... Голос Лады? Да, голос Лады! Он узнал бы его из тысячи женских голосов...

Не было больше сил бороться. Взглянуть хотя издали, мельком, на одно мгновение!.. Осторожно поднялся на колени, потом, медленно выпрямившись и стоя в отдалении от окна, вытянул голову и заглянул через занавесочку, лишь наполовину высоты закрывавшую окошко. И тут что-то слу-

чилось. Он не успел даже убедиться, что бывшая в комнате женщина – действительно Лада: страшный женский крик заставил его упасть наземь и ползком спрятаться в шиповнике и бурьяне. Началась суматоха в доме. Опять поймал голос брата. Шум стал резким и близким. Казалось, что все его видят. Это шумели на балконе. Он ждал, что сейчас начнут искать, придут в его сокрытие и начнут стрелять в него. Но не шли. Пошумели и стали расходиться: голоса уплывали в темноту и в ней растворялись. Шли по лесенке, над головой, шли по нижней дорожке, ведущей к берегу. Слышно было бряцание металлом: военные. Решил ждать полной тишины. Теперь уже совершенно не сомневался, что Борис здесь: его голос отчетливо звучал в ушах. Но кто с ним? – женщина, фигуру которой он мельком поймал в окошке? Может быть, Вероника? Быть может, ей удалось-таки пробраться в Крым к своему жениху? Эта мысль казалась ему разгадкой кутежа, песен и пляса: может быть, он попал прямо на свадьбу? Да, конечно! Теперь все понятно, все понятно...

Тихо, крадучись, продвинулся он по переулочку, вдоль стены дома, до угла, и мельком заглянул на балкон через листву винограда: Борис около женщины. Та плачет. Хотел позвать Бориса, но плач женщины смутил его: лучше переждать. Неловко. Можно испугать и... Осторожно, пятясь задом, снова ушел в переулочек и присел около шиповника. Огромная радость начинала трепетать в его душе. Совершенно пропал гнет страха и сомнений, и трепетное нетер-

тение играло в теле. Но кто: Вероника или Лада? Ссора с невестой или братское утешение истосковавшейся по нему Лады?.. Если это Вероника, то где же Лада? А ребенок? Ведь он звал «маму»... Лада! Это Лада? Она тоскует. Когда люди веселятся, тоска бывает еще горше. Может быть, оплакивает его, считая убитым...

– Отойди, зверь! Ты мне противен. Я не люблю тебя больше! – отчетливо прозвучал женский голос в ушах Владимира.

Нет, это голос не Лады. Пришла в голову несуразная мысль, дерзкая и поганая: Лада с Борисом – любовники. Сделался противен самому себе, гадливо отогнал мысль. Потом громко хлопнула дверь в комнатке, за слегка приотворенным занавешенным окном. Владимир опять приподнялся и вытянул шею, чтобы увидеть, кто там, в комнате. Только на одно мгновение нарисовалось в глазах лицо женщины, похожей и непохожей на Ладу. Успел уловить что-то очень близкое, но короткие локоны по плечам и страдальческая мина около губ делали ее лицо непохожим на Ладу, и «близкое» померкло в этом новом и чужом. Страшный женский крик за окном оборвал мгновение – он присел и опустил наземь...

Теперь придут. Спрятался в шиповниках, чтобы успеть закричать, что это он, Владимир Паромов, а не вор и не разбойник... Но никто не приходил... Сделалось тихо-тихо. Море вздыхало внизу, и казалось, что кто-то пересыпал из мешков на пол маленькие камешки. Прошло несколько минут, и где-

то близко стали поскрипывать по песку и гальке задумчивые, похожие на часовой маятник, шаги. Это, спустившись с балкона, прохаживался с папиросой во рту Борис, обуреваемый пьяной похотью разгоревшегося и оскорбленного зверя. «Заперлась!» Ну пусть покапризничает. Потом пройдет с ней. Бывали уже эти приступы не раз и раньше, а кончалось всегда по-женски: приступ тоски и злобы превращался в приступ страсти... Борис сознавал, что его мужская власть над этой изломанной женщиной безгранична. И это самочувствие наполняло пьяного человека самоуверенной гордостью и ожиданием скорого мужского торжества.

Шаги проскрипели, и около переулочка появилась темная мужская фигура. Да, теперь Владимир более не сомневался: это был его брат, Борис...

– Борис! Я это, твой брат, Владимир!

Темная фигура остановилась и тревожно громко спросила:

– Кто здесь?

Владимир повторил. Темная фигура мгновение постояла, как вкопанная, потом быстро скользнула от переулочка. Не понял? Не поверил? Не узнал голоса?

Пьяный Борис узнал голос брата, но это было так невероятно и странно, что не поверил своим ушам. Никого нет, только один голос брата. Голос брата, который, как он знал от друга и очевидца, расстрелян. Не верил Борис уже ни в Бога, ни в черта, но в этот момент его объял такой панический

ужас, что он отпрыгнул от переулочка и, вбежав в комнаты, стал шарить на полке, где обыкновенно лежал револьвер. Он и сам не знал, зачем ему револьвер. Просто – инстинкт и застарелая привычка хвататься прежде всего за револьвер. Но вот и револьвер в руке, а он сидит в кресле и тяжело дышит, не решаясь снова идти туда, откуда послышался ему голос брата. К суеверному ужасу примешалось сознание страшной преступности перед памятью брата, и Борис потерял способность ничего не бояться. Что же это такое? Призрак мертвеца или пьяная галлюцинация, припадок белой горячки? Но он дважды слышал голос брата! Несколько минут Борис сидел с револьвером в опущенной руке и дрожал в лихорадочном страхе, не спуская глаз с двери на балкон. Дверь открыта. Там темнота и вздохи моря. Через деревья мелькают на небе звезды, и видно, как дрожат ажурные листочки листвы под ветерком. Точно черные кружева на темно-синем бархате.

Владимир напряженно думал, как ему быть. Боялся, что брат, не узнав его, поднимет тревогу или сам начнет стрелять в него. Он подошел к окну, раздвинул его створки и тихо сказал:

– Лада! Ты здесь?

Откинув рукой занавеску, увидел лежавшую около кровати женщину и опять сказал:

– Лада!

Женщина приподнялась, села, остановила взор на окне.

Тогда он узнал ее и ласково и тихо сказал:

– Не пугайся, Лада! Это – я, Владимир, вернулся...

Неужели не узнаешь?

Лада улыбнулась, провела ладонью руки около глаз и снова уставилась в окошко:

– Володечка. Пришел? – спросила она шепотом и стала манить его рукой, чтобы влез в окно.

– Ты меня, Лада, узнаешь?

– Да.

И опять стала делать рукой молчаливые знаки, чтобы лез в окно.

– А Борис здесь?

Лада погрозила ему пальцем и показала на дверь. Все это она сделала, точно во сне или в гипнозе. Но вдруг очнулась, подбежала к окну, резким движением оттолкнула угол стола, вскочила на подоконник и закричав: «Володечка вернулся!» – обвила его шею руками и впала в глубокий обморок. Не спала еще мать Лады. Старуха слышала ссору дочери с Борисом, и это мешало ей заснуть. Все прислушивалась и боялась, не случилось бы чего дурного с Ладой: все грозит утонуть в море. И вот теперь она услышала громкий радостный вопль: «Володечка вернулся!» – и, не понимая, в чем дело, вышла в зал, где сидел Борис:

– Что такое говорила Лада? Послышалось, что Владимир Павлович вернулся?

Борис опомнился и сказал:

– Я слышал его голос...

– Господи, Иисусе Христе... Что же это такое?!

Старуха перекрестилась и вышла на балкон. Тихо. Вполголоса позвала в темноту:

– Владимир Павлыч! Владимир Павлыч!

– Я здесь!.. Позовите Бориса. С Ладой дурно, – громко и отчетливо отозвалась темнота человеческим голосом.

Лада крепко держала шею мужа и обмерла.

– Борис! Иди сюда! – крикнул Владимир.

Проснулась девочка, заплакала и стала звать «маму». Владимир разрыдался. Мелькнул огонь лампы: шли в переулочек старики, а позади них Борис.

– Лада! Очнись! Родная, голубушка моя... Очнись! Испугалась... Что с тобой?

Все стояли в столбняке. Старики плакали. Борис смотрел в землю...



## Глава двадцать вторая

Воскрес и вернулся домой «покойник». Почему же не кричат от радости, не смеются, не плачут, а так странно в доме? Еще недавно здесь пели, хохотали, плясали, а теперь тихо, точно все больше испугались, чем обрадовались. Полубредовый порыв Лады, кончившийся глубоким обмороком, а потом перешедший в сонливое полудремотное состояние, – такова была первая встреча «живого покойника», потом испуг Бориса, растерянность стариков. Лада лежит в постели в своей комнатке. Ее лучше не тревожить. Мать несколько раз заходила туда и, присаживаясь на постели к дочери, пыталась заговорить. Откроет глаза, посмотрит с недоумением и опять сомкнет их. Точно не слышит или не понимает. Борис точно прячется от брата: ушел поставить самовар в кухню и долго не возвращается. Старики смотрят на него больше изумленно, испуганно, чем с радостным приветом, точно все еще не верят, что перед ними в этом пугающем виде босяка или пропойцы сидит их зять, тот самый Владимир Павлович, которого они оплакивали и поминали за упокой. В домике молчаливое напряженное состояние. Точно и говорить не о чем. Владимир чувствует себя странно: точно «незванный гость», пришедший не вовремя, всех стесняющий. А надо так много и поскорее рассказать...

– Изменились вы сильно... Краше в гроб кладут, – шепчет

теща и никак не может представить в этом оборванце прежнего франтоватого офицера.

– Что ж, ведь меня и вправду в гроб клали, да выскочил...

Появился с самоваром Борис. Обругал самовар: долго не кипит, поймал тему разговора и поддержал:

– Как же это, брат, того... из гроба-то? Тебя все записали в покойники.

Владимир стал рассказывать. Длинная история! Всего не расскажешь... А вот как быть дальше?

– Я ведь в зеленых побывал, Борис.

– Ну? Вот это, брат, того... Лучше об этом умалчивать.

Владимир рассказал о мешке с мукой и о своем побеге. Испугал всех. Здесь уже рассказывали об этом случае и, кажется, готовят облаву в горах и лесах около них. При этом говорили что-то на «береговом пункте»...

– Вот поэтому-то, Борис, и надо что-нибудь придумать.

– Прежде всего надо тебе одеться как следует... А потом поедem прямо в Севастополь, и явишься, как бежавший из плена... Все устроится. Только не надо всего рассказывать, да сразу подальше от этих мест... Можно опять на фронт...

– Опять на фронт?.. – задумчиво повторил Владимир.

– А что?

– Нет уж, брат... Не могу!.. Не верю...

Старики вступились: как это можно посылать сразу на фронт, когда столько страданий человек уже пережил, измучился, потерял силы...

Борис не без резкости заметил старикам:

– Что ж, в дезертиры идти?

– Не в дезертиры, а отдохнуть надо. Человек три года в семье не был и опять на фронт? Хорошо вам, вы ранены и освобождены...

– Я тоже прострелен... грудь навывлет, брат. И обиднее всего, что свои же чуть не убили...

– Обижаться, положим, нельзя... Такие случаи в наше время не редкость. И у нас, и у красных это случается.

– Не могу я, Борис, больше идти!.. Нет!

– Тогда я не знаю, что тебе посоветовать...

Опять неловкое молчание.

– Тебе хорошо бы искупаться да переодеться...

Вшей ты нам разведешь.

Владимира напоили и накормили. Борис принес от рыбаков бутылку вина:

– Надо все-таки, брат, выпить по случаю твоего воскресения из мертвых...

Все распили бутылку, поздравили Владимира. И все поглядывали в окна, на балкон: боялись, что кто-нибудь увидит гостя.

– А вот где мы тебя положим?

– Я лягу на полу в Ладиной комнате.

Все запротестовали: она в таком состоянии, что это опасно, может опять испугаться, и... можно ведь и с ума сойти. Она и то, как в бреду.

– Мне бы хотелось посмотреть на девчурку...

– Завтра уж увидите. Спит. Тоже напугается. Хорошенькая умненькая девочка! На вас похожа.

На него похожа! Боже, как хочется ему посмотреть на свою дочку!

– А вот погодите: если проснется, я принесу сюда... – говорит бабушка, гордая своей внучкой.

Вино немного сгладило нудное настроение. Все сделали разговорчивее, а Борис, протрезвевший от испуга, снова охмелел и перестал чувствовать семейную драму в белом домике. Только старик-тесть сидел угрюмо, неразговорчивый. Как же теперь? Два мужа – два брата. Что же теперь будет? Бедная Ла-дочка. Даже трудно что-нибудь посоветовать. Сама должна распутать этот гордиев узел. Трудно распутать. А может ли разрубить? А разрубить придется. Скрыть все от Владимира? Не умеет она лгать. И потом... Борис! Надо как можно скорее разлучить братьев, иначе кончится чем-нибудь страшным... Бедная Ладочка!

Кажется, проснулась девочка? Бабушка погрозила пальцем, чтобы не разговаривали громко, и прошла в комнату Лады. Там слышались два сонных голоса: капризный детский и измученный женский. Владимир насторожился и дрожал. О, как хотелось ему сорваться с места и кинуться туда, на эти чуть слышные голоса! Борис понял это и предупредил:

– Ты грязный... Тебе надо пообчиститься... Я тебе дам

свое белье и костюм, а эту рвань надо сжечь. Тиф разведешь.

Тут появилась гордая бабушка с внучкой на руках. Сонная, в белой рубашечке, с расстегнутым воротом, с голенькими выглядывающими из-под одеяла ножонками, с вьющимися локонами, – девочка напоминала одного из ангелов «Сикстинской Мадонны». Моргая большими синими глазками, она капризно смотрела на блестящий самовар, не обращая никакого внимания на присутствующих, а когда Владимир встал, чтобы подойти поближе, девочка перекинулась на плечо бабушки и отвернула головку назад. Не хочет смотреть! Совсем расплавилась душа бездомного бродяги от вспыхнувшего ярким пламенем нового не-знакомое еще чувства. Хотелось схватить ребенка, покрыть его поцелуями, прижать к себе, унести куда-нибудь от всех людей, закричать: «Мой!»... Какое это огромное счастье – быть отцом вот этого маленького ангела!

Владимир изменил положение, чтобы снова очутиться перед ангельским личиком, и вытянул руки. Девочка рванулась с плеча, отвернулась и, протянув голенькие ручонки к Борису, закапризничала:

– К папе. Папа, на!

«На» – означало «возьми меня». Борис взял девочку, и на ее личике изобразилось успокоенное удовольствие. Она показала пальчиком на Владимира и сказала:

– Дядя!

– Это хороший дядя!.. Он тебя любит...

– Ну, давайте! Разгуляете ребенка, спать не будет...

Бабушка выхватила девочку от Бориса и быстро унесла обратно в комнату.

Все это промелькнуло на протяжении двух-трех минут, но что пережил в эти три минуты Владимир! И необъятную непонятную раньше радость, и гордость, и необъятную любовь, и мучительную ревность к окружающим, особенно к Борису, которого девочка называла «папой»... А потом жалость к самому себе. Точно он действительно «покойник», на мгновение отпущенный из могилы посмотреть, что делается на земле, в его бывшем доме...

Владимир не выдержал. Выскользнул на балкон и, прижавшись к каменной стене, разрыдался. Ему казалось, что было у него на земле неоцененное счастье и его отняли? Кто? Может быть, сам себя ограбил? Променял это счастье на красивые драгоценные камешки, которые оказались простыми цветными стеклышками? Ведь ничего от них не осталось. От этих драгоценных фальшивых камешков. Притих, сел и стал думать о своей жизни. Нет, неверно: драгоценности были, но их подменили стекляшками. Была великая любовь к родине, к подвигу, к свободной человеческой личности, была великая ненависть к насилию, к издевательствам и глумлениям над жизнью народа и человеческой личностью... Разве это не настоящие драгоценности? Но их украли, их подменили стекляшками обманщики... И теперь на душе только пустота и чувство вознагражденных потерь... Обман раскрыт, дра-

гоценностей нет, и где они скрыты – никто не знает. Точно Дьявол поглотил их. У всех только фальшивые погремушки да звонкие стекляшки...

Вышел на балкон Борис, сверкал в темноте папироской, положил на плечо брата крепкую руку и сказал:

– Плюнь! Не стоит... Все перемелется...

Владимир отер слезы и вдруг задал такой неожиданный вопрос, от которого засмеялись оба. Он ни с того ни с этого спросил брата:

– Почему у Лады нет кос?

– Обстригли! Болела тифом.

Рыдал, как мальчик, и вдруг такой переход. Обоим сделалось смешно. Точно косы Лады играли какую-то значительную роль во всей его жизни.

– Так я... Вспомнил и... пустяки это.

Он вспомнил далекую юность, золотые девичьи косы, свое юное счастье и, увидя Ладу подстриженной, почувствовал невозвратность. Нет больше толстых кос, которые тяжело ложились ему на плечи, когда они целовались женихом и невестой. И от этого показалось, что и вообще нет ничего, что было и прошло. Но потом нить мыслей спуталась, оборвалась, и вопрос о косах показался самому странным, неуместным и смешным.

– А все-таки, брат, надо ложиться. И не надо, чтобы тебя кто-нибудь увидел здесь или узнал о твоём возвращении преждевременно.

Владимир пошел за братом. На внутреннем дворе он сбросил с себя грязную рвань, окатился из ведра водою, надел чистое белье брата, мягкие туфли, татарский халат... Ух, как хорошо и приятно! Точно жить сначала начал. Тело горело, напитанное, напоенное и омытое, блаженствовало в своей полной удовлетворенности после долгого аскетического пренебрежения, в котором неизменно до сей поры пребывало. Душа тоже размякла. Показалось, что «счастье возможно и близко».

Перетащили из зальца кожаный диван в комнату Бориса и, погасив огонь, улеглись. Боже, какое блаженство! Мягко и эластично. Чистая подушка, прохладная несмятая еще простыня, от которой пахнет не то мылом, не то синькой, не то морем. Точно в царствие Небесное попал наконец, из ада с его муками. Из грешника в праведники вышел!.. Даже смеяться захотелось. Сладостная истома разлилась по телу. Улыбка на губах. Глаза закрылись. Уши ловили баюкающий шум морского прибоя. В синем окне горели звезды над занавеской, и тикали карманные часы Бориса на столике. Ну, вот и кончено!.. Дома!..

– Боря! Ты не спишь?

– Нет.

– Я тебе радость принес... И забыл совсем...

– А что такое?

– От Вероники...

Борис сел в постели.



– От Вероники?.. Она... Ты где же с ней... Как так?

– Она пробивается сюда, к тебе... Она тебя любит, брат, очень.

– Ну!

Владимир подошел к брату:

– Дай руку!

– В чем дело?

Владимир снял с руки кольцо и надел на палец брата:

– От нее! Там внутри есть надпись и дата... Хорошая она, изумительная.

– Работает у красных?

– Да. Вероятно, бежит сюда при первом удобном случае.

Борис снял кольцо, положил на столик, где тикали часы, снова улегся и задумчиво произнес:

– Я, брат, решил опять на фронт. Рука у меня уже действует...

– Разве дело только в руке? В том, чтобы быть способным убивать?

– Любить разучился...

– Ну а как же с Вероникой?

– Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой...

– Эх, ты! Такой клад тебе в руки дается, а ты... А она верит в вашу любовь и, кажется, только этим и живет...

– Романтика, брат!.. Помнишь «пьяную бабу» в Выселках?

Владимир не сразу ответил. Смутился, растерялся, и ему сделалось стыдно говорить об этом в белом домике, около Лады и ребенка.

– Гадость! Не вспоминать, а забыть надо...

– Я не люблю себя обманывать. Какой есть...

Было так хорошо на душе, так чисто, и вдруг это напоминание о бабе! Точно сразу в грязь упал. Владимир замолчал. Что-то враждебное шевельнулось в его душе к брату, так цинично разбившему его блаженное самочувствие – чистой душевной и телесной пристани около Лады и их ребенка, где он только что бросил якорь своего спасения... Больше не говорили. Притворились спящими, но оба не спали, и каждый думал о своем. Владимир думал о брате: изменился, сделался грубым циником, а был студентом – таким идеалистом. Куда все делось? Конечно, годы звериной жизни, вообще опоганили души человеческие, но он, Владимир, не потерял еще способности в мерзости видеть только мерзость, а Борис... С какой циничной бессовестностью он говорит о «пьяной бабе», соединившей их в половом озверении, их, двух родных братьев! Ведь, это такая гадость, при воспоминании о которой делаешься противен самому себе...

А Борис думал о своей связи с Ладой и о том, что же дальше? Скрыть? Признаться? Уступить свое место и право потому только, что Владимир – «законный», а он – «незаконный»? А что теперь значит это самое слово «закон»? Любит ли он Ладу? А черт знает! Но смотреть, как они будут

справлять «медовый месяц», – слуга покорный! Роль довольно обидная и мучительная... А в сущности ему все равно: уйдет на фронт и этим закончится вся эта трагикомедия. Она ведь только воображает, что любит своего «Володечку», а в сущности – это разбитые черепки. Иначе откуда ее бешеные порывы страсти, делающие ее жалкой рабой его желаний?

Опять вспомнил пьяную бабу на Выселках: одна на двух. Цинично ухмыльнулся и мысленно спросил темноту: там было можно, а в данном случае – преступление против нравственности? Почему? «*Quod licet Iovi, non licet bovi?*» – «Что дозволено Юпитеру, не дозволен быку?»... А что если сейчас пойти туда, к ней, и нырнуть, как раньше, под одеяло? Что ж, закричит на помощь Владимира? Первого владельца своих прелестей?.. Борис сел на постели и прислушался... «Звериное» уже проснулось в нем. Риск взбредшего в голову предприятия опьянял душу и тело сильным ощущением, разжигая звериную похоть... Разложившаяся душа не могла противиться власти тела. Опасность только заостряла все ощущения и притягивала к себе. Вот то же случалось на фронте: рискнуть жизнью и захватить пулемет, забраться переряженным в расположение неприятеля с риском быть узнанным и повешенным за шпионство, выскочить из окопа и постоять под свистящими пулями, не сгибаясь и напевая... Обыкновенное не производило никаких ощущений, и душа жаждала ярких, сильных и острых переживаний. Борис закурил папирску; поддерживая огонек зажженной спички, он

осветил лицо брата: спит или нет?

Владимир раскрыл глаза:

– Ты что?

– Не спишь?

– Не спал две ночи и все-таки не могу... Очень уж все странно это... Не могу примириться с тем, что можно спать и не бояться, что тебя схватят и расстреляют...

Они тихо разговаривали, попыхивая в темноте огоньками папирос, когда за дверью послышался слабый женский голос:

– Володечка! Поди ко мне...

Смолкли, прислушались. Опять зовет. Владимир опоясался одеялом и пошел. Борис спустил ноги с постели и затаил дух. Ушли! К ней в комнату... Заперлись.

Осторожно шагая босыми ногами, Борис растворил свою дверь, стал впитывать ушами молчаливую темноту. Чудился шепот, тихие слезы, поцелуи и вздохи. «Звериное» закрутилось в теле и в душе. Самая низменная животная ревность, оскорбленная гордость отверженного самца, жажда залить все ядовитым цинизмом...

– Торжествующая добродетель! – произнес Борис громко, так, чтобы услышала Лада, и захохотал...

## Глава двадцать третья

Это была кошмарная ночь несчастных людей, вообразивших на несколько часов себя счастливыми. Поруганная заплеванная любовь билась, как птица в клетке, изо всех сил стремясь вырваться из гнусной действительности хотя бы путем самообмана. Собрав все свои силы, эта любовь была крыльями. Темнота ночи – они погасили даже слабый огонек ночной лампочки, – казалось, прикрыла все «настоящее» непроницаемой завесой тайны. Были Лада и Володечка тех дней, когда они, только что поженившись, чистые и лучезарные в своей чистоте, праздновали свое соединение в этом самом беленьком домике и даже в этой самой комнатке, в которой тогда, чудилось, поселилось само человеческое счастье... Ничего не случилось, не опоганивали любви, не изменяли друг другу, не было страшной разлуки, похожей на черную бездну мерзостей. Будто эта ночь – продолжение бывшего, ничем не омраченного счастья... Призраки прошлого точно сожгли всю наносную грязь подлого времени. Время исчезло. Нет его! Есть только прежние Лада и Володечка... да вот этот, похожий на ангела, ребенок, подарок Господа, живое кольцо, спаявшее их навсегда, до смерти...

Только когда солнышко всплыло над вершиной гор и искося заглянуло, точно одним глазом, в занавешенное окошко, скользнув лучами по косяку, – они опомнились от всех

обманов черной ночи, встретились глазами, поняли, что есть «настоящее», и оба испугались. Лада тревожно взглянула на запертую дверь и, закрыв истомленный взор, прошептала: – Теперь уйди! Скорей...

И Владимир вспомнил, что там, за дверью, – брат, что Борис не спал, когда он уходил сюда, вспомнил, что он все-таки «волк», судьба которого загадочна, и потому надо прятаться от людей. Быстро вскочил, обвился одеялом и, отбросив крючок двери, боязливо прислушался. Точно не муж, а вор или преступный любовник, которому необходимо скрывать связь с Ладой. Скользя по ее лицу, он словно испугался или изумился: Лада, но не та! Измученное лицо, впавшие крепко сомкнутые глаза, сжатые губы и словно нахмуренное думами чело. Точно чужое лицо. Разбежались от света все призраки старого, помогавшие обманывать себя. Владимир уже начал осторожно приоткрывать дверь, чтобы выйти, как вдруг позади его раздалось рыдание в подушку. Что случилось? Заплакала и девочка в кроватке, стоявшей в ногах матери. Это свет солнышка прогнал призраки, помогавшие Ладде забыть действительность, и она опомнилась от всех самообманов. Владимир растерялся, метнулся к девочке, но та испугалась.

– Уйди же, ради Бога! – сквозь рыдания повторила Лада, не поднимая лица. Владимир вышел и столкнулся с бабушкой, которая, заслыша плач ребенка, пошла в Ладину комнату:

– Вы что тут?.. Испугали! Как не стыдно...

Владимир почувствовал еще более себя «волком» или вояком, что-то пробормотал и торопливо скрылся за другой дверью. Борис одевался. На лице его, измятом бессонной ночью и «звериными» муками, блуждала странная, злая улыбочка.

– Что, с законным браком можно поздравить?

Владимир смутился и рассердился: какая грубая и циничная шутка. Ответил вопросом:

– А ты что, уже встаешь? Так рано?

– Я уезжаю...

– Куда?

– В Севастополь. С рыбаками в Балаклаву, а оттуда как-нибудь...

– Может быть, и мне...

– Я еду на фронт. Решил окончательно. Надоело, и потом... Я здоров и не желаю дезертировать...

– Как же мне?

– А уж это решай сам.

Рылся в шкафу, укладывал белье и вещи в чемодан, тихонько насвистывал, избегал смотреть в лицо брата. Точно чужой, малознакомый. Это покорило Владимира.

– Но ты еще вернешься, Борис?

– М-м... Не знаю. Как сложатся обстоятельства.

– В доме мне, пожалуй, опасно долго оставаться...

– Я тебе высказал свой взгляд. А уж как ты думаешь и

решишь, это твое дело. Дезертиров у нас расстреливают – имей это ввиду.

– У вас даже и не дезертиров расстреливают. Я это испытал на своей шкуре.

– Случается, – обиженно произнес Борис, стягивая ремни чемодана.

– Может быть... Может быть, ты бежишь от меня? В таком случае я...

– Я не бегу, а исполняю свой долг.

– Почему ты так... таким тоном... говоришь со мной?

– Каким?

– Точно ты сердишься, оскорблен чем-то, недоволен...

– Только самим собой.

Борис понес чемодан из комнаты. Когда пихнул дверь ногой и она распахнулась – предстала бабушка с девочкой на руках. Девочка протянула ручонки к Борису:

– Папа, на!

– Я тебе не папа. Вон твой папа!.. Теперь у тебя новый папа... или старый папа...

– Вы куда это? – спросила бабушка.

– На фронт, ваше превосходительство.

– Нет, кроме шуток?

– Какие тут шутки! Вас защищать.

Бабушка смотрела, широко раскрыв глаза, и не знала, что сказать еще.

Видимо, у ней была мысль о Ладе: знает ли Лада, что Бо-



рис уходит? Была мысль о том, что «тайна» раскрылась, и тревога о том, что же теперь будет?..

– А как же... – начала было она оппозицию.

– С вами остается Владимир Павлович, а я испаряюсь.

– Но ведь он... А Лада знает, что вы уходите?

– Не докладывал.

– Вы, по крайней мере, простились?..

– Вчера еще.

– Значит, она знает?

Бабушка пошла к Ладиной двери и, приотворив ее, тревожно сказала:

– Борис уезжает на фронт...

В ответ последовал новый взрыв рыданий.

– Ну, это уже начинает делаться смешным! – сказал Борис, подхватил чемодан, сдвинул на затылок ухарски офицерскую фуражку и крикнув: «Счастливо оставаться!» – быстро пошел к балкону. Бабушка следом за ним, с ребенком на руках. Борис, посвистывая, шел к морскому берегу, а бабушка с отчаянием смотрела на его спину и повторяла:

– Борис Павлыч! Борис Павлыч!

Даже не оглянулся. Исчез под спуском. Бабушка сидела с ребенком на балконе и беззвучно плакала. Это было так странно: ей казалось, что Борис поступил подло, что именно он – муж. Владимир Павлович так, нечто вроде «грешного увлечения». Ушел и всех бросил. Владимир... что ж он за муж? Это бродяга, которому надо прятаться и который

опять убежит к «зеленым» или «красным», и они останутся одни. Владимир лежал в постели, придавленный и ошеломленный всем, что слышал, видел и теперь сразу понял. Борис – ее любовник! Борис! Родной его брат! Так вот она, разгадка вчерашней ночной сцены на балконе. Подлец! Какой, брат, ты подлец! Не хватило порядочности сказать прямо в лицо... Испугался пули. Напрасно: скорей он пустит ее себе в висок... Но она, Лада? Зачем же она сама позвала его ночью, и... такое надругательство над всем прошлым и настоящим. Будущего нет... Впрочем и настоящего теперь нет. Ничего нет! Вспомнил Спиридоныча и повторил его любимую фразу шепотом:

– Ничего нет... Ничего неизвестно. Ничего!

Боже мой, какой кошмар: Лада, в одной рубашке, как полоумная, выбежала из своей комнаты, метнулась на балкон и стала кричать:

– Вернись! Вернись! Ради Бога! Ради Бога!

И снова рыдания. Заткнул себе уши, чтобы не слышать ее отчаянных вскриков, полных безумной тоски и безответных призывов. Наконец затихла. Кошмар оборвался. Слушая эти вопли, Владимир взял в руки револьвер и дрожащими руками стал щелкать взводом. Что-то попортилось: пуля не вставлялась. Торопился, и от этого еще больше не ладилось... Но неожиданно вопли оборвались, сразу сделалось тихо, и в этой тишине прозвучал голос девочки, такой спокойный, радостный, прозрачный, точно птичка райская за-

пела после грозы и бури. И Владимир отбросил револьвер. Святая детка! Как цветочек на навозе. Прекрасный благоуханный цветок чистой первой любви, затоптанной и поруганной нами самими. Ну что делать?

Торопливо одевался, сам не зная еще, зачем и куда он торопился. Надо было торопиться, а куда и зачем – неизвестно. «Ничего неизвестно. Ничего!»... Неожиданно растворилась дверь. Даже испугался: перед ним с искаженным мелкими судорожными подергиваниями губ лицом и странными потухшими глазами стояла в одной сползшей с плеча сорочке Лада и кротко и ласково говорила:

– Володечка! Ты собираешься? Не уходи!.. Ради Бога, не уходи.

Она села на диван и опустила голову. Была похожа на сумасшедшую Офелию.

– Смотри: я тебя люблю... Я сама не знаю, что это такое...

Толкнулась скорбь и жалость в душу к Владимиру. Она такая несчастная, такая скорбная, что в душе уже нет ни оскорбления, ни злобы, а только одна жалость!..

– Почему вы с Борисом не сказали мне, что вы любите друг друга? Я все понял бы и... что ж делать? Простил бы тебя... ушел бы... опять.

Лада вся вздрогнула и схватила его крепко за руку:

– Нет, ты не уйдешь!.. Нет!.. Я тебя так люблю... Я тебя долго ждала.

– Но ведь ты любишь Бориса? – сказал он отвернувшись.

– Бориса?.. Я не знаю, Володечка... Я и тебя люблю... Ты не веришь? Может быть, я тебя люблю даже больше... Я не знаю... Верно, я схожу с ума... Приласкай меня!.. Ну, вот... я заперла комнату... никто не увидит... Иди ко мне!

– Не могу, Лада...

Отошел к столу и, опершись на него руками, опустил голову. Лада подошла и вдруг увидала в стеклянной пепельнице золотое кольцо:

– Подари мне это кольцо? Обручимся снова?

– Это кольцо не мое. Это невеста прислала Борису... А он бросил!

– Невеста?.. Ах, вот что... Он женится?

Лада опустила руки и отошла:

– Нет... Я люблю его, а не тебя...

Тихо, словно в первый раз после болезни, Лада пошла из комнаты...

– Ты меня тоже разлюбил... – грустно сказала она, исчезая за дверью.

Владимир тяжело вздохнул, потер лоб и прошептал:

– Ничего неизвестно... Ничего!

Это была правда: он не мог бы сказать, что он любит, и не мог бы сказать, что не любит. Призраки прошлого, разбитого и опоганенного. И все-таки они связаны с этой несчастной женщиной и еще вот с той райской птичкой, которая щебечет, как ласточка весной, на балконе. И так тяжело расстаться с этими призраками, которые оживают от этого счастливо-

го щебетания ребенка, его ребенка. Но ведь все призраки, в которые он поверил в темноте южной ночи, с восходом солнца разлетелись вдребезги, а вот это кольцо, которое он держит сейчас в руках, – оно снова рождает тревожное чувство каких-то смутных ожиданий... А ведь и это призраки прошлого! Где-то там, далеко-далеко позади, встретил девушку, которую зовут Вероникой, и, вероятно, никогда более с ней не встретится, а если судьба еще раз столкнет их случайно в этом страшном и быстром калейдоскопе событий и случайностей, то... они снова промелькнут друг для друга, как два встречных парохода или два поезда. И что ей он, Владимир? Брат любимого человека. Может быть, только потому она и остановила на нем свое внимание, что он брат любимого человека... А для него теперь этот любимый ею человек – Каин, убивший его светлые призраки юности. Каин!..

Машинально надел кольцо на палец и подошел к зеркалу. Странное, незнакомое, чужое и страшное лицо посмотрело на него со стекла. Давно уже не смотрелся в зеркало. Не узнал самого себя. Встретился сам с собой глазами и испуганно потупился, опять посмотрел и шепотом спросил: «Неужели это ты, Владимир Паромов?»

– Можно к вам?

– Виноват...

Владимир почувствовал себя как преступник, застигнутый на месте преступления. Бог знает, что подумает старик, увидав его перед зеркалом в такую минуту. Стоит и на себя

любуется! Отец Лады действительно это подумал, и презрительная улыбка скользнула на его губах и спряталась в усах.

– Я вам не помешал?

– Нет. Ничего. Раньше вы называли меня, помнится, на «ТЫ»...

– Разве?

– А впрочем – забыл... Все равно.

– Да, конечно... Все это мелочи. Отвыкли друг от друга и даже... понимать перестали друг друга... Я, например, не понимаю, как вы изменили свои взгляды и убеждения, за которые когда-то пошли, бросив молодую жену в интересном положении... Впрочем, о политике не будем говорить. Я хочу о другом, просто о человеческом...

И старик, с запинками, с пожиманием плеч, с тяжелыми паузами, начал говорить о «человеческом». Видимо, он был убежден, что муж осуждает и презирает его дочь, Ладу, за то, что случилось. Кто виноват в этом? Меньше всего виновата Лада. Если бы он знал ее страдания в течение последних лет разлуки, то понял бы, как выразился старик, разбитое прекрасное сердце. Если бы знал ее отчаяние, когда она получила проклятую весть о смерти мужа, когда приходилось ее караулить по целым ночам во время постоянно возвращающихся приступов тоски и отчаяния от самоубийства, – то понял бы эту женщину лучше, чем теперь...

– Поймите, что она... что вы для нее были покойник. Вы умерли. Вас нет. Кто может требовать от молодой женщины

верности покойнику? Ведь ей и теперь только двадцать пять лет. Три с лишним года полного аскетизма.

– Зачем вы все это говорите? Я ни ее, ни Бориса не обвиняю.

– Ведь это только в древности заставляли жен ложиться в могилу с умершими мужьями! – продолжал, не слушая Владимира, старик.

– Послушайте! Мы с Ладой и без вас пойдем и простим друг друга.

– Единственно, что во всей этой драме тяжело, – это лишь то, что вы с Борисом – братья. Для Лады Борис был слишком близким после вас человеком, он спас ей жизнь, он рисковал для нее собственной жизнью, и потому даже и тут Лада имеет моральное оправдание... Она часто даже и теперь называет Бориса вашим именем... Ее жизнь смята и исковеркана. И кто виноват? Она?

– Повторяю: я никого не виню... Теперь все валится и все рушится... Но я не могу понять, чего вы требуете от меня, от живого покойника? Оставить Ладу? Уйти? Но позвольте нам самим разрешить этот вопрос!

– Вам не следовало сюда являться... Вы пришли и все разрушили... Вы...

– Но я шел к своей жене и ребенку. Для всех вас я был покойник, но ведь... Вы требуете, чтобы я действительно сделался покойником что ли?

– Вы должны идти на фронт, а Борис должен вернуться.

– Почему должен идти на фронт? На какой фронт? Куда мне идти – это позвольте решить мне самому, а что касается возвращения Бориса, то, сделавшись для вас снова покойником, я этому возвращению мешать уже не буду.

– Вы должны пойти и сказать, что идете за брата, который освобожден и пошел добровольно.

– К белым я больше не пойду.

– Да, я уже сразу понял, что вы... другого поля ягода. И потому вам вообще не следовало возвращаться к нам, к Ладде. Муж ее не может быть ни красным, ни зеленым. Поняли? Вот и все!..

– Вы забыли только одно: что я – отец ребенка! – уже злобно сказал Владимир вслед удалявшемуся тестю. Тот обернулся и тоже злобно ответил:

– Недостаточно произвести на свет ребенка, чтобы носить почетное и ответственное звание «отца», милостивый государь!

О, проклятая бессильная злоба! Не нашел даже, что ответить. Запер комнату, словно в незапертую могли ворваться еще новые оскорбления и злобные слова, и стал бегать по комнате, как тигр в клетке... Это удивительно! Не муж и не отец, а покойник! Живой покойник! Но ведь и покойник, если он не может оставаться мужем, то остается отцом. И для ребенка он только «дядя»!.. «Дядя Володя». Ходил по комнате до изнеможения, до звона в ушах, и закружился. Чтобы ничего не видеть, ничего не слышать и не думать, метнулся



на диван вниз лицом и навалил на голову подушки. Жалобно пела муха в тенетах паука, залетевшая в форточку оса прыгала у стекла, вторя жалобам мухи, как виолончель скрипке. Подошла к запертой двери Лада и жалобным, похожим на муху же голоском, попросила: – Володечка, отопрись!

Владимир слышал, но не мог подняться. Кусал угол подушки, чтобы не рычать от злобы и оскорбления, и не отзывался. И не помнит, как, охваченный полным расслаблением души и тела, отлетел в сказочное царство сна, где нет ни печали, ни вздыханий, а только радость далеких сладких воспоминаний. Грезился лес от влетавшего в окно шума морского прибоя, березы, кукушка, жужжащий над ухом комар, Лада в венке из васильков, с двумя косами: одна за плечом, другая на груди – сладкий поцелуй, затуманенные девичьи глаза, запах молоденьких березовых листочков, зеркальная гладь уснувшей речки...

– Кукушка, кукушка! Скажи, сколько лет мы... будем счастливы?

Жалобно кукует, точно плачет кукушечка... Все кукует, кукует, и конца нет... Сбилась Лада со счету, смеется от радости, а в глазах точно пузырьки в шампанском.

Вечером вернулись рыбаки из Балаклавы и привезли свернутое письмо без конверта, от Бориса – брату. Написано карандашом, пьяным неопрятным почерком. Письмо попало в руки к Ладиной матери. Взяла и спросила:

– Борис Павлыч уехал в Севастополь?

– Нет. Встретились с каким-то офицером и закрутили...

– Просил передать что-нибудь?

– Только письмо.

Бабушка пошла с письмом к дедушке. Долго ворожили: прочитать или отдать, не читая? Как же не прочитать, когда дело касается судьбы родной дочери? Да и не заклеено письмо: никто не узнает. Спрятались в своей комнате и прочитали. Странное письмо:

«Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат! Все на свете пустяки, и любовь игрушка. Если я – подлец, то, ей-Богу, не от природы, а главное – и не подлец вовсе, а такой же грешный человек, как и ты, как все мы теперь. Если принять во внимание, что мы оба с Ладой считали тебя расстрелянным и не могли в этом сомневаться по рассказанным тебе причинам, то в чем же моя подлость и наше преступление? Ты был покойным мужем, я был живым. Злая насмешка судьбы, и больше ничего. Ты явился, и я, отдавая тебе пальму первенства, поспешил ретироваться. Что я мог честнее придумать? Все это вышло, как в задаче про волка, козу и капусту. Пусть Лада сама разрешит эту задачу. Уехав сам, я лишь упростил ее разрешение. Оставил волка с капустой. Почему я лично не объяснился с тобой? Пойми, что после ночи, проведенной тобою в Ладиной комнате, мне не о чем было больше говорить с тобой. Кажется, я даже не простился с тобой, как надлежит братьям. А проститься надо: поеду на фронт, и потому можем больше никогда не встретиться.

Итак, целую, и если возможно в твоём положении, от души желаю тебе снова сделаться счастливым. Поцелуй от меня свою жену и ребенка. Прощай! Твой Борис».

Бабушка с дедушкой прочитали шепотом это письмо, посмотрели друг на друга и, вздохнув, опустили руки на колени и глубоко задумались. Как же быть, и что делать? Тихо шепотом совещались, с которым будет счастливее Лада? Который должен остаться, а который...

– Что ж, убить, что ли, одного? Что тут сделаешь? – помахивая головой, прошептала бабушка.

Дедушка подумал и ответил еще тише и таинственнее:

– Надо вернуть Бориса...

– Знаю... А как это сделать?

– Я уже предложил Владимиру в вежливой форме оставить наш дом, потому что в нем не место ни красным, ни зеленым. Моя дочь не может быть женой этих... людей.

– Надо все-таки поговорить с Ладочкой...

– Разве ты забыла, как она в одной рубашке выбежала на балкон и умоляла Бориса вернуться?

– Не поймешь ее...

– Конечно, ей жалко и Владимира. По-человечески, и мне его жалко, но тут надо откинуть это чувство, иначе погубим Ладу... Владимир Павлыч для всех покойник и не воскреснет...

Опять помолчали.

– Ну так что же делать?

– Если сам не уйдет, я заявлю. Ни красных, ни зеленых я в своем доме скрывать не могу и не желаю... Такого позора на старости лет я принять на свою голову не могу. Если Лада изберет Владимира, пусть оба уходят.

– Ну ты уж очень!.. А куда девочка денется? Я ее не могу отдать, не могу...

И бабушка заплакала.

– Ни красным, ни зеленым я ее не отдам.

– Все-таки ведь он ей отец... – отирая слезы, пропищала бабушка.

– Я буду ей отцом!.. И надо все сделать скорее, пока Борис еще не ушел на фронт... Укрывать этого господина, на которого производятся по лесам облавы, я не могу, не желаю пятнать своего честного имени. Если бы он был даже моим сыном, я показал бы ему на дверь. Вот и все.

– Поговори с Ладой!

– Она теперь как полоумная, ничего не понимает. От жалости она, кажется, готова быть женою обоих... Только этого не доставало. Один белый, а другой зеленый. Этакая гадость на свете развелась.

Долго еще старики шептались в запертой комнате. Ссорились и мирились. Бабушка была мягче и боялась решиться на выдачу Владимира.

– Как бы там ни было, а это все-таки Иудино дело.

– Что ж, я Иуда по-твоему?

– Делай, как знаешь. Я умываю руки.

– Если я – Иуда, так ты – Пилат. «Умываю руки». Не умой их кровью своей дочери!

– Никакой крови я не хочу... никакой! Но ведь его могут расстрелять... – заплакала шепотом бабушка.

Жалобно пела муха в тенетах паука, оса прыгала у стекла, вторя ее жалобам, как виолончель скрипке. То было в комнате, где сладко и крепко, как настоящий покойник, спал Владимир. А в другой комнате плакала шепотом, как муха, старушка, и гудел, как шмель, старичок...

## Глава двадцать четвертая

– Володечка! Отопрись!

Владимир очнулся, но не сразу сообразил, где он находится и кто назвал его имя. Опять было закрыл глаза, но звонкий голосок ребенка, прозвучавший в отдалении, сразу прогнал дрему и прояснил затуманенное сознание. Но голос не повторялся. Владимир сел и огляделся. Увидал на полу у двери два письма. Поднял, осмотрел: ему! Прочитал письмо брата и грустно так улыбнулся. Ведь все это правда: он для всех был покойник и... не воскреснет. Нет, не воскреснет! Связь Лады с Борисом тяжелым камнем придавила могилу, в которой он погребен заживо. Ну а это еще что за послание? «Милостивый государь!» Так... Письмо к покойному зятю. Угроза донести, очень прозрачно прикрытая лицемерными словами чести, какого-то «долга» неизвестно перед кем. Ну, а Лада? Неужели и она передает на пропятие?

– Володечка! Ты проснулся?

Такой кроткий, ласковый и любящий голос спрашивает там, за дверью. Что это такое? Действительность или страшный сон?

– Ну отопрись же скорее!

– Ты, Лада? – спросил, словно не верил своим ушам.

– Да, да, я.

Отпер дверь. Вошла Лада с кроткой печальной улыбкой

на губах:

– Ты так крепко спал. Я несколько раз подходила и звала...

– Да. Я спал, Лада, как мертвый... Как оно и полагается покойнику... И лучше было бы не просыпаться, потому что... покойников можно только три дня держать в доме, иначе засмердит...

– Что ты говоришь? Я ничего не понимаю, – пониженным испуганным голосом спросила Лада, потирая лоб тонкими пальцами своей красивой руки.

Владимир молча подал ей два письма. Лада с испугом взяла их в руки и не сразу стала читать. Он отвернулся и стал смотреть в окно.

– Что тут? От кого?

– Прочитай!

– Я боюсь... Это рука Бориса... Он...

Замолкла, ушла в письмо. Лицо ее то бледнело, то загоралось полымем, грудь стала высоко вздыматься, рука с письмом дрожала, на ресницах сверкали и прыгивали на бумагу слезы. Упала лицом в подушку и замерла. Сделалась вдруг маленькой обиженной девочкой, которой так тяжело и стыдно, что хочется спрятаться. Владимир подсел на диван и ласково погладил ее по спине:

– Не бойся и не терзайся!.. Что ж делать, если жизнь так злобно подшутила над нами? Я все понял и все простил... И тебе, и Борису... И вот что, Лада. Я – покойник и не вос-

кресну для нашей... для наших прежних отношений. Но никто и ничто не может нам помешать быть друзьями во имя прошлого, невозвратного. Пусть из этого прошлого уцелеет хотя один обломок нашей любви – дружба! И во имя этой дружбы я тебе искренне скажу: я для тебя покойник, а Борис... Ты его любишь? Не скрывай! Сейчас надо говорить только правду, не надо бояться этой правды...

– Я люблю... вас обоих... – шепотом, не отрываясь от подушки, сказала Лада, задыхаясь от душивших ее слов.

– Это тебе так кажется... Ну а если бы судьба заставила тебя избрать одного из нас? Ну представь себе, что наша братская бойня потребовала бы от тебя отдать одного из нас... смерти... Чья смерть была бы для тебя... страшнее?

– Господи, как вы меня измучили!

– Родная моя, бедная... Проклятая жизнь ставит перед тобой этот вопрос. Не я, а проклятая жизнь. Если я уйду на фронт или вообще куда-нибудь, то Борис вернется к тебе... Я все равно должен идти или туда, или сюда, а Борис... он пошел добровольно, чтобы оставить нас с тобой...

– Он даже не простился со мной... Он жестокий... а ты – добрый... Я его боюсь, а тебя мне... только стыдно.

Снова жалость потоком хлынула и затопила душу Владимира. Он склонился и поцеловал Ладины волосы. Захотелось посмотреть в ее лицо, но она крепко впилась в подушку и отцепляла его руку, почувствовав его желание повернуть ее голову.



– Нет, нет, не надо. Так лучше говорить... Не стыдно... всю правду... – и она, захлебываясь от слез и волнения, порывами, начала бросать эту страшную «правду»... Она говорила, что отдалась Борису как во сне, от тоски по нему, Володечке, и от того, что он похож на Володечку и у него на руке, на том же месте, как у Володечки, – родимое пятнышко, а потом полюбила его, потому что он спас ее от смерти и не бросил в Новороссийске, когда она заболела тифом...

– Я его люблю и ненавижу. А когда его нет, то не могу: тоскую, как и по тебе... Не понимаю, что со мной, Володечка!.. Обоих вас люблю... Я никому из вас не буду женой... я хочу, чтобы вы оба были... тут, со мной. Я не хочу выбирать... Оба... со мной... Буду, как сестра вам... Пусть Борис женится и живет... с нами... И если ты кого-нибудь любишь, я не стану... сердиться... Тоже будете с нами... Боже мой, Володечка, я, верно, сойду с ума...

Владимир, слушая этот полубред превратившейся в ребенка женщины, едва сдерживался, чтобы не разрыдаться, и темный ужас безвыходности вставал перед ним угрожающими призраками близкого будущего. Казалось, что уже смерть тихо притаилась в этом белом домике и только ждет еще чего-то, что не кончилось и скоро должно кончиться... Такая безумная да вырвать этого ребенка-женщину из рук угрожающих призраков нового несчастья, страшнейшего и непоправимого, и сознание полного бессилия и его неустрашимости никакими человеческими силами!.. В своем детском

бреду Лада нечаянно, инстинктивно, женским чутьем своего материнства нашла единственный выход – в любви, очищенной от властвующего теперь во всех человеческих отношениях «Зверя», но для этого надо победить его внезапным преображением, приближающим человека к подобию Божьему. И другого выхода нет, и никакой ум, просветленный познаниями всего мира, не придумает иного... Нечаянная мудрость женщины, превратившейся в того из младенцев, устами которых глаголет сам Бог... Вот жертва любящей женщины-матери: она отказывается от плотских наслаждений во имя другой любви, извечно освещавшей путь человечеству... Может быть, и сама Лада не поднимет этой жертвы на своих плечах, но она хочет ее поднять и просит их, мужчин: «Помогите мне!»

– Лада! Если бы ты сразу сказала мне правду... и мы...

– Володечка! Я в эту ночь любила тебя, как тогда... давно, когда мы жили в моей комнатке после свадьбы... И все забыла, все забыла от радости... что вернулось то... Но это последняя ночь. Ее мне должен простить Борис, если ты простишь ему и мне...

Перестала плакать, только всхлипывала, как долго плакавший ребенок. Уже решалась показать на мгновение лицо, озаренное каким-то святым наитием. Такие лица встречаются на картинах Нестерова... Уже улыбка пугливо, как зарница ночью, моментами вспыхивала на этом одухотворенном человеческом лице...

– Лада!.. Я должен увидеть Бориса и все сказать ему... объяснить... Я думаю, что смогу... быть тебе только братом, но...

Лада села, перестала прятать лицо. Озарение вдруг потухло, и на лбу обозначилась складочка:

– Борис... Он... посмеется... А может быть, он... Его любовь жестокая, Володечка... Ты добрый! Понимаешь... Он грубый стал... и в любви, и в ласках... Я стала бояться его ласк... Ему приятно делать больно, оскорбить, а потом... Он совсем переменялся...

– Но если он тебя...

Лада испуганно оборвала:

– Нет, нет! Не думай! Он меня любит... очень сильно любит, но...

Лада спрятала лицо в подушку и договорила:

– Иногда он ласкает, и кажется, что хочет... убить... Лицо страшное, как у зверя... Один раз... Нет, не могу тебе рассказать это... Стыдно...

– Не надо. Не говори.

– Это было так страшно... Я думала, что он сошел с ума...

Ты не такой.

Притихла. Потом, изменив тон, спросила, не поднимая лица:

– Ведь неправду он мне рассказал, что один раз вы напоили допьяна грязную бабу и...

Владимир вспыхнул, потупился и тихо произнес:

– Правда... Мы все стали зверями, Лада...

– А я не поверила, что и ты... Ты мне изменял? Там, на фронте?

– Да. Все мы там... Жизнь там, Лада, звериная...

Лада опять села. Сделалась грустной и вялой.

– Ну... и я такая же... и для вас обоих только как «пьяная баба»...

– Нет, Лада... Это другое.

Несколько минут тому назад казалось, что выход найден, и душа Владимира просветлела от озаренного тихим нездешним светом лица Лады, а теперь точно снова свет погас, и в душе – сумерки. Разве это неверно, что есть две «правды», Божеская и человеческая? Промелькнула в душах правда Божеская и потухла от «правды человеческой». Потому что теперь в этой правде жил «Зверь из бездны». И он выглянул... и испугал обоих... «Володечка», стоявший после своей «смерти» в Ладиной душе, как святая икона, на которую она молилась в минуты скорбей и тоски, «ее чистый, добрый и непорочный Володечка», перед которым она так грешна, – давно уже, еще раньше ее самой, опоганил любовь вместе с Борисом на «пьяной бабе». Такой же, как все, как Борис...

Лада долго смотрела неподвижным взором в пространство и потом вздохнула:

– Ты что?

– Так. Не знаю... Скучно. И страшно...

Лада вдруг почувствовала смятое в руке второе письмо, развернула и стала читать:

– Не понимаю. Кто это? К кому?

– Это пишет твой отец. Ко мне. Видишь: я все равно не могу остаться...

– Но какой же ты красный или зеленый? Ведь это – ложь.

– Был у белых, потом – у красных, потом – у зеленых, а теперь и сам не знаю... какого цвета. Скажи своему отцу, что я пестрый. Или – серый... Вроде «волка», и скажи еще, чтобы лучше не трогал волка, а то он съест. Когда «волка» травят, он делается бешеным... Видно, с волками жить – по-волчьи выть... Защитники «священной собственности»! Забыл, что он живет не в Москве в собственном доме, а в Крыму в моем доме, и предлагает оставить мне мой дом, называя его тоже собственным...

– Что с папой?.. Он тебя так любил...

– Лада! Ты здесь? – спросил голос за дверью.

– Здесь, папа. Войди!

Лада отворила дверь. Старик не вошел, остался у двери:

– Мне бы нужно было поговорить с тобой... наедине.

– Моя жена читала письма... У меня от нее нет никаких секретов. А потому говорите прямо... Кстати, и мне надо вам ответить на письмо, писать я разучился...

– Все, что я хотел, я вам высказал в письме... и больше ничего не имею.

– В таком случае я скажу... Вы в письме делаете весьма

существенную ошибку: я, моя жена и мой ребенок живем не в вашем доме, а в моем.

– Я, собственно, неверно выразился... Я хотел сказать не в доме, а в квартире, в смысле одного помещения, под одной, так сказать, кровлей...

– В таком случае, найдите себе другое помещение. Я вас не задерживаю.

– Ах, вот что...

– Папа, ты не имеешь права... Ты... лучше не вмешивайся в наши отношения!

– Но если не вмешается твой отец, то может вмешаться кто-нибудь другой. Это будет хуже для всех. И поскольку я твой отец...

– Папа! Уйди! Оставь!.. Не ваше дело... Я не девочка...

– Ты не девочка, но... ты... Тебя надо лечить!..

Лада вздрогнула всем телом. Ей часто чудилось, что она сходит с ума, и теперь, услышав от отца, что «ей надо лечиться», Лада с ужасом подумала: «Значит, это правда?..» Может быть, она сама не замечает, что это уже случилось, а другие видят и понимают? Лада на мгновение отдалась этой мысли, и ужас скомкал ее душу. Она испытующе метнула глазами на отца, на Владимира. Почему он смотрит на нее с такой жалостью и тоской в глазах? Он тоже замечает, но скрывает? Вспомнилось, как в далеком детстве она с матерью была однажды в сумасшедшем доме у «тети Дуни» и видела ее в «смирительной рубашке», точно в саване. Неужели и ее ждет

тоже самое? Нет, нет!.. Она не хочет... Лучше смерть, чем этот ужас безумия, превращающего человека в страшное и грязное животное...

– Не смотри на меня так! – закричала вдруг Лада на Владимира и выбежала из комнаты. Заперлась с девочкой, схватила ее на руки и, точно стараясь убедиться, что ничего не случилось с ее мозгом, начала разговаривать с ребенком, радуясь, что и она, и девочка понимают друг друга, как всегда... Когда Лада выбежала из комнаты, отец проводил ее испытующим взором и произнес:

– Вот, видели? Это – на вашей совести!.. Замучили вы ее.

Старик заплакал, прижавшись у косяка двери. Вынул платок и в него плакал, точно смеялся потихоньку. А из Ладинной комнаты доносился звонкий и веселый, похожий на птичье пение голосок девочки, игравшей в мяч с мамочкой.

И опять душа Владимира очистилась от злобы: стало жаль всех и даже этого старика, которого он минуту тому назад готов был избить и вышвырнуть из дома.

– Все мы ненормальные... все сумасшедшие!.. – говорил он, ходя взад и вперед по комнате. Подошел, положил руку на плечо старика и тихо сказал: – Не плачь, старина!.. Волк уйдет... Все будет, как вы пожелали... Идите ко мне в комнату!.. Поговорим по душам.

Он взял старика под руку, и тот, продолжая отирать слезы, покорно пошел за ним. Владимир усадил его на диван, запер комнату и стал осторожно, чтобы не услышала Лада,

говорить:

– Я хочу сделать все, что могу, для Лады и нашего ребенка. Я готов исчезнуть с лица земли, если это потребуется для их спасения и благополучия.

Старик изумленно поднял лицо и покашлял:

– Вы всегда были... благородным человеком, Владимир Павлыч...

Владимир ухмыльнулся. Был! А теперь? Когда воскрес из мертвых? Очевидно, воскрес «подлецом»... Ну да не в этом дело.

– Мне выхода все равно нет...

– Полноте вы, пожалуйста! Пойдете на фронт, все заглядите и опять будете героем, каким были раньше...

– Вот в том-то и дело, что героем не буду. Не верю белым, ненавижу красных и тоже не верю им... Просто не верю! Все идеи потонули в грязи и в крови. Одни обманывают, другие обманываются, и все вместе занимаются убийствами, разбоями и разрушением... И не только сами занимаются, а еще принуждают к этому и все население.

Старик насупил брови и молчал. Он не знал всей правды жизни, и слова Владимира глубоко оскорбляли его в той части, которая относилась к белым. Белые неизменно оставались для него только «героями», и он не верил, что они способны на грабежи, насилия, расстрелы и что к этому движению давно уже примешались и его опоганили «живые покойники», мечтавшие воскреснуть в прежней славе и блеске,



мстящие народу за свои убытки и обиды, и разные аферисты, ловившие рыбу в мутной воде.

– Вас распропагандировали большевики, когда вы у них жили, Владимир Павлыч... Вы стали рассуждать совсем иначе, чем...

– Жизнь, а не большевики. Но не в этом дело. Если жизнь все-таки заставляет продолжать убийства, то не все ли равно на какой стороне? Убивать без идеи и веры – это самая страшная из мук для интеллигентного человека.

– Ну-с!

Старик ждал, что еще скажет Владимир. Сдерживал свое раздражение и ждал.

– Так вот... Я отправлюсь в Севастополь, постараюсь увидеть Бориса, уговорить его вернуться, а сам...

– Куда же вы... сами?

– А там видно будет.

– Но Лада...

– Пусть для нее останусь прежним героем... Это потом... после.

Старик встал, подошел к Владимиру, обнял и, целуя, опять заплакал, словно потихоньку засмеялся у него на плече. Владимиру уже не было жаль этого заживо оплакивавшего его человека, а был он ему противен. Но скрыл.

– Ну, не надо! Оставим эти сентиментальности...

Старик ушел с успокоением: все как-то устроилось.

Но когда Владимир остался один и стал думать, то вышло,

что ничего не устроилось, а все осталось, как было, неразрешенной загадкой. Нет сил убивать людей. И некуда уйти от всех этих белых, красных, зеленых. Слушал беспечный лепет своего ребенка и цеплялся за этот чистый прозрачный лепет. Вошла вдруг Лада с ребенком на руках, улыбается и говорит:

– Поцелуй папочку!

– Дядя?

– Папа, а не дядя.

Владимир протянул руки. Девочка недоверчиво улыбалась, но не шла.

– Это же папа!

Девочка смотрела смеющимися глазами на Владимира и вдруг согласилась, протянула ручки и сказала:

– На!

О, с какой необъятной радостью и благодарностью Владимир в первый раз держал своего ребенка. Безграничная любовь засветилась в его душе и радостью напитала все тело. От этих чистых прозрачных глазок, от теплоты маленького тела, от трогательной колючий подбородок бархатной ручонки было можно умереть от счастья. И лицо Лады опять сделалось просветленным и счастливым, и казалось, что все проклятые вопросы так просто разрешались через этого маленького человечка... Уйти от него? Нет сил. Весь мир отдал бы за этого маленького человечка на руках, умер бы за него!

– Володечка! Папа говорит, что ты решил опять посту-

пить в армию? Но я тебя не отпущу так скоро. Ты поживешь, отдохнешь, а потом... Тебе не хочется в армию? Ты устал? Проклятая бойня! Когда она кончится, и мы...

Тут Лада опять заговорила о том, что они будут жить все вместе... И вдруг оборвала и радостно так огляделась по сторонам:

– Борис вернется, а ты... Я тебя спрячу и буду приходить к тебе с...

Лада показала на девочку. Потом стала шепотом, радостным и торопливым, рассказывать неожиданно пришедший ей в голову план – спасти от бойни обоих: и его, и Бориса. Борис вернется, а Владимир убежит назад и будет прятаться в «хаосе»...

– Помнишь нашу пещеру под соснами? Там никто никогда не найдет!

А она будет ночью класть в условленное место пищу, а вода близко: там есть ямка, в которой всегда стоит вода из подземного источника. Будет приходить к нему... и даже с девочкой.

– И меня поймают и как дезертира... Владимир возражал, но мысль Лады уже владела им. Да, это единственный выход для него, не желающего убивать людей, все равно каких: красных, белых или зеленых. Только надо хранить тайну и быть осторожным.

– Разболтаете... Кому-нибудь скажешь... Пьяный Борис как-нибудь неосторожно... или твой отец, вообще... риско-

ванно.

Лада стала клясться, что никто не узнает. Даже и Борису не надо говорить.

– Только я и девочка! А она не расскажет... Не сумеет... А потом все пройдет, кончится...

– А зимой?

– Какая у нас зима, Володечка? И снегу не бывает. А там можно устроить... сделать теплую комнатку.

– Положим, мне не привыкать...

Неожиданная мысль Лады захватила обоих. С бешеным вихрем обсуждал Владимир этот план. Хотелось сейчас же пойти в «хаос» и убедиться, что все это приемлемо. Он помнил те места: там действительно сам черт не найдет. Если будет обеспечена пища, можно год прожить совершенно спокойно. А что будет через год – кто теперь заглядывает на год?.. Прожил день – и ладно.

– Выследят, куда ты ходишь, и могут раскрыть...

– Володечка! Я буду хитрой, как лиса. Я знаю все тропинки и, как лиса, буду заметать все свои следы... Я и раньше гуляла, ходила за сосновыми шишками... одна, в тот конец, и там же никого нет, только птицы. Пойду пасти нашу козу, а сама спущусь в хаос к тебе... И никому в голову не придет...

– Постой, постой! А как же...

– Отправишься на фронт, а сам – сюда и прямо в хаос!.. Пойдем сейчас погулять и незаметно спустимся в хаос, отыщем нашу пещеру и условимся, как видеться, как переме-

нить место, если опасность, где мне прятать пищу...

Оба загорелись радостью такого неожиданного плана – спастись от «бойни», и лица их сверкали улыбками. Точно и ребенок понял их радость и захотел принять участие в ней: глядя на смеющуюся маму, девочка вдруг тоже громко засмеялась и захлопала в ладошки. Это было неожиданно, но так кстати, что и Лада с Владимиром засмеялись. Поняла и одобрила!

– Теперь тебе не надо прятаться: приехал какой-то знакомый офицер к Борису и потом уехал...

– А знаешь, Лада, я вдруг страшно проголодался.

– Голубчик! Я тебя накормлю...

Лада вышла, Владимир остался с ребенком. Ничего, Евочка освоилась и не боялась больше «чужого дяди». Прилив любви и нежности к ребенку снова загорелся в душе Владимира бурным пламенем. Он целовал девочку, щечка ее усами, а та откидывалась навзничь и звонко хохотала. Целовал в глазки, в шейку, в обнаженный животик и пьянел от радости и счастья, связанных с сознанием себя отцом этого крошечного чистого ангела... Уйти от него? Нет, это невозможно! Можно согласиться прожить целый год в берлоге медведем, лишь бы, хотя раз еще вот так же подержать и поцеловать сотворенного по образу и подобию Божьему из твоей крови и плоти маленького человека. Весь мир только в нем... Только в нем весь мир!..

## Глава двадцать пятая

И вот опять солнышко тихой успокоенной радости, казалось, вернулось в беленький домик с колоннами. Все «разрешилось» неожиданно и случайно. Пришла счастливая мысль в голову и повернула руль жизненного корабля. Старики, не ведавшие «тайного плана», представляли себе дело разрешенным именно так, как им хотелось: Владимир идет на фронт, а Борис возвращается; про Владимира, согласившегося снова превратиться в «покойника», они говорили: «А все-таки, он очень порядочный человек, хотя и...»

Не договаривали: «хотя и пошатнулся». Лада с Владимиром, связанные «новой тайной», тоже облегченно вздохнули, отдыхая от нервной усталости, вызванной безысходностью положения, в котором было очутились; он думал о великом счастье – никого не убивать, быть только отцом ребенка и братом Лады, спасаемой из бездны грозящих ужасов так просто; Лада думала о счастье не потерять ни Владимира, ни Бориса и любить их обоих не как мужей, а как своих братьев, жизнь которых, переплетенная с ее жизнью и прошлым, и настоящим, и будущим, – кажется, у нее будет ребенок и от Бориса – ей одинаково дорога.

Тихое умиротворение опустилось в беленький домик после бури страстей звериных... Владимир проживет два дня и отправится в Севастополь искать Бориса, а пока – прочь все

обиды, заботы, всю эту бессмысленную трагедию семьи! И не стоит больше прятаться: привел себя в полный порядок, побрился, отмылся, нарядился в форму брата... Лада восхищенно смотрела на Владимира, и ей казалось, что ничего не случилось, а все вернулось.

– А знаешь, Володечка, ты совсем мало изменился!

– Ну, вот... опять прежний герой! – сказал старик, увидя зятя в новом виде.

– А где же «Георгий»?

– Потерял. Можно и без орденов.

– Необходимо купить. Как же это, Владимир Павлыч, не носить «Георгия»?

– Чины и ордена людьми даются, а люди могут обмануться...

– Все шутите?.. С такими вещами следовало бы... Борису Павловичу тоже обещали «Георгия»... Он неприятельский пулемет захватил.

Девочка, увидев Владимира в офицерской форме, в первый раз назвала его «папой» и, протянув ручонки, попросилась сама к нему на руки:

– Папа, на!..

– Вот видите: и дочка признала вас, наконец, отцом, а то все были «дядей», – наставительно заметила бабушка.

После ужина Лада с Владимиром пошли погулять. Жаль было оставлять девочку, которая пожелала сопровождать маму, но взять ее было нельзя, потому что они шли в хаос.

Так хорошо вышло: никто не встретился и никто не видал, как они, пройдя немного дорогой, скользнули в лес и скоро очутились в безлюдной части имения. Шли напрямик, избегая тропинки, то лезли в гору, то спускались. Очутились в полной безопасности: ни дорог, ни тропинок больше не было. Над головой повисли скалы хаоса. Владимир забыл уже когда-то знакомые ходы и выходы в этом природном лабиринте, но Лада, вспоминая прошлое, бывала здесь иногда одна, иногда с Борисом: она была теперь проводником. И все-таки запуталась и долго не могла выйти из заколдованного круга огромных камней, повитых соснами и ползучими плющами. Не так трудно было сюда залезть, но очень трудно вылезть. Кругом неприступные стены. Но как же они сюда попали? Чудилось, что кто-то повернул камни нарочно, чтобы они не вылезли. Бились, бились, и вдруг оба захохотали: в заросшем углу, сквозь плющи темнела нора. Юркнули туда, низко нагнувшись, и очутились в коридоре. Знакомый коридор! Теперь Лада поняла, где они.

– Иди за мной!..

Прошли узким коридором и очутились на густом зеленом дворике.

– Помнишь? – спросила Лада.

Еще бы! Сколько раз, счастливые любовники, напившись допьяна из кубка взаимности, грезили здесь несбыточными сказками наяву, лежа на мягком шелковом мху, обнявшись.

– Помнишь, Володечка?



– Да, да... здесь... А где же пещера?

– Да вот она!

Владимир стоял, озирая дворик и украшенный плющом вход в знакомую пещеру. От воспоминаний кружилась голова. Вспомнил, как однажды они, совершенно свободные от одежды, как первые люди в раю, бродили по дворику и не стыдились друг друга.

– А вот твоя надпись, Володечка!

На сером камне нацарапана дата: «12 мая 1916 г.». Прошло столько лет, а показалось, что это «12 мая» случилось только вчера. И от одного воспоминания об этом дне сладкий трепет побежал по телу, а глаза, встретив друг друга, затуманились дымкой набегавшей страсти... Сколько раз Лада нарочно приходила сюда одна, чтобы вспомнить свое далекое счастье с «покойным Володечкой»! Всегда приходила одна и не показывала этого дворика Борису. Это было ее «святое место», куда только одна она могла ходить, чтобы тайно поплакать в этом храме любви, разрушенном жестокой жизнью. И вот теперь она в этом храме вместе с Володечкой... Как «эхо» прошлого, звучало это «12 мая» в тайниках души и тела испугавшихся самих себя Лады и Владимира. Ведь они теперь только братья!.. Только братья! И потом она, Лада, кажется, уже второй месяц носит во чреве ребенка от Бориса...

– Володечка. Не надо, голубчик...

– В последний раз, Лада.

– Но, милый, я не могу... нет, оставь меня.

Слабо отстраняет рукой опьяневшего от воспоминаний Владимира, а у самой пьяные, пьяные глаза, и зеленый мох под ногами точно плывет, как озеро, изумрудное озеро...

– Нет... нет...

Отбежала к каменной глыбе и спрятала лицо в плющах. Господи, что же это? Нет, нет... не надо...

– В последний раз, – шепчет в ухо задыхающийся мужской голос, и она падает на зеленый мягкий ковер... Небеса, как море, и на нем тихо покачиваются мохнатые лапы сосен. Чуть слышно вздыхает приливом море. Поют птицы, и кажется, что земля плывет из-под ног Лады и она летит на крыльях все быстрее, быстрее... и умирает, теряя сознание пространства и времени...

Потом – пробуждение. Она сидит и плачет. Смеется и плачет, шепчет:

– Я схожу с ума...

Владимир жадно курит, руки его дрожат, как у преступника. Он боится посмотреть на смущенную Ладу.

Молчаливые, испуганные и печальные, идут они друг за другом, точно первые люди после изгнания их из рая... Избегают смотреть друг другу в глаза. Ах, зачем все так случилось? Точно снова выпили яду, от которого опять отравились бессильем и перестали верить в неожиданно обретенный путь спасения.

– Не грусти!.. Больше этого не повторится... Лада, слы-

шишь? Это в последний раз...

Молчит. Идет с поникшей головой. Владимир взял ее под руку, что-то тихо говорит, возвращаясь к деловой тайне. Лада не слышит. Она шепчет:

– Я, Володечка, гадкая...

– Перестань!.. Природа сильнее нас.

– Я опять противна сама себе... Точно та «пьяная баба», которую вы...

Вернувшись домой, Лада, как утопающий за соломинку, схватилась за свою девочку. Чувствуя себя виноватой перед этим чистым ребенком, Лада прижимала его к груди и шептала:

– Ты простишь? Да, простишь свою гадкую маму?

Детские глаза смеялись глазам матери, маленькая ручка похлопывала маму по щеке: все простит! все! Ведь этот ангел – тоже живое «эхо» того памятного дня, который запечатлен датой «12 мая» на камне... Может быть, в этот день и свершилось чудо сотворения этого ангела без крылышек...

На третий день рано утром Владимир поехал с рыбаками в Балаклаву, чтобы оттуда по следам Бориса отправиться в Севастополь. Его все провожали. Старики еще более успокоились: Лада смеялась, а не плакала, – конечно, она любит Бориса. А Лада, проводив мужа, вся ушла в свою «тайну». Каждый день она уходила пасти козу в дикие места имения и понемногу устраивала гнездо в «хаосе» для Владимира. Как крот, таскала она туда сухари, сахар, яйца, бе-лье, теплые ве-

щи, одеяло, подушку, всякую всячину. Приготовляла это ночью и прятала около домика, а потом заходила и переносила незаметно для стариков. О, у ней появилась действительно лисья хитрость! Незаметно исчез ковер, керосинка, пропали в кухне сковородка и кастрюля, из буфета – два стакана. Бабушка руками разводила:

– Кто-то ворует.

– Кому, мама, воровать?

– Ну а ковер? Где он?

– Куда-нибудь сами засунули и забыли.

– Удивительно.

Зато в «хаосе», в потайной комнатке, становилось с каждым днем уютнее. Набитая сухим мхом наволочка, простыня, подушка и одеяло, ковер на полу, столик из накрытого цветной скатертью ящика, в каменной выемке, словно на буфетной полке, посуда, керосинка, спички, мыло и даже зубная щетка. Спустя несколько дней все было готово... Лада ждала: на условленном месте должен был появиться знак «дома!» – четыре камня, сложенные пирамидкой. Пирамидка не появлялась. Каждый день ходила к этому месту и с трепетом смотрела: нет! Опять нет! Однажды не поверила камешкам и спустилась в хаос: нет! Комнатка пустая. Полежала на постели, почитала приготовленную книгу, погуляла на зеленом дворике, долго смотрела на заветное «12 мая» – тоска хлынула в душу. Точно пришла на свою собственную могилу. И так каждый день проходил в ожидании и кончался

тоской и тревогой. Приходили в голову разные мысли: обманули и бросили, оба ушли на фронт, и, может быть, обоих убьют. Надо было Владимира не отпускать, спрятать, а самой поехать за Борисом.

Владимир Паромов настиг брата еще в Балаклаве. Собирался он на фронт, но застрял: встретился с «Карапетом» и другими приятелями из «тыльных героев» и несколько дней кутил с ними «на прощанье». Как же не выпить, быть может, в последний раз? Позади осталось «нечто», рождающее не то обиду, не то упрек совести, не то чувство оскорбленного самолюбия. А это тоже располагало к вину, к бесшабашной песне, к разгулу. На всем надо поставить крест. Может быть, даже над самим собой. И вдруг – брат Владимир.

– Володя! Ты тут зачем?

Был уже пьян и в высшей степени задушевен, склонен к всепрощению. Даже обрадовался. Точно ничего между ними и не было.

– Хорошо, что я тебя поймал...

– Прекрасно! «Я очень, очень рад», – пропел фальшивя Борис и налил брату вина через верх:

– Полно жить, брат, тебе! Пей и все забудь! Наша жизнь коротка, все уносит с собой... Споем, ребяташки, «наша жизнь коротка»!..

Давно не был Владимир в пьяной компании. Отвык. Пил и не пьянел. Никак не мог слиться с пьяным настроением, и вся компания казалась ему неприятной, раздражала шу-

мом, нестройным пением, гоготанием и пошлыми похабными анекдотами. Разве можно в этих условиях говорить с братом серьезно да еще о таком интимном и щекотливом деле? И вот он валандался с этой компанией несколько дней, прежде чем нашел, наконец, момент, подходящий для душевного разговора наедине. Было утром: компания ушла купаться, а Борис не захотел, остался дома с братом...

– Надо, однако, кончать и ехать... Предлагают мне командовать ротой в отряде особого назначения... Против зеленых.

– Вот что, Борис!.. Я приехал, чтобы искренно объяснить с тобой и решить... судьбу Лады...

– А! Опять? Разве я не сделал все, что я мог и что требовалось?

– Но ты решил без Лады. Так нельзя... Надо было всем нам объясниться, и тогда только...

Борис махнул рукой и позвонил мальчишку, чтоб послать за вином.

Но Владимир подсел к нему и ласково сказал:

– Боря! Надо пожалеть Ладу... Она любит тебя, и потому... так нельзя.

– Говори, Володя!.. Я готов... на все! Если ты потребуешь дуэли, я тоже готов, хотя я... ни в чем не виноват... И твоя жена тоже...

– Теперь, Борис, не в том дело, кто виноват. Никто не виноват. Теперь дело в другом вопросе: что сделать, чтобы

всем трем было лучше, и как это сделать?..

– Не знаю.

– Ты выслушай меня, и тогда уж мы...

Не раскрывая своей «тайны» в хаосе, Владимир предложил брату согласиться с тем, чего потребует от него Лада.

– Хорошо. Согласен.

– Ну вот видишь. Я всегда верил, что ты честный человек. Так вот, я привез тебе это решение Лады: я должен уйти, а ты вернуться к ней. Вот я и поступлю вместо тебя в этот отряд особого назначения, а ты... ты поезжай к Ладе и живи... там, как прежде.

– Ничего не понимаю...

– Ты, вероятно, будешь отцом. Лада не в силах потерять тебя... А я... я был только призраком прошлого. Ты совершенно верно назвал меня «воскресшим покойником»... Это, брат, верно. Неверно только, что я воскрес. Умершая и похороненная любовь не воскресает. Призрак! Явился и исчез!.. Вот и все, чем я был там в эту... странную ночь, оскорбившую тебя... Прости и забудь!

Борис не был чувствительным, но сейчас его нервы были взвинчены долгим кутежом. Дрогнули и зазвенели плачем. О чем он плакал?

– Нет, нет, Володя... Для меня ты... брат, не покойник, а живой брат... Я понимаю, я все понял и простил... А ты меня простил? Ты?

Обнялись и стали целоваться. А потом пришел мальчиш-

ка с вином и вернулась с купанья компания. И опять все началось снова. Теперь прощались с Владимиром, уезжавшим на зеленый фронт.

– Только, брат, не убивай Орлова! Нет, не трогай! Его никто не понимает, а ты пойми! – говорил молоденький подпоручик, объясняя Владимиру «Орловскую легенду». – Если бы побольше было таких Орловых, мы давно были бы в Москве.

Карапет сделался воинственным и, чокаясь с Владимиром, кричал:

– Резать всех надо! Чаво жалеть?

– Молчи, дикая дивизия! Ни черта не понимаешь...

– Ты мне оскарбляешь?

– Иди к чертям! Орлов – идейный человек, а ты – мясник...

– Ты мне оскарбляешь? – угрожающе закричал Карапет и схватился за кинжал. С трудом разняли и предупредили готовое свершиться кровопролитие. Потом мирились, пели: «Карапет мой бедный, отчего ты бледный», и Карапет танцевал дикую лезгинку. Вечером паровой катер уходил из Балаклавы на пост береговой охраны, и вся компания, простившись с Владимиром, уехала, а Владимир отправился в Севастополь.

Прошла мучительная неделя. Лада собиралась было уже наутро ехать с рыбаками в Балаклаву, а оттуда в Севастополь искать братьев, но глубокой ночью, когда в белом домике все



спали, на балконе послышался смех и шум. Лада проснулась, послушала в раскрытое окошко и узнала голос Бориса. Наконец-то! Сбывается все... Может быть, и Владимир уже «дома»? Но кто с Борисом? Голос знакомый, но не может догадаться.

Это был «Карапет». Борис приехал на катере из Балаклавы на «береговой пункт», а оттуда на шлюпке вместе с «Карапетом» сюда. Оба были «на взводе», привезли с собой несколько бутылок вина и теперь, стараясь никого не беспокоить, расположились лагерем на балконе. То стихали, то, позабыв о спящих, хохотали громко, позванивая стаканами и бутылками. Не стоит появляться. Лучше запереться от пьяных. Пусть их одни... Пьяный Борис груб и страшен, а Карапет лезет с пошлыми комплиментами, забывается, смотрит на нее такими страшными глазами, точно хочет зарезать... Бог с ними! Проснулся дедушка, обрадовался Борису и присоединился, не обращая внимания на призывы сердитой бабушки. Долго Лада слышала взрывы хохота и гортанный густой говор Карапета, – задремала. На рассвете очнулась: кто-то застучал в стекло окна. Подняла с подушки голову: Борис! Знаками просит отворить окно, посылает воздушные поцелуи и протирает руки для объятий... Ведь, теперь он снова муж, восстановленный в своих правах, почему же она «разыгрывает эти прелюдии Бетховена»? Ведь сама она послала Владимира вернуть его, стало быть... Пьяному Борису показалось оскорбительным, когда Лада занавесила окно

темной шалью. Сама молила вернуться, и вдруг такая встреча! Крепко застучал в окно, с раздражением.

Испугает ребенка. Спрыгнула с кровати, подняла шаль, приоткрыла створку окна:

– Борис! Как тебе не стыдно? ты испугаешь ребенка...

– Пусти меня!..

– Не могу... Ты пьян, Борис. Иди и спи!

Опустила шаль, а Борис продолжает стучать.

Опять разговор чрез приотворенное окошко:

– Я хочу тебя обнять...

Захвати створку окна и не дает запереть его. Хочет лезть в окно. Уронил что-то.

– Все равно, я не пущу...

– Ах, вот как? Тогда на кой черт ты меня вернула?

– Боря! Не кричи же.

– В таком случае я сейчас уезжаю с рыбаками... Такого издевательства я не позволю над собой...

Бросил створку окна и сердито пошел прочь. Уедет! Он такой вспыльчивый и самолюбивый... Лада несколько мгновений стояла у окна, слушая, как скрипят по песку и гальке удаляющиеся решительные шаги, потом накинула на плечи шаль и бросилась на балкон:

– Борис! Вернись!

Обернулся. Она поманила его голой рукой из-под шали. Идет обратно и смеется. Запугал. Так приятно ему, пьяному, сознание своей власти и своего могущества над этой женщи-

ной...

– А Карапет... он...

– Уехал. Неужели я позволил бы себе при Карапете?..

– Но постой же... Лучше иди спать... Завтра... Вон, идет кто-то. Постыдись!

Лада нырнула в комнаты. Не успела запереть за собой двери: Борис ворвался как зверь.

– Борис... Девочка проснулась... Опомнись же!.. Тогда лучше я приду туда, в твою комнату...

Борис крепко впился пальцами в ее руку и потянул за собой. Словно коршун поймал голубку...

Спустя полчаса Борис спал, наполняя комнаты тяжелым храпом. А Лада сидела в постели и плакала... Поджала ноги, сжалась в комочек, сделалась маленькой, как девочка...

Плакала потихоньку. О чем? О своем бессилии, о своем ничтожестве, о том, что она гадкая, безвольная, не может расправиться до прежней женской гордости. Не жена и не любовница, а так, какая-то игрушка для любовных приключений. Тогда, в хаосе, с Владимиром, теперь с Борисом. Там хотя было нечто захватившее, красивое, овеянное призраками былого счастья, а здесь... как та «пьяная баба», о которой рассказывал однажды пьяный Борис. Здесь только надругательство над душой и телом, грубое, звериное надругательство...

– Мамочка?

Теперь страшно смотреть на ребенка, взять его, чистого и

святого, на руки. Поганая, вся поганая!..

– Спи, деточка!.. Я – гадкая, поганая!..

Девочка не могла заснуть. Слышно было, как храпел пьяный Борис. Должно быть, он неудобно лежал головою на подушке: храпел тяжело, неприятно. Девочка боялась, капризничала и просилась к матери.

– Погоди, деточка...

Лада умылась душистым мылом, отерла лицо, грудь и руки одеколоном: все казалось, что от них пахнет вином и водой. Потом взяла к себе в постель девочку:

– Там, мама, у-у! Букашка.

– Не бойся. Это – дядя...

– У-у, мама!

Крепко прижимала к груди ребенка, а сама потихоньку плакала. Думала о том, что не любит Бориса, а любит только Владимира... Зачем она вернула этого грубого человека, который так безжалостно растоптал ее душу? Что это за волшебная сила в этом человеке, заставляющая ее подчиняться? Ненавидит и все-таки... отдается. Вот Владимира она любит совсем по-другому... А что если Владимир не вернется? При этой мысли ей делалось страшно, и росла неприязнь к Борису. Казалось, что она любит и всегда любила только Владимира, а с Борисом... только так «случилось»...

## Глава двадцать шестая

Это случилось в конце августа. Белые отбили захваченный красными город Александровск. Много пленных, несколько поездов и в том числе подвижной лазарет с больными и сестрами. Пленных погнали в город. Красноармейцы все оказались насильственно мобилизованными и сейчас же пожелали сделаться «белыми» и, вступив в белую армию, стали добросовестно истреблять красных, как недавно истребляли белых. Расстреляли только подозрительных «по культурности», то есть сделали то же, что всегда делали красные. Судьба сестер была ужасна. Как у красных, так и у белых – сильно любили «своих» сестер и яростно ненавидели сестер вражеской стороны. И тем, и другим вражеские сестры казались ненавистной тварью. «Зверь из бездны» ненавидел в их лице любовь и милосердие, прикрывавшиеся символом «красного креста». Такие души, как Вероника, оказавшаяся в числе пленных сестер, были непонятны обеим сторонам... Быть может, если бы сестры попали под опеку более культурного человека, а не белого фанатика из прежней «черной сотни», то все случилось бы иначе, и Вероника, счастливая своим долгим и тяжелым подвигом любви, попала бы в автомобиль какой-нибудь значительной «особы» и полетела бы на южный берег моря искать своего жениха, но случай решил иначе. Красивая гордая и смелая культурная девушка, так

резко выделявшаяся среди других пленных сестер, привлекла особенное внимание и ненависть белого фанатика... «Те – по глупости, а эта... сволочь! Знала, куда и зачем пошла».

– Ну, красная сволочь, за мной!..

– Куда их ведешь?

– На осмотр.

– Вон эту хорошенькую просмотри! – посоветовал казак с Дона, ткнув пальцем на Веронику и подмигнул глазом.

– С этой – особый разговор...

Козаки и солдаты встречали «процессию» смехом и похабными шутками.

Путь до «контрразведки» был сплошным надругательством. С ними обращались, как с публичными женщинами. Надругатели получали к этому импульсы и находили оправдание своему издевательству еще в том, что одна из сестер, простая женщина, не смущаясь, огрызалась от нападающих тоже злыми циничными ругательствами, мало уступая мужчинам. Она была сиделкой, а попала тоже в число «сестер милосердия», у нее недавно белые убили любовника, и потому она была зла и мстительна на язык, жалилась, как змея. Вероника шла, потупя взоры, подавляя все протесты души и надеясь, что скоро все выяснится и кошмар исчезнет...

В тюрьме то же самое. Полутемный коридор, звон оружия и прогон сквозь строй надругательств и откровенного цинизма. Открыли дверь большой, похожей на подвал камеры, где уже было много женщин, и гуськом загоняли туда сестер...

Стоявший в дверях страж, напоминавший рыжего медведя, пропуская Веронику, не сдержался и схватил сзади обеими руками под груди:

– Гы! – закричал он, комкая грудь Вероники. Вероника наконец потеряла способность сдерживаться: отшатнулась и ударила по лицу медведя. Тот захохотал, пихнул ее кулаком в спину и, захлопывая дверь, произнес:

– Вот ты как? Ну, погоди... сочтемся.

Что ж это такое? Куда она попала? Опять в «звериное царство»? Точно избитая, исхлестанная по лицу, лежала она в полутьме на наре, отвернувшись лицом к сырой, пахнущей плесенью стене и старалась прийти в себя от оскорблений, которые, казалось, прилипли к самому телу и грязнили его. Вечером, когда в камере появился свет, пришел и стал в растворенной двери полупьяный молоденький безусый прапорщик и стал переписывать арестованных сестер...

– А вон та, в черном?

Соседка толкнула в плечо Веронику.

– Вас спрашивают.

– Ты кто такая? Имя и фамилия?

– Потрудитесь говорить со мной вежливее...

– Ого! Ты, кажется, не сестра, а комиссарша? А? Ерусалимская дворянка?

– Ошибаетесь!

– Ну а бить по физиономии чинов армии у нас не разрешается. За это у нас по головке не гладят.

– Стратонов? Она тебя ударила?

– Энта самая. Я до нее чуть дотронулся, а она обернулась да как ахнет...

– Отведи ее в одиночную.

Вероника очутилась в распоряжении «медведя».

– Огонь там не зажигать, Ваше благородие?

– Ладно, и в темноте посидит...

– Ну, иди за мной! Живо!

– Потом ко мне ее в «дежурную», на допрос!

– Слушаюсь.

«Медведь» пошептался с прапорщиком и повел Веронику в одиночную...

– Вот видишь: в моих руках теперь. Что захочу, то с тобой и сделаю... – говорил он на ходу, оглядываясь на арестантку. Подошли к лестнице, и «медведь» приостановился: – Иди вперед. Недотрога. Эка беда – за титьки взял!.. Что ты, буржуйка, что ли?

На площадке Вероника остановилась, прислонилась к стене и схватилась за грудь. Темный ужас охватил ее душу, сжал ее сердце, и в голове помутилось. Поплыл пол под ногами, поползла стена – и она скатилась и простерлась навзничь, забилась в судорогах...

– Вот те раз! Вставай, вставай! Не прикидывайся...

«Медведь» наклонился, хлопнул Веронику по щеке, пощекотал под мышкой. Нет, не смеется, сволочь! Взаправду. Порченная, видно. Что с ней теперь делать? Буржуйка, крас-



ная буржуйка, значит: и по чулкам, и по штанам видать – видишь, какие узорчики на штанах-то. Ух, ты... Ый!..

Внизу послышались торопливые шаги многочисленных ног, сопровождаемых характерным позвякиванием военных доспехов. «Медведь» отпрянул, прекратив свои исследования, и, отойдя в сторону, ждал. Три офицера, в их числе и полупьяный юнец.

– Что такое?

– Так что упала, Ваше благородие, и не встает... Дурнота с ней... Порченная.

– Она это? – тихо спросил один из офицеров юного прапорщика.

– Она, – шепнул тот, и все переглянулись.

– Что теперь, Ваше благородие, с ней делать будем?

Юнец что-то тихо произнес, и все сдержанно захихикали.

– Обморок. Прежде всего, в таких случаях следует освободить дыхание.

Один из троих встал на колени и начал расстегивать на груди крючки и пуговицы.

– Перенесите ее куда-нибудь, господи! Что ж тут, на лестнице...

– Ко мне в «дежурную». Ну-ка, принимайте!

Подняли Веронику с пола и понесли. Красивая девушка с обнаженной грудью и загнутой юбкой, из-под которой свешивались изящные ноги в черных шелковых чулках, – во всех уже разбудили «вожделение». Пользовались ее обморо-

ком и старались давать волю рукам и глазам. «Медведь» шел позади, грузно ступая своими тяжелыми башмаками по полу, и шептал, отирая пот с лица:

– Теперь с ней что хочешь делай...

Принесли в «дежурную» и положили на клеенчатый диван. Мысли у всех были одинаковые, скверные, но их было трое.

– Спрыснуть ее водой, господа?

– погоди ты. Коньяку надо ей дать...

Спорили шепотом, жидовка или русская? Вмешался стоявший у двери «медведь»:

– Нет, я тоже думал, ан нет: крест есть!

Быстрые, спешные шаги за дверью спугнули «эротическое настроение».

Кто-то идет в «дежурную». Отошли в разные концы, юнец сел за стол к чернильнице, раскрыл какую-то огромную книгу. Растворилась дверь – вошел пожилой полковник, строго окинул орлиным взором комнату и спросил:

– Это что значит?

Показал перстом на диван. Молодые притихли, юнец встал во фронт и начал рапортовать.

– В таком случае надо доктора!

– Не решились ночью беспокоить... Простой обморок...

– Но каким образом она очутилась в дежурной, когда место арестованным не здесь, а внизу?

– Она проявила себя... Она нанесла унтер-офицеру Стра-

тонову оскорбление действием по лицу...

– Так точно, Ваше благородие! Ударила.

– И я решил составить протокол... И вот по дороге в дежурную комнату она упала в обморочное состояние...

– А почему там, внизу, женщины подняли бунт?

– Не могу знать.

– Их обыскивали?

– Так точно. Вот здесь у меня все, что найдено...

Полковник подошел к столу, стал было рассматривать бумаги и вещи, но неожиданно обернулся к стоявшим в углу офицерам:

– А почему, господа офицеры, вы находитесь здесь?

– Мы зашли случайно.

– Потрудитесь выйти. Здесь служебное помещение.

Те сделали поворот на месте и, промаршировав, скрылись за дверью.

– Дайте мне все, что найдено у этой особы.

Дамская сумка и в ней всякая всячина. Полковник посмотрел содержание сумочки, нашел документ, письмо, прочитал и задумался.

– Гм!.. Знакомая фамилия... Неужели красная?

– Так точно. Из подвижного лазарета. Захватили вместе с вагоном...

Вероника очнулась. Не понимала еще, что с ней случилось. Увидя свои ноги непокрытые и грудь полуобнаженной, все вспомнила и закричала истерическим воплем. Ей при-

шла мысль, что «гнусность» свершилась.

Полковник стал успокаивать, приказал дать воды, а Вероника, вскочив с дивана и сжавшись в углу комнаты, показывала на растерявшегося юнца и кричала:

– Он! Вот этот подлец. Он, он!..

– Выпейте воды и успокойтесь... Ничего дурного с вами не сделали и не сделают. Вы были в обмороке.

Вероника дрожащими руками застегивала непослушные крючки и пуговицы и вдруг торопливо и нервно заговорила по-французски. Это оглушило и полковника, и юнца. Полковник сразу понял, что арестованная из «хорошей семьи», и счел нужным превратиться в галантнейшего кавалера и заговорил, хотя и на очень скверном, но все-таки на французском языке. Он спросил, не родственник ли ей убитый в Японской войне генерал N.

– Я его дочь! – гордо и по-русски ответила Вероника.

– Скажите, пожалуйста... Прошу вас присесть. Каким образом все это вышло? Почему вы очутились в коммунистическом лазарете? Вы, конечно, можете мне не отвечать. Это дело суда, а не мое. Но я просто, как ваш доброжелатель, желающий вам же помочь...

– Если оказывать медицинскую помощь можно не всем людям, а только... то расстреливайте! – гордо выпрямившись, сказала Вероника. – Я не знала, что милосердие, которому нас учит Христос, – преступление перед добровольческой армией...

– Но разве вы не могли проявить этот христианский долг в... другом месте? В нашей, например, армии?

– Простите, полковник, когда Христос давал нам заповеди любви, ни красной, ни белой армии не было...

– Ну а теперь вы согласились бы сделаться сестрой милосердия в нашем лазарете?

– Мне все равно. Я служу человеческому страданию...

– Ну, да... Я вас, собственно, понимаю, но... Как можно вращаться в компании этих зверей, негодяев и насильников? Вот это, сударыня, для меня непонятно...

– Представьте, полковник, что именно здесь, очутившись в белой армии, куда я так рвалась, в которой – мой жених, я тоже прежде всего встретила со зверями и насильниками... Меня, как женщину, здесь так оплевали, так оскорбили... ваши солдаты...

Вероника вспомнила весь путь до этого дома и то, что случилось в этом доме, не выдержала и разрыдалась...

– Позвольте, позвольте!.. Солдаты... вообще... всегда грубы, и претендовать...

Тогда Вероника, обратив гневный взор на растерянного юнца, сказала:

– Солдаты! Не одни солдаты, а... вот этот молодой человек...

– Я? Позвольте, мад... сударыня...

– Я слышала. Повторите, что вы сказали про сестер. Вы сказали, что нас надо не расстреливать, а... насиловать. Да!

И вы одобрили, когда вон тот, которого я ударила по лицу, сказал вам, что меня надо или к стенке, или на постель.

– Это ложь.

– Тогда вы – подлец, а не защитник родины!

– Господин полковник, я прошу оградить меня от оскорблений.

– Эх, вы... трус! Блудливый заяц, а не офицер.

– Господин полковник!.. Я прошу еще раз...

– Ну ударьте меня по лицу, герой!

– А-а... сударыня. Здесь присутственное место, и потому...

– Здесь та же чрезвычайка, что у большевиков.

Полковник обиделся:

– Будьте осторожнее в своих выражениях. А вы, господин прапорщик, потрудитесь перевести арестованную в приличную комнату и пока оставить ее в покое. Никаких допросов в мое отсутствие не производить.

– Слушаюсь.

– И затем... поместить всех сестер вместе. Внизу всякий сброд, пьяницы и воровки, а это – сестры милосердия. Кто распорядился посадить их в общую?.. Завтра в семь утра явитесь ко мне с докладом.

– Слушаюсь.

Полковник поклонился Веронике и вышел. Наступила тишина. Вероника стояла, обернувшись к окну, с белым платочком в руке и, отирая слезы, смотрела на одинокий улич-

ный фонарь на другой стороне улицы. Когда шаги полковника стихли вдали, прапорщик, совершенно протрезвевший после того, как арестантка заговорила на французском языке, оскорбленный и униженный этой женщиной в черном, превратился в провинившегося школьника и начал было, запинаясь, подбирая изысканные фразы, оправдываться и просить извинения. Вероника отмахнулась от него белым платочком:

– Проводите меня со всеми сестрами в комнату... как вам было приказано!

– Слушаюсь. Стратонов!

– Есть.

Вошел «медведь» – тише воды, ниже травы. Говорит шепотом. Оба вышли, заперли дверь. Вероника застучала:

– Не смейте меня запирать! Немедленно отойдите комнату!

– Но вы, сударыня, арестованная, и мы обязаны... В таком случае я останусь, а ты, Стратонов, переведи сестер в угловую номер пять, а потом возвращайся.

Опять все сестры очутились вместе. Увидев введенную Веронику, обрадовались и начали расспрашивать, куда ее уводили, что с ней делали и о чем допрашивали. Вероника была так измучена, что совершенно обессилела и валилась с ног. Сестры уступили ей единственную койку и, повалившись на нее, как подкошенный цветок, Вероника быстро заснула.

На другой день, поутру, к изумлению остальных сестер, Веронике подали на подносике стакан кофе с молоком и с румяными сухарями.

– От господина полковника! – заявил солдат.

– А нам?

– А вы и водицы похлебаете.

– Почему вам такое исключение?

– Я не знаю... Пейте кто-нибудь. Я не буду.

– Пусть пьет, кто заслужил! Такое внимание к Веронике сразу показалось всем сестрам подозрительным: или «выдаёт», или «передалась белым», или и раньше только прикидывалась красной, а была «белогвардейской шпионкой». Сразу отделили, поговорили с ней по секрету и опять к ним подсадили. Сестры насторожились, стали враждебно и подозрительно поглядывать на Веронику. Шептались: одна и раньше догадывалась, что это не «свой человек» – так оно и оказалось.

В полдень прислали обед, и Веронике опять наособицу и даже салфетку дали. А вечером пришел сам полковник, поздоровался за руку с одной Вероникой Владимировной и поздравил:

– Вы свободны!

– А мы?

– Потом, после... – небрежно бросил полковник и посторонился, чтобы пропустить Веронику.

– Сестры, прощайте!



Никто из сестер не ответил, а когда Вероника выходила, позади прошипел злобный женский голос:

– Шпионка! Гадина...

– Что такое? – сердито выкрикнул полковник, на мгновение приостановившись и обернувшись.

Никто не ответил.

## Глава двадцать седьмая

Бедный городок! Он то и дело переходил из рук в руки: то петлюровцы, то махновцы, то «Маруся-мстительница», то красные, то белые. Все в него стреляли, все его поджигали, все в нем праздновали победы, поливая их кровью жителей...

И теперь: только что красные, со своей «чрезвычайкой», закончили очистку города от белых и от тех из жителей, которые проявили к ним свою благосклонность или вообще имели подозрительный «контрреволюционный» вид, только что перестали возить на телегах, как убоину, расстрелянных и перестали стрелять на рассвете около тюрьмы и кладбища, – как городок попал в руки белых, с их «контрразведкой» и расправами с местными большевиками и их единомышленниками.

Бедные жители! Спасая свои животы, им приходилось всех встречать с хлебом-солью, бегать от одних и возвращаться при других, жить на постоянном фронте.

На этот раз белые осели основательно. Прошло уже три недели, а хозяева не переменались. Жители почувствовали некоторую оседлую устойчивость и понемногу переходили на мирное положение. Конечно, это мирное положение носило весьма относительный характер: за Днепром стояли красные и обстреливали время от времени городок из дальнобой-

ных орудий. Были жертвы, слезы, похороны, но с этим мирились, как мирятся с бурей, с грозой, со смертью от несчастных случаев. Ходили в кино, в кофейни, ухаживали за дамами и барышнями офицеры белые, как недавно ухаживали офицеры красные. Потемки в кино, когда на экране раздирающая душу драма, а в тишине слышна доносящаяся канонада и в каждый момент снаряд может угодить в зрительный зал и разорваться посреди публики, – ах, в этом было много импульсов для любовного трепетания прижимавшихся в темноте друг к другу парочек!

По утрам на площади производилось обучение только что мобилизованных жителей городка и его окрестностей, муштровка пленных красноармейцев, наскоро переделываемых в белое воинство. Вставляли в десятый раз разбитые стекла, ремонтировали разрушенные квартиры и домики. Как муравьи, не бросали, а бесконечно чинили свой разрушенный муравейник.

Повторяемая красными бомбардировка города, однако, сильно беспокоила белых, и они двинулись вперед, за Дон и, казалось, далеко отогнали красных.

Бомбардировка прекратилась, и стало совсем спокойно. Только неприятно поражало это детей:

– Мама! Что стреляют?

Они уже скучали без этих развлечений.

Доходили слухи, что белые победно идут вперед, что они уже захватили Екатеринослав, что теперь дело конченное: ре-

волюция начинается. О, какой неисправимый оптимист этот житель!

Вероника временно осталась в городке. Захваченный красный летучий лазарет сделали белым, поставили на запасных путях и оставили сестер и сиделок, заставивши их красные кресты переделать на белые, да подчинили своему белому врачу. Лежали в нем и красные, захваченные в плен и не расстрелянные, и раненые белые. И нельзя было разобрать, кто из них красный, и кто – белый. Все перепуталось, и не было ни ссор, ни злобы. Только в первые дни опасались друг друга, а потом поняли, что все люди-человеки, и начали дружить. Только одна из красных сестер, обращенная по своему безграмотству в сиделку, злобилась и таила ненависть к белым, особенно к Веронике, которую называла «шпионкой и гадиной»... Этот лазарет развешивали в «санитарный поезд № 5» для перевозки раненых с фронта в Севастополь, и это примиряло Веронику с отсрочкой свидания с женихом. От проезжающих из Севастополя офицеров она уже успела узнать, что поручик Паромов жив и бывает в Севастополе, что у него плохо действует левая рука и что живет он где-то под Балаклавой. Главное – жив. Так долго она мучилась, не зная, жив или убит, и вот узнала: жив, жив, жив! Все преграды пройдены, все мытарства испытаны, все унижения и оскорбления перенесены. Все это теперь позади. А впереди – Севастополь и счастье встречи с любимым человеком. Необъятная радость бушевала в душе Вероники, но

она научилась и радость, и тоску держать на привязи. Она их хранила в тайниках души и не любила показывать людям. Зачем? Теперь нет у людей ничего святого, над всем трунят и подсмеиваются. И вот радость не расходовалась, а все копилась и росла и только в избытке своим моментами вырывалась в изумительном смехе, почти детском, часто беспричинном – просто хотелось смеяться, – и в глазах, в которых тоже дрожал смех и в которых было столько счастья, что оно останавливало всех окружающих и встречных. И не столько красота, сколько неистощимая энергия и жизнерадостность, удивительный смех и сверкающие счастьем глаза влюбляли в Веронику ускоренным порядком прапорщиков и поручиков, раненых и здоровых, возбуждали кокетство в седовласых полковниках, привлекали даже женские сердца. Побыв около Вероники, седовласые полковники начинали смотреться в зеркало, фабричить ус и напевать «Любви все возрасты покорны», а прапоры и поручики, отдыхая между кровавым делом в городке и случайно встретив Веронику, напевали под гитару «Придешь ли, дева красоты, пролить слезу над ранней урной», тайно разумея под девой Веронику, и с тоской уезжали на фронт...

У всех теперь было так мало счастья, что этот избыток его, как магнит – железо, притягивал к себе души несчастных людей... В лазарете всегда толчея около Вероники. Мешали работать. Точно на чудо смотреть ходили. Мелькали сотни лиц в день. Адъютант дивизионного командира, даже

фамилию которого Вероника не успела запомнить, сделал ей предложение... Ей сделали предложение! Если бы он знал, как она любит Бориса, он застрелился бы от ревности...

– Вы меня совсем не знаете... и я вас тоже...

– Я вас понял сразу, Вероника Владимировна.

– А вот я... я не такая понятливая...

– Тогда оставьте надежду!..

Тяжело отнимать у человека надежду. Ласково посмотрела, улыбнулась, и влюбленный понял, что надежда есть; окрыленный этой надеждой, поехал на фронт, а спустя неделю его хоронили с музыкой, и Вероника шла за гробом и отирала слезы...

Солдаты зарывали могилу. Вероника стояла в сторонке, отдаваясь странному чувству: грусти, тонувшей в необъятной радости бытия, и своего найденного почти счастья. Это так необъяснимо: плачет о зарываемом адъютанте, а думает о Борисе и о том, что он жив, и от этого хочется засмеяться на не зарытой еще могиле...

– Сестрица!..

Кто ее зовет? Солдат, могильщик? Страшно знакомое лицо! Где она его видела?

– И вы у белых?.. Что, неужели не признали, сестрица?

– Нет...

– А вот товарища Мишу наверняка не забыли... А товарища Спиридоньча тоже забыли?

– Ермиша? Неужели... ты...

– Я самый! Как поживаете, сестрица?

– Как же это ты здесь? В плен попал?

– Сам перебежал. Не желаю. Никакой слабоды у них нет, одна словесность, а на деле оскорбление личности: выпороли меня.

– Ничего не знаете про Мишу и Спиридоныча?

– Ничего не знаю. Убили, чай, на фронте... А вы, что... поплакали? Не сродственник он был? – спросил Ермишка, ткнув лопатой в могилу.

– Нет. Так... жалко. Молодой очень и...

– Эх! Не стоит плакать. Все там будем... Меня хотели расстрелять, а только случай спас... Скоро на фронт красных бить... Я очень это доволен, что опять вас увидел. Эх!

Ермишка вздохнул, сдвинул на затылок фуражку и любовно загляделся на Веронику.

– А я, сестрица, и раньше все думал: не красная вы, а белая...

– А почему же?

– Нет у красных таких... благородных и... Эх! Хорошо, что еще раз вас увидел... может, последний раз? Вот так же ухлопают, и в могилу...

Опять вздохнул и тихо добавил:

– А вот меня зарывать будут, не придете поплакать?

– Приду. Бог даст, не понадобится...

– Неохота все-таки умирать, сестрица. Жить люблю... а не дают жить-то...

– Перебежите опять к красным?..

– Я? Нет, уж невозможно. Расстреляют за измену. Теперь одна дорога: бить красных. Они верх возьмут, мне все равно: смерть. Буду стараться...

– Убивать?

– Ну, а как же теперь?.. А то вот мы...

Ермишка огляделся по сторонам: все уже разошлись. До-кончил, показывая на сотоварищей с лопатами:

– В зеленые мы собираемся...

– Будет врать-то! – испуганно бросил один из них и сердито посмотрел на Веронику.

– Не бойся: этот человек не выдаст!..

– Ну, Ермиша, прощай! Пора идти...

– Счастливо оставаться, сестрица! Дозвольте ручку поцеловать... Может, остальной раз вас вижу. Все кончено: перегорел... Догорай, моя лучина!..

Солдаты бросили работу и насмешливо смотрели, как Ермишка, подбежав к Веронике, схватил ее руку и поцеловал. Это было смешно: свалилась с его головы фуражка.

– Эх!.. – простонал Ермишка, отирая усы после поцелуя.

Солдаты хохотали. Долго их смех слышала уходившая с кладбища Вероника. Думала о Владимире, который... так похож на Бориса. Отдал ли он кольцо брату? Может быть, погиб вместе со Спиридонычем? Она заметила, что Владимир немного увлекся ею... Славный он! Если бы она не любила Бориса, может быть, полюбила бы его, Владимира, а те-



перь... теперь уже все кончено: она никого другого не может полюбить. Никого на свете! Смешной Ермишка... Теперь даже не страшный, как раньше, а только смешной. «Перегорел», – говорит. Действительно, перегорел: пропала прежняя самоуверенность и убеждение, что все понял и постиг. То же влюблен в нее!.. С каким благоговением поцеловал руку. Словно к иконе приложился. Вот тебе и «зверь»!.. Много таких, заблудившихся и пропадающих, попавших в сети дьявола и не умеющих оттуда вылезти... Тревога стала рождаться в душе Вероники: все вспоминался делавший предложение адъютант, просивший оставить ему надежду. Такова теперь жизнь: сегодня живешь надеждой, а завтра – в могиле, и все чаще стала приходить в голову мысль: а что если и любовь Бориса умерла? Может быть, и Вероника, как адъютант, едет в Севастополь с надеждой, а... Борис давно любит другую? Может быть, и ее надежда – обман, мираж... Делалось страшно думать о скорой поездке в Севастополь, о первой встрече, первом взгляде, первом слове... Ведь для ее чуткой души все будет ясно при первой же встрече их глаз... Так близко и так вместе с тем далеко они сейчас друг от друга!

Санитарный поезд № 5 уже был сформирован, и через неделю было назначено отправление в Севастополь. Через неделю все откроется. И страх, и радость бушевали в душе с каждым днем сильнее. Заходил в лазарет Ермишка и все просил взять его в санитары.

– Вот как буду стараться: жизни не пожалею для вас!

– Вас не пустят. На фронт посылают... Подумают, что...

– Во первом случае, я имею достаточно ран, а второе – вам только два слова начальникам сказать, и готово... Дайте письмецо от вас, а я уж сам... Удостоверьте, что я вам известный и можно поручиться.

Чтобы избавиться от надоеданий Ермишки, Вероника написала записку, мало думая о результатах. Каково же было ее удивление, когда Ермишка, со счастливо расползавшейся рожей, с сундучком за плечами, пришел в санитарный поезд и сообщил, что отпущен.

– Ты поторопился. Надо еще поговорить с врачом. Кажется, санитаров больше не требуется...

– Запишите сверх штату! Ничего мне не надо, только чтобы возля вас...

Это было так трогательно, что наблюдавший сцену врач, тоже уже замороженный Вероникой, похлопал Ермишку по плечу и сказал:

– Я тебя понимаю. Оставайся, брат... сверхштатным.

– Так точно!.. Рад стараться, Ваше высокоблагородие.

– Мы все около Вероники Владимировны сверхштатные.

Нельзя сказать, чтобы Вероника обрадовалась такому исходу дела: Ермишка не внушал ей доверия, и знала она кое-что из его страшного и грязного прошлого. Но теперь поздно... Не следовало давать записки... Но разве она думала, что ее протекция так значительна? Вероятно, какой-нибудь из полковников, напевающих «Любви все возрасты покор-

ны»...

Ермишка в тот же день освоился и вел себя так, точно он с малолетства жил в этом поезде и вагоне, знал с малолетства всех служащих и раненых. Вечером, попивая чай с санитарями, посвящал их в свое мировоззрение:

– Человек – животное сознательное. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Я все постиг и так полагаю: у красных меня выпороли, у белых хотели расстрелять, а тоже только выпороли. Где лучше? Ответь, если ты животное сознательное! С заду, братцы, научился!..

Всех смешил Ермишка в поезде и за это сразу сделался общим любимцем. Ни с того ни с сего начал называть, сперва только заглазно, Веронику «княгиней».

– Разве она княгиня? – спрашивали санитары.

– Она-то? Княгиня! Ваше сиятельство!

– А мы и не знали.

– А что вы, не видно, что ли, сразу, что она высокого роду-племени?

– Так-то оно так, а никто не называет...

– Не любит она этого. Карактер без всяких аннексий и контрибуций.

И так Ермишка поверил своей собственной выдумке, что и в глаза начал называть:

– Княгиня!

– С чего ты взял, что я княгиня?

– Не скрывайте, княгиня! Я все знаю.

И все понемногу начали называть Веронику «княгиней», а ей надоело возражать. Пусть! Все равно: княгиня так княгиня... Однажды пошутила с Ермишкой:

– Княгиня – называют, когда замужем, а я девица, значит – княжна.

Ермишка посмотрел и покачал отрицательно рожей:

– Нет! Не подходит к вам. Княгиня – лучше.

– Ну, ладно. Все равно.

– Слышал, княгиня, что в четверг в Севастополь отправимся? Правда?

– Кажется.

– Море там. Никогда не видал. Не доводилось. Очень даже любопытно. Плыви, мой челн, на воле волн!..

Мечтал о море и пел:

*Эх, тучки, тучки повисли,  
Над морем пал туман...  
Скажи, о чем задумал,  
Скажи нам, атаман!..*

Стремился сделаться, по его собственному выражению, «вроде как адъютант при княгине», ревновал ее ко всем слушающим, даже женщинам, и говорил шепотом, когда она ложилась отдохнуть в своем купе, даже на площадке вагона. Замечание или выговор от нее расстраивали Ермишку на целый день, и он уходил в уборную и плакал от отчаяния.

Однажды подошел к поезду молоденький офицер, подал

стоявшему на площадке вагона Ермишке букет красных роз и строго сказал:

– Немедленно передай сестре Веронике Владимировне! Знаешь ее?

– Княгиню? Как знать! Только они почивают, и будить я не буду.

– Ну, потом! Когда проснется.

– А как про вас сказать? – довольно строго спросил Ермишка, гордый своей близостью к пленившей его девушке.

– Она знает...

Ермишка цветы взял и проводил офицера ревнивым злым взором. Много она этаких-то видала. Так и будет всех вас на памяти держать? Небрежно бросил букет в своем купе, где жил с товарищами, на столик и все думал, отдать или выкинуть в клозет? Почему он ей букет? Может, они того... снюхались? «Я тебе обломаю ноги!»... Решил отдать и посмотреть, как она примет. Обрадовалась, засмеялась...

– Знаете, княгиня, этого человека, который подарочек вам этот?..

– Нет. Он ничего не велел мне сказать?

– Скажи, говорит, что тот самый, которого она обожает...

– Что за вздор? Врешь ты.

– Эх!..

Махнул рукой и ушел из купе княгини. Потом поглядывал, как обращается княгиня с букетом: смотрит ли на него, часто ли нюхает и сменяет ли воду? Милы ли ей эти цветы?..

Два дня продержала, а потом взяла их и пошла в город, к кладбищу. Проследил: на могилу адъютанта положила.

– Хорошо, брат, что ты мертвый!.. Убил бы, если бы... Эх! Зазнобушка моя неocenенная! Умру за тебя, а все-таки никому не отдам... Лучше никому не доставайся! Лучше своей рукой убью, чем...

Вероника не замечала, как в Ермишке все росла и крепла эта странная и страшная «любовь».

Около двух месяцев городок наслаждался мирным положением и привык к нему. И вдруг все полетело кувырком...

И случилось это с такой внезапностью и неожиданностью, что даже само местное военное начальство и администрация городка оказались застигнутыми врасплох этой «военной тайной».

Первым пронюхал эту «военную тайну» Ермишка. Он подслушал разговор шепотом между лежавшим в санитарном поезде красноармейцем и пришедшим навестить его из города родственником. Плохо скрытая радость «красной сиделки», ненавидевшей Веронику, – той самой, которая обозвала ее при освобождении из-под ареста «шпионкой и гадинной», подмеченная тем же Ермишкой, еще более утвердила его подозрение в грозящей опасности, и вот он потребовал у любимой им сестрицы «разговору по секрету».

– Как я вас из всей души и помышления уважаю, княгиня, то и пришел открыть вам всю тайну...

Рассказал все, что узнал и подслушал:

– Ежели мы с вами попадем им в руки – смерть обоим. Я готов для вас, княгиня, помереть, но... вас мне жалко! Во цвете лет и... так зря... Не могу допустить. Вас тут предадут: враг есть у вас здесь тайный, Иуда-предатель в женском лице...

– Нас эвакуируют...

– А не успеют?.. Видал я уж... знаю: каждому своя жизнь дорога. Забудут и бросят... А что тогда? К стенке!..

– Как же я могу бросить раненых?

– Все равно – ни их, ни себя не спасете. Я не могу допустить...

– Так что же делать?

– Возьмем узелки, да как стемнеет – и марш вместе...

Предложение Ермишки не оскорбило Вероники, а рассмешило ее. Ермишка предлагает ей побег вместе!..

– И куда же мы с вами пойдём? – улыбаясь, спросила Вероника.

– На шоссе, а там подсядем к кому-нибудь... Говорят, войска к Бахчисараю отступают... По всей линии... Может, и в поезд где-нибудь влезем...

Слухи поползли по всему поезду и внесли нервное состояние в души больных: красные тайно радовались и шептались, белые метались в постелях с широко раскрытыми глазами, в которых застыл ужас ожидания... Ермишка вел «двойную линию»: с красными был красный, с белыми – белый... И те, и другие считали его «своим». Только злобная сиделка не

поддавалась Ермишкиной хитрости: она видела угодливость Ермишки перед «шпионкой и гадиной» и не раз называла Ермишку «барским холуем»... Этой злой бабы всего больше и боялся теперь Ермишка.

В тот же день вечером в санитарный поезд зашел вернувшийся с фронта подпоручик, когда-то вручивший Веронике через Ермишку букет роз, и попросил у него свидания с Вероникой Владимировной.

– А как сказать? По какому делу? – подозрительно спросил Ермишка.

Но тут появилась в коридоре сама Вероника, и подпоручик, сделавши под козырек, попросил у нее аудиенции.

– Хочу поговорить с вами наедине... по одному важному делу...

– Прошу вас...

Ушли в купе и заперлись. Влюбленный подпоручик выдал Веронике «военную тайну»: положение настолько угрожающее, что... Конечно, только ей он решается раскрыть эту тайну. Иначе создастся паника, которая испортит дело эвакуации. Но лично он, подпоручик, знает положение и не верит в возможность правильной эвакуации... И вот решил спасти ее...

– Меня?

– Да.

– А раненые?



– Едва ли удастся их вывезти... Что же делать? Надо спасти хотя бы тех, кого можно... У меня две лошади, и одну из них я могу отдать вам.

– Но неужели нас бросят?

– В такие моменты все может случиться. Пути загромождены. Солдаты не дадут сесть, и вообще...

Ермишка оставался в коридоре и ждал. Ревность и любопытство терзали его душу. Почему они заперлись и так надолго? Что-то тут дело нечисто... Любовник, тайный. Не иначе. У них, у господ, скрывают любовь от людей, если невенчаные. Дождался, пока не отперлась дверь купе. Подпоручик вышел с «выражением на лице», улыбается, а сам весь красный. Она провожать вышла. Ручку дала поцеловать.

– Так помните, что у вас есть друзья, которые вас не... забудут! – сказал подпоручик, а она ему улыбнулась и головкой несколько раз...

Немного погодя Ермишка заглянул в купе:

– Интересный разговорец, княгиня, имели?

Вероника вскинула изумленные глаза. Хотела рассердиться, но раздумала. Усмехнулась и сказала:

– Много будешь знать, скоро состаришься.

Все это было вечером, а ночью началась спешная суетливая эвакуация, похожая больше на паническое бегство... Ночные небеса обогрились заревом пожаров: жгли хлеб и склады с амуницией, которых не успели вывезти.

В городе шла стрельба. Грабили и громили магазины и

лавки. Убивали буржуев и пролетариев-большевиков. «Работали» и белые, и местные красные. И опять был ужас и безумие торжествующего «Зверя из бездны»... Забыли про санитарный поезд № 5. Он стоял в тупике, и не было никакой надежды, что о нем вспомнят. Одни торжествовали, другие сжались от ужаса, некоторые плакали и проклинали бросивших. «Красная сиделка» уже чувствовала себя комендантом поезда и не скрывала более своего отношения к княгине и «ее холопу» Ермишке...

– Арестовать их надо, товарищи! Но у Ермишки был наган, а «товарищи» были раненые и искалеченные...

Красный отблеск зарева прыгал в окнах поезда, доносился из города глухой гул погрома, а со станции – крики, грохот поездов, сумятица солдатской погрузки. В багряных потемках металась силуэты человеческих фигур, слышался и плач, и хохот, и проклятия. А где-то надоедливо пищала гармоника, и слышалась пьяная нестройная солдатская песня...

– Сестрица! Он обманул вас... Покуда не поздно – бежать нам надо. Драгоценная вы моя! Позвольте вас спасти!

– Идите. Я вас не держу...

– Не могу я уйти...

В этот момент к поезду подъехала парная таратайка. Взволнованный подпоручик вбежал в купе. Увидел плачущую Веронику, Ермишку, тянувшего ее за руку.

– Не желают они уходить, Ваше благородие. А я их желаю спасти...

Почти насильно вытянули вдвоем Веронику из поезда и впихнули в таратайку. Ермашка вскочил на облучок к солдату-кучеру. С поезда кричала сиделка: «Товарищи! Арестовать надо».

Ермашка выстрелил из нагана в воздух, и таратайка рванулась и покатилась в трепетном кровавом отблеске страшного зарева...

Дорога была забита обозом, громыхающей артиллерией, телегами, полными доверху бегущими горожанами. Кругом стреляли. Казалось, смерть плясала в кровавом сиянии, размахивая своим черным плащом над городом.

## Глава двадцать восьмая

Народ истомился, измучился, изголодался, жаждал мира, тишины и порядка, ненавидел одинаково и красных, и белых, а его продолжали терзать обе стороны, отнимая хлеб, скотину, одежду, и принуждали силою продолжать человеческую «бойню». Крымские леса и горы наполнялись дезертирами. Появились красно-зеленые, бело-зеленые и просто зеленые. Первые – дезертиры от красных, вторые – дезертиры от белых, третьи – дезертиры, не успевшие еще побывать ни в красных, ни в белых и скрывшиеся вообще от «бойни»... Тут были люди всяких национальностей, и потому образовался своего рода «зеленый интернационал». Свой особый мир. Друг друга не трогали, жили вооруженными артелями по 100–200 человек, каждая из которых владела определенным горным округом и долинами, взимая дань с своих городков и деревень. Татарское население, если не прямо покровительствовало этим лесным людям, то было к этому вынуждено страхом мстительности... Эти вооруженные банды были одинаково опасны как белым, так и красным, но борьбу с ними пока вели властвовавшие в этот момент в Крыму белые, а вожди красных хитро пользовались ими, подсылая «своих людей», которые под видом зеленых примыкали к шайкам и направляли их на порчу путей, поджоги складов и вооруженные нападения на белых в тылу. Борьба с зеле-

ными была почти бесполезна: они всегда избирали для своих стоянок неприступные горные позиции, куда нельзя было подтянуть артиллерию, имели организованный шпионаж, сигнализацию и в случае угрожающего положения расплылись в горах и лесах, прячась по пещерам и лесным оврагам, пропадая бесследно для преследователей. Точно имели сказочные «шапки-невидимки». Нападения их были внезапны и дерзки. Дело доходило до того, что иногда на несколько дней прерывалось сообщение по главным шоссе-дорогам. Убивали, однако, только военных, а остальных грабили, раздевали, женщин, одетых культурно, по-городскому, — насиловали, а деревенских не трогали. Как только белые перешли в наступление, направляясь на север, зеленые начали проявлять усиленную работу в тылу, их дерзость удвоилась, нападения участились. Однажды они спустились с гор, захватили городок Алушту и, разграбив, снова ушли в горы. Оставлять в тылу эту «зеленую армию» было опасно. Для уничтожения ее белые вынуждены были организовать «отряды особого назначения». Начались облавы на зеленых. Образовался новый «зеленый фронт» внутри маленького царства белых. Военная молодежь белой армии, донесшая до Крыма демократический дух и идею давно погибшего Корнилова, оскорбленная в своих чувствах назначением ей в руководители постыдно бежавшего, предавшего свою армию на одесском фронте генерала, тайно презираемого не только военными, но и самим населением, видевшая, что в ты-

ду снова начинается захват всех высоких постов в армии не по заслугам и дарованию, а по чинам, рангам и протекциям, выдвинула из своей среды молодого и пылкого капитана Орлова, вообразившего себя Наполеоном и сделавшего с горсточкой человек в четыреста попытку свершить военный переворот и создать «народную армию». Попытка успехом не увенчалась, но симпатии к этому движению росли. Победенный и разгромленный капитан Орлов с горсточкой уцелевших единомышленников ушел в горы и был объявлен «изменником». Все это случилось еще весной, а орловцы все еще были не уничтожены. Орлов сделался живой легендой, в которую каждый недовольный вкладывал свое содержание. «Убегу к Орлову» – теперь было формулой недовольных начальством не только солдат, но и офицерской молодежи. Загадочная личность! Одни называли его «изменником», продавшимся большевикам, другие – просто «честным человеком и храбрым офицером».

Как бы то ни было, а Орлов со своими орлятами сидел тоже в горах, и хотя никаких нападений на белые войска не делал, но пугал военную власть как притягательная и организующая всех недовольных сила. А что если этот легендарный герой встанет во главе всех зеленых, красно-белых и бело-красных и тех, что называют себя «Не тронь меня»? Кто нам расскажет душевную драму этого легендарного героя, заочно приговоренного к повешению белыми и в конце концов расстрелянного красными?.. Теперь уже ясно, что он, от-

став от белых, не пристал и к красным, но тогда как у красных, так и у белых был одинаковый лозунг: «Кто не с нами, тот против нас», – а потому подлежит истреблению.

Исполнился пророческий «Сон Раскольников»: «люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе, собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе начинали вдруг терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга»... Раскольников видел это во сне, а теперь мы увидали все это наяву...

Не сразу Владимир Паромов попал опять в армию. Ведь он числился убитым. Потребовалась длинная процедура для того, чтобы «воскреснуть» и снова превратиться в поручика. В мобилизационном отделе его встретили подозрительно и на всякий случай арестовали. Обидно допрашивали чины «контрразведки»: не тайный ли большевик, воспользовавшийся документами убитого поручика Паромова? Немногие из уцелевших боевых товарищей, лично знавших Владимира Паромова, были на фронте. Ссылка на летчика Соломейко осложнила только дело. Запрошенный письменно, тот ответил: «Поручик Владимир Паромов попал в плен к красным, бежал и был случайно расстрелян нашими казаками на станции N, что могу подтвердить как очевидец происшествия». В конце концов, пришлось сослаться на брата. Бориса вызвали в Севастополь, сделали очную ставку, и таким образом только Владимир спасся от грозившей ему опасности окончательно и навсегда превратиться в покойника. С

чувством новых обид и оскорблений освободился Владимир из-под ареста и вышел на волю с еще сильнее укрепившимся намерением при первом удобном случае бросить армию и бежать. Хотя и «реабилитированный» следствием, Владимир все-таки остался на подозрении у начальства, что и выразилось в том, что его не пустили на фронт, а зачислили в «отряд особого назначения». Теперь, впрочем, это уже не оскорбило Владимира, а напротив – обрадовало: легче привести свой побег в исполнение... Не оскорбило даже то обстоятельство, что ему не дали по-прежнему командования ротой, а подчинили подъесаулу из дикой дивизии, которого все называли заглазно «Карапетом». Это был тот самый «Карапет», с которым Владимира познакомил брат Борис в Балаклаве.

– В мою роту? Очень рад! Вместе резать будем.

«Карапету» надоела мирная жизнь и пьянство на «береговом пункте», и однажды он явился в Севастополь хлопотать о переводе на фронт.

– Вы нам здесь не менее полезны, чем на фронте, – сказали Карапету.

– Почему так? Ты мной доволен, а я недоволен.

– Чем же вы недовольны?.. Место у вас покойное и сравнительно безопасное...

– Ты мене аскарбляишь? Зачем мне спакой? Я не баба. Зачем у меня оружие?

Тут Карапет взялся за ручку кинжала и сверкнул белками



страшных глаз.

– Ты меня аскарбляишь?

– Хотите в отряд особого назначения?

– Мне все равно. Сражаться хочу – понимаешь? Я – не баба.

Так Карапет сделался начальником отряда. Отряд Карапета состоял из небольшого ядра настоящих воинов, около которого развевывался разный случайный элемент: любители приключений и сильных ощущений, забракованные по разным причинам «добровольцы», босяки. Когда в районе Карапета появлялись зеленые, отряд посылался на облаву. Карапет пополнял свой отряд местным населением и совершал поход в леса и горы. Иногда происходили стычки, перестрелки; изредка попадались в плен безоружные, и Карапет удовлетворял на них всю свою жажду крови, но большей частью эти походы кончались безрезультатно и лишь приводили Карапета в состояние бешенства, которое разряжалось опять-таки на ни в чем не повинных мирных жителях, татарах.

– Скрываешь? Ничаво не знаешь? Гавари, где большевик?

– Давай барашек! Кушать будем...

Привал, костры, шашлыки, красное вино и пляс под песню и хлопки рук:

*Карапет мой бедный,  
Почему ты бледный?..*

Среди местного татарского населения быстро развивалось дезертирство. Крутая расправа белых с вождями «татарского национального движения» повлекла за собой глухое брожение, недовольство и недоверие к белым. Татарская молодежь, насильственно мобилизуемая в белую армию, стала убегать в горы. Это завязывало узел между татарским населением и зелеными. Дезертиры тайно посещали родные деревни и дома, снабжались пищей, получали предупреждения об опасности. Ведь свой своему поневоле брат!.. Случалось, что дезертиры приводили с собой голодного «дружка» из зеленых. Белые придумали «круговую поруку»: отвечала вся деревня, если в ней удавалось изловить дезертира или зеленого. Так отряды особого назначения постепенно превратились в карательные экспедиции, и несчастное население уже не знало, кого ему больше бояться: красных, зеленых или белых?

Такие начальники отряда, как Карапет, казались ужаснее красных.

– И большевик разбойник, и белый разбойник, и зеленый разбойник. Савсим кунчал! Ай-ай-ай. Как жить будем? Нельзя жить, – причмокивая губами, говорили старики, и по вечерам, на закате солнца, все жалобнее звучала с мечетей молитва муллы к Аллаху...

И вот Владимир Паромов сделался одним из таких «разбойников»...

Не так легко оказалось бежать, как думалось это сперва

Владимиру. Карапет, привыкший к горам и лесам, избирал для ночевки такие места, которые гарантировали его не только от внезапного нападения зеленых, но и от побегов своего случайного воинства, делал постоянные проверки, ставил караулы из своих «шпионов». Надо было выждать особенно благоприятный момент или случай для побега, а его не выпадало. Приходилось быть участником не только «охоты на людей», но и возмутительных расправ с провинившимися деревнями. К несчастью, Карапет особенно полюбил Владимира и не желал с ним разлучаться даже ночью: брал спать в свою маленькую палатку.

Владимир ненавидел Карапета за его зверство и насилия, но приходилось поглубже прятать эту ненависть и притворяться преданным. Замечая иногда тоску на лице Владимира, Карапет утешал:

– Пагады: достанэм двэ бабы: минэ и тебэ! Не будет скучна... Я сам скучаю.

От скуки Карапет собственноручно порол нагайкой жителей, заглушая крики истязуемого своим диким рычанием, отчего начинало казаться, что не он порет, а его порят. «Страшный человек!» – думал иногда Владимир про Карапета. И страшный и полезный для большевиков: при помощи таких услужливых дураков даже «белый житель» легко переделается в «красного». А таких в белой армии было множество. Всего удивительнее в этом человеке – совмещение дикого зверя с наивно детским благодушием. Выпорет, а по-

том вдруг пожалеет: поднесет стаканчик водки:

– Кушай! Не сердись, душа мой... У минэ такой характер... Не хочешь? Пачему не хочешь? Пей! Мириться хачу... Не хочешь мириться? Ты мне аскарбляишь? – и вдруг благодушно ласковый тон, свидетельствовавший об искреннем желании Карапета извиниться за свою жестокость с помощью стакана водки, снова заменялся гневным криком: – Не хочешь пить? Хочешь опять нагайку? Мало? Пей, гавару!

Свист и хлест нагайки. Несчастный пьет, а Карапет уже хохочет, точно мальчишка, которого рассмешили.

По ночам Карапет говорил о женщинах и о своих похождениях с ними. Хвастался успехами. Признался, что ему очень нравится Аделаила Николаевна. Он говорил о ней, как о жене Бориса, и не считал нужным стесняться перед Владимиром в своих признаниях:

– За такую бабау можно все отдать. Как арабская кобыла! Нэ любит она Бориса, минэ она любит, – врал Карапет, а потом начинал мечтать: украдет ее и увезет в Грузию.

– Я не лубим черный баба, лубим – белый. У нас только черный...

Около месяца продолжалась эта мука. Только в конце августа Владимир освободился...

В горах над дорогой между Бахчисараем и Ялтой столкнулись они с отрядом «орловцев», завязалась перестрелка, притянувшая к себе несколько блуждавших в окрестностях шаек зеленых. Попали в ловушку и, нарвавшись на скрытый

пулемет, стали поспешно отступать. Мобилизованная из населения часть отряда разбежалась, часть перешла на сторону «орловцев». Карапет с Владимиром остались с горсточкой людей. Неожиданное нападение с фланга отрезало путь отступления – горсточка расплылась по лесу. Владимир понял, что момент настал: сопровождая в бегстве Карапета, он вдруг вскрикнул и упал. Карапет не остановился. На бегу оглянулся, выругался и спрыгнул под откос крутого заросшего кустами оврага...

Так Владимир Паромов снова превратился для всех в «покойника» и воскрес только для одной Лады...

Однажды, в отсутствие Бориса, Лада, как тень, блуждала в тоске около хаоса, потерявшая уже всякую надежду увидеть снова «родного Володечку», по выработавшейся привычке подошла к заветному камню и не поверила своим глазам: она увидела пирамидку из пяти камешков. Да, да! Она ясно увидела пирамидку из пяти камешков. От радости и волнения она вскрикнула и едва не потеряла сознания. Не видал ли кто-нибудь этой радости? Осмотрелась: никто не видал. Потянуло сейчас же пойти и убедиться, что все это правда, а не воображение. Как лисица, замела свой след блужданиями, петлями, с оглядками скрылась в хаосе и стала красться знакомыми лабиринтами... Тихонько, чуть слышно говорила:  
– Володечка!

Захватило дыхание: она присаживалась и отдыхала. В висках постукивали звонкие металлические молоточки, момен-

тами в глазах вдруг темнело, и пугала мысль о слепоте. Но слепота сменялась необыкновенно ярким светом, и она снова кралась и говорила вполголоса:

– Володечка...

И вот, когда она была в нескольких шагах от «рая» и снова, задыхаясь от волнения, позвала Володечку, – она услышала:

– Лада?!

Поздно, когда уже стемнело, вернулась Лада домой, странная, пугливо-радостная, глубоко спрятавшая свою тайну от всего мира. Она смеялась затаенным смешком, бурно ласкала ребенка, плохо понимала, что ей говорили, и была рассеяна до таких границ, за которыми у окружающих обыкновенно является уже сомнение в нормальности.

– Лада? Ты что? Слышишь? Понимаешь?

– Хорошо, хорошо...

– Ты чему смеешься? И с кем разговариваешь?

Вернулся с берегового пункта Борис и привез печальную весть: Владимир убит в бою с зелеными.

Сперва Борис сказал об этом старикам. Совещались: говорить или нет об этом Ладе?

– Верно ли?

– На глазах у Карапета! Пулей в висок... наповал. Карапет подошел, думал – ранен, а он уже скончался, не дышал...

Что ж скрывать? Жизнь сама решила все... А то Борис с ней – тоскует и любит Владимира, Владимир пришел – Бо-

риса не отпускает. Какой-нибудь один конец... Надо осторожно подготoвить и сказать правду. Выбрали случай и сперва сказали, что Владимир пропал без вести, потом, что его взяли в плен зеленые... Когда увидали, что Лада не кричит и не падает в обморок, то решили, наконец, открыть всю правду:

– Карает написал, что убили его в бою...

– Убили? – улыбаясь, спросила Лада.

– Ну, да, убили. Понимаешь?

Лада перекрестилась, а на губах вздрогнула улыбка. Это было так странно и даже страшно. Да, теперь всем стало ясно, что она ненормальная.

– А что, Лада, скажи по совести, жалко тебе Владимира? – спросил однажды Борис.

– Очень, очень! – весело ответила Лада.

– Почему же ты... не плачешь?

– Зачем?... Я часто вижу во сне, будто живу на том свете и там встречаюсь с Володечкой. Ему хорошо там, спокойно... Отдыхает от всех наших милостей... Для меня он не умер, а жив...

«Тайна» все сильнее овладевала душой Лады. Теперь она жила в двух разных мирах, и «мир тайный» начинал делаться для нее дороже и ближе «мира явного». Точно там, в хаосе, – настоящая жизнь, а здесь, в белом доме, – так, один обман, который необходим для жизни, длинный, тягучий обман, как шелуха на луковице. И в этом обмане пребывает только те-

ло, а душа все время там. Здесь Лада бывает только урывками, когда она остается наедине с ребенком. Эта психическая раздвоенность становилась с каждым днем сильнее: в домике тихая пассивность, покорная речь, послушное тело, рассеянная задумчивость. Точно сказочная кукла из фантазий Гофмана... Все нормально делает и говорит, регулярно исполняет весь ритуал обыденной жизни, но вместе с тем духовно отсутствует. Души «дома нет». Зато очутившись в тайном раю с Владимиром, Лада преображается. Точно тут только она пробуждается от каких-то злых чар и обманов, и душа возвращается в тело, и вся она превращается в яркий искристый порыв, изливающийся в глазах, в голосе, в позе и жесте, в каждом слове и каждом движении, в ласках, в улыбках, в неожиданных словах... Еще не сразу отходит душа Лады при возвращении из рая: первый час дома, после тайного свидания, Лада еще остается пробужденной и поражает родных неожиданной и странной переменной, но потом наступают реакция, и Лада снова начинает казаться куклой из сказок Гофмана...

Может быть, оттого, что Лада чрезмерно берегла свою тайну, а жизнь в домике ей казалась только шелухой, она безропотно отдавала свое тело Борису и уже не чувствовала больше в этом унижения и оскорбления... Ведь и в эти моменты ее души нет дома... Она не испытывала от этих ласк никакого трепета, они проходили для нее, как все прочие скучные и нудные подробности жизненного ритуала в доми-



ке. Только бы не заметили, не догадались, не заподозрили, что у ней есть свой рай, где она бывает прежней счастливой Ладой!.. Какая всеобщая радость в этом преображении!.. В ее «тайне»! Лучше пожертвовать всем, лишь бы сохранить эту тайну...

Однажды приехал Карапет на паровом катере к ним в гости. Опять пили с Борисом красное вино. Карапет рассказывал, как погиб Владимир. Борис расчувствовался и пролил пьяненькую слезу.

– Ну, вечная ему память! Выпьем за него...

Какую острую радость испытала Лада во время этого заупокойного выпивания! Все вздыхали, покачивали головами, а ей хотелось петь, танцевать, кричать: «Он жив! Жив!»...

Когда стемнело, а приятели достаточно подпили, Лада убежала в хаос и упилась радостью и счастьем живых... Она украла у Карапета и принесла с собой бутылку красного вина, и они пили за тайну своей жизни в то время как на балконе домика два пьяных голоса пели «вечную память»...

## Глава двадцать девятая

Если народ одинаково ненавидел и красных, и белых, то боялся он все-таки больше белых, чем красных. Почему? Потому что белое движение он считал «барским», а с возвратом «барского царства» неизменно связывал отобрание захваченной земли, восстановление прав помещиков и крупную расправу бар за все обиды и убытки от революции. Этим страхом мужика перед возвратом власти барина искусно пользовалась противная сторона, превратившая в глазах испуганного мужика всю интеллигенцию во врагов народа и буржуев и склонившая его в гражданской войне на свою сторону. Белые стали ему казаться теми «друзьями», а красные – теми «врагами», про которых говорит народная мудрость: «Избави Бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь»... Прав ли был народ в своих страхах? Как вожди движения, так и большинство пошедших за ними молодых и горячих голов, входя в бой, понесли на своем знамени идею освобождения народа и человеческой личности от насилий, захвативших в стране власть фанатиков, губивших родину... Но вожди не понимали, что нельзя вино новое вливать в меха старые, и не умели выбирать себе «сподвижников»: в числе их стали скоро появляться рыцари старого царизма, возмечтавшие вернуть исторически «невозвратное». С течением времени около этих «сподвижников», как около пчелиных маток на

вылете, стали роиться единомышленники. Было их немного, но они стали очень громко петь «Боже, царя храни» и при удачных боях и продвижениях вперед показывать открыто свои когти народу. Это наглядно убеждало народ в правильности его опасений, а с другой стороны, стало затемнять первоначальную идею движения. Все заметнее становился разлад между словом вождей и делом их сподвижников. Не всем стало ясно, за что идут и во имя чего умирают. Стал потухать пафос, развилось дезертирство, появились «Орловы с орлятами». Вожди очутились между двух огней и вообразили, что вся мудрость момента в уменье служить одновременно двум богам... Это, прежде всего, сказывалось на земельных законах, которые сочинялись вождями при участии «сподвижников»: этими законами хотели устроить так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Не понимали, что земля – это та ось, на которой вертелись все наши страшные народные бунты, и на которой вертелась теперь вся революция, поскольку в ней принимали участие народные массы. Ведь еще Достоевский писал когда-то, что земля для русского мужика – прежде всего и в основании всего, что земля – все, а уж из земли у него и все остальное: и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и дети, и порядок, и церковь... На этой великой исторической «Тяге земли» погубили себя и свое единство все белые вожди, все белые Святогоры.

То же случилось и в Крыму. И ненавидя большевиков, народ все-таки пошел за ними, выбрав, как ему казалось, из

двух зол меньше... .

Белая армия, вначале успешно продвигавшаяся вперед, не росла в своей численности, не поднимала за собой народных масс и не рождала среди них «белого пафоса»... История сулила ей ту же судьбу, как и всем прежним белым движениям... Улыбнувшееся было счастье быстро отлетело, и началось отступление за Крымский перешеек...

Этот перешеек долго укрепляли и в крымском населении утвердили уверенность, что при всех неудачах Крым все-таки останется в руках белых: «Перекоп неприступен!»... Жизнь в городах и местечках Крыма шла своим порядком или беспорядком: Перекоп защищал души жителей от паники. Они были уверены, что красные не страшны, а страшен только голод, и потому были всецело поглощены заботами и хлопотами о заготовлении продовольственных запасов на предстоящую зиму.

Хлопотал об этом и Борис Паромов. Предстоящая зима в глухом бездорожном уголке, где они жили, была страшна именно продовольственными затруднениями. Все приходилось закупать и переправлять через Балаклаву лодкой, а море уже бурлило и гудело осенними клочкотаниями, ветрами и морскими революциями. Надо было выбирать моменты, буквально сидеть у моря и ждать погоды. Жизнь Бориса теперь протекала между Севастополем и Балаклавой.

Однажды – это было в начале сентября – Борис бродил по набережной Балаклавской бухты, отыскивая знакомых рыба-

ков, чтобы переправить привезенную из Севастополя муку морем в белый домик. Остановился около рыбацких лодок и начал разговор с рыбаками. Толкавшийся тут же солдат послушал и сказал:

– Так что нам с вами, Ваше высокоблагородие, в одно место. Попутчики! А только я боюсь: никогда по морю в лодке не ездal. Страшно.

– А ты куда? К кому?

– Послали меня туда... Я там не бывал, а слышу, что вы оттуда...

Оказалось, что солдат послан с письмом к нему, Борису Паромову.

– От кого же это письмо?

– От княгини нашей... Извольте полюбопытствовать!.. Из лазарета.

Борис порвал конверт и сперва ничего не понимал: кто-то в женском роде писал о себе, что «любит крепко, по-старому, с восторгом ждет свидания с милым, родным, любимым»... Что такое? Перевернул недочитанную страницу и точно испугался, прочитав надпись: «Твоя Вероника»...

Ермишка с ревнивым вниманием следил за читавшим письмо Борисом.

От него не укрылась испуганная радость Бориса и смущение, залившее краской его здоровое, красивое загорелое лицо... Борис так разволновался, что забыл о рыбаках, о муке, о стоявшем около солдате... Так странно: совсем и ду-

мать перестал о Веронике, а тут вдруг захотелось... полететь в Севастополь. Рыбаки согласились поехать, а он озирается и кричит извозчика:

– В Севастополь! Сколько?

Не стал рядиться. Все равно. Пусть постоит, подождет, пока он...

– Вот что, братец. Ты поезжай с рыбаками и сдай муку... Вот тебе адрес... – говорит Борис солдату.

Хотел написать, выдрал дрожащей рукой листик из записной книжки, но рыбак махнул рукой:

– Зачем? Мы знаем, покажем ему...

– Верно, верно!.. Так вот, братец...

Борис разрывался между рыбаками, мукой, извозчиком и Ермишкой. Был смешон в своей торопливости, совал всем деньги и делал путаные наказы. Для Ермишки сделалось ясным, что «дело нечисто». Точно письмо-то его по башке ударило! Не в себе стал от радости. «Красивый, сволочь». Не иначе, как любовник... А с рожки на «товарища Горленку» смахивает...

– Так вот... Как тебя звать-то?

– Ермилой называюсь, Ваше высокоблагородие.

– Ермила.

– Так точно.

– Так вот, Ермила...

Борис торопливо рассказал, что и как надо делать Ермиле, а сам сел в пролетку.

– А как я, Ваше высокоблагородие, обратно?

– С рыбаками же!

– Так что вы скажите княгине, что меня послали, а то они... Я человек служащий, у меня на руках больные...

– Ну ладно, ладно!.. Черт с ними... Некогда.

Борис уехал. Рыбаки смеялись: черт, говорит, с ними, с больными!..

– От кого это ты ему письмецо-то привез?

– От нашей сестры...

– И муку бросил – вот как приспичило! А еще женатый.

– У них ничего... Одна жена да две любовницы... Ты скажи жене-то... Так и так, мол, получил письмо от барышни и марш в Севастополь.

Сгорая злобной ненавистью, садился Ермишка в лодку. Мучила его всего больше мысль о том, что вот он, дурак, муку поручику везет, а они там... Что они там? Что могла рисовать Ермишке звериная ревность?

«Как же теперь братство, равенство и слабода? Слова одни? Ежели у него золотые погоны, так он... А вот ежели раздеть обоих, так и разницы никакой нет. А кто красивее – это тоже сомнительно!» Ну уж ежели Ермишка когда-нибудь поймает их, накроет на месте – не отвертится. «Ежели ты, благородная, с женатым можешь дела иметь, так нечего и холостому отказывать!»

Море, впрочем, скоро смирило злобную ревность Ермишки. Сперва страх пред зеленой клокочущей пучиной, потом

морская болезнь, и наконец – нирвана. Укачало. Точно по-мер.

Приехали поздно, в темноте. Напугал стариков поздним визитом: показался подозрительным, «зеленым». Зато потом, когда оказалось, что это Борис муку прислал, приняли Ермишку, как желанного гостя.

Пять пудов муки привез! Бабушка и чаем поила, и покушать Ермишке дала, и в зале на полу спать положила. Много разговоров было. Про все говорили. Ермишка признался, что сперва красным был, «по глупости», а теперь самый настоящий белый; за это старик ему водочки поднес.

– А куда барин делся?

– Поручик? Они домой ехали, я их с письмом в Балаклаве захватил...

– С каким письмом?

Тут Ермишка все объяснил. Говорил и наблюдал, как его слова принимаются в доме.

– Сестра милосердная, княгиня Вероника... Я так догадываюсь, что невеста ихняя?..

Лада сказала совсем равнодушно, что – невеста, а старики рассердились.

– Много таких невест было! – с досадой заметила старуха, но заметно забеспокоилась и начала выпрашивать, как эта княгиня в Севастополь попала, давно ли, часто ли к ней барин ходит. И тут Ермишка догадался, что Лада «законная», а Вероника «прежняя». Подпаковал сопернику:



– Это, барыня, как в песне поется:

Я не буду, я не стану с молодой женою жить,  
Уж я буду, уж я стану свою прежнюю любить...

Лада улыбнулась и сказала:

– Хорошо, если бы Борис женился... на ней.

Старики переглянулись, а Ермишка произнес:

– У нас в Рассее хорошо насчет этого: сейчас по декрету бросил, по декрету другую взял. Без хлопот! – удивлялся спокойствию «законной»... «У них можно: одна жена да две любовницы!»

– У нее, наверно, много таких женихов? Теперь барышни ведут себя очень свободно... – выпытывала бабушка.

– Ухажеров у ней достаточно, потому очень уж из себя красивая, а только не замечал, чтобы с кем-нибудь путалась... Я завсегда при ней и... не люблю этого!.. – ответил Ермишка, обидевшись за предмет своего обожания. – Она на моих глазах, а я... я в лазарете этого не дозволю...

Когда Лада ушла, и Ермишка на полу раскладывался, бабушка опять к нему вышла и шепотком по душам поговорила: не надо, чтобы барин к ней ходил, «дома нет, ушла»... Подарила Ермишке коробочку Борисовых папирос и попросила понаблюдать, не живут ли как муж с женой. Если что заметит, надо пред начальством ее поведение раскрыть: таких надо гнать из лазарета.

– Этого я им не позволю! – пообещал Ермишка и плохо спал ночью: все думал, что вот он, дурак, с мукой возится, а там... И злобная ревность и похоть жгли его душу и тело. Кряхтел, возился, а как на свету заснул, сон приснился, будто смотрит в замочную дырку и видит, как поручик с княгиней на диванчике друг друга жмут и целуют... Эх!..

Вскочил и встряхнулся. Ехать надо!.. Пошел к рыбакам, поел с ними ухи и поехал в Балаклаву. И снова ревность и злоба, смертный страх перед зеленой клокочущей волной, морская болезнь и нирвана. Укачало. Не пожалел денег: на линейке в Севастополь поехал. Поскорей попасть в лазарет хотелось. Пришел в лазарет, поднимается по лестнице, а навстречу спускается напевающий песенку поручик. Не обратил внимания на честь Ермишки, прошел мимо. Ермишка оскорбился и, приостановившись, проводил поручика злобным взглядом: неужели всю ночь с ней пробыл? Веселый, песенку поет... «Вот уж я тебе спою!»

Потеря в палатах, в коридорах, а потом под предлогом переменить воду в графине пошел в комнату Вероники. Та переодевалась и рассердилась: зачем полез, не постучав предварительно в дверь?..

– Так что виноват! Раньше заходил – ничего не говорили...

– Неправда! И все равно: раньше не говорила, так теперь говорю...

Это прямо ошеломило Ермишку. Теперь для него не было

сомнений, что между ними было «это»...

Следующий день был у Вероники «выходной». Нарядилась, ждала и все на часы посматривала. Ермишка сразу догадался, что поручик придет. Так и вышло. Долго сидели в комнате вдвоем. Ермишка осторожно пробовал дверь: заперта была. Ходил по коридору – на нем лица не было. Придумал: разбил термометр и послал к Веронике сиделку за новым. Если сразу не отопрет двери, значит – верно. Стоял в сторонке и наблюдал: долго не отпирала, а потом чуть приоткрыла и в щелку разговаривала. Потом спросил сиделку:

– Что они там делали – видела?

– Чай, дверь-то заперта была. На свою постельку гостя посадила – вот и все, что видела... А красивый из себя!

Вечером из лазарета ушли – как из крыльца, так сейчас же под ручку. Ермишка караулил, когда вернуться. До одиннадцати не пришли, а после одиннадцати крыльцо запирается. Как звонок, Ермишка вниз и в стекло смотрит, кто звонит. У крыльца фонарь, а в швейцарской темно: все и видно в стеклянную дверь. Поймал-таки. Долго не звонили. Ермишка сбежал с лестницы и наткнулся: вошли они в парадную и не звонят, а стоят да целуются. Не вытерпел Ермишка: постучал в стекло, а сам бегом по лестнице. Понимай, что люди видели! Спрятался в своем чулане – будто спит. Прошла, каблучками по полу простучала и в свою комнату... «Вот ты какая! С офицером амуришь? Думал, что чуть только не святая, а она на тебе: любовничка имеет! Не я буду, если не

накрою вас на месте. А тогда... извините уж, пожалуйста, а мы тоже не хуже людей: либо я буду тоже любовником, либо опозорю на весь лазарет»...

Так говорил сам с собой Ермишка, лежа в темном чуланчике. Но все эти слова не облегчали Ермишкиной злобы и ревности. Теперь и похоти у него не было, а главное, что мешало успокоению и ничем не утешалось, – это горькое разочарование: он чуть только на нее Богу не молился, считал ее чуть только не за святую, а она вон что!..

– Ах, ты, подлая! Ах, ты...

Самыми скверными словами ругал Ермишка княгиню шепотом, кощунственно издевался над своей святыней, придумывал и шептал похотливые угрозы, как он будет с ней любовником себя показывать... Но ничто не утешало и не успокаивало. Стал грызть угол подушки, по-звериному захрипел и вдруг заплакал...

## Глава тридцатая

Уже несколько дней бушевал над морем ветер, быстро и тускло проходили коротенькие дни, и мучительно долго тянулись черные ночи с морским грохотом, свистом ветра в клонящихся деревьях, с тревожным громыханием железной крыши белого домика. Не было ни свеч, ни керосина, домик освещался первобытным самодельным светильником, мерцавшим, как одинокая свечка в темной церкви. Жуткие были ночи. Казалось, что и в природе началась революция: приборой грохотал о прибрежные скалы как орудийная пальба, казалось, что это не ветер, а человеческий плач и стоны во тьме ночи. Зловеще пылали костры рыбаков ночью на пляже, напоминая пожары, поджоги, разбойничьи шайки. Ветер доносился ночью от костров полупьяные песни, обрывки хохота, криков и гармонику. Старикам вспоминался пережитый разгром имения, злобная толпа, пожар в родном гнезде. Пожимались от страха и шептались:

– Откуда гармоника? Раньше не было гармоники...

Всю ночь пиликала гармоника. Гармоника переносила на север, в русскую деревню, и пугала их больше всего. Тогда, как приехали громить усадьбу, тоже пиликала гармоника...

– Гм! Музыкант появился...

Как не идет Крыму гармошка. Раздражает.

Утром появился и музыкант. С гармошкой под мышкой,

поплеывая шелухой подсолнечных семечек, подошел к балкону широкомордый человек, приподнял картуз и спросил старуху:

– Не опознали?

Лицо знакомое. Старуха всмотрелась пристальнее и спросила:

– Да не ты ли привозил нам муку из Севастополя?

– Так точно. Я самый. Мил – не мил, а зови Ермил!

– Как же ты сюда попал? Разве ты не в лазарете?

Ермишка объяснил: его тогда еще, как муку привозил, рыбаки звали в свою артель, только жаль было уходить:

– Я человек сознательный и служил не ради денег, а прямо скажу: душой к одной подлой привязался. Прямо как вроде Богу на нее молился. Та самая, которая мужа у вашей дочери отбила! Княгиня Вероника Владимировна. Я ее за святую почитал, а она, действительно, б...

Ермишка произнес простонародное ругательство, каким называют публичных женщин. Старушка смутилась, но ненавидя эту особу заглазно, очень ласково заметила:

– А ты все-таки, Ермила, так не выражайся! Нехорошо.

– Вы меня, барыня, покорнейше извините, а я должен выразиться. Помолчали мы довольно, можно и правду сказать... Вот я пришел вам сказать, что отбила она мужа у вашей дочки, – присягу могу дать!..

Ермишка рассказал, что за эту правду он пострадал:

– Не в свое дело, видите ли, полез, не позволяю офице-

рам по ночам сестер на парадный вызывать. Ну и плевать! Я оставил должность! Что я в лазарете получал, что здесь заработаю? И при том сам себе барин. Одно, конечно, обидно: в человеке ошибся. Всю душу она во мне перевернула, сволочь. Я готов был за нее жизнь отдать, прозакладывал, что она с мужчиной не будет без законного брака гулять, а она... Эх!

– Так неужели правда, что она живет с мужем нашей дочери?

Ермишка снял картуз и перекрестился, потом плюнул.

– А ты доложил кому следует?

– Там одна белогвардейская сволочь. Друг за дружку держатся...

Поговорили еще втроем: старик на балкон вышел. Ермишка и ему все рассказал, да еще и по секрету что-то на ухо добавил, а потом раскланялся и с достоинством пошел прочь и, выйдя за ограду, заиграл на гармонике, говорком подпевая:

Сколько раз я зарекался  
Этой улицей ходить:  
В одну подлую влюбился,  
Не могу ее забыть...

Опять разбередил старикам семейную драму. Что-нибудь не так. Почему Лада не ревнует, почему дает такую свободу Борису, не делает ему сцен? Почему не ссорятся, а как будто

живут дружнее прежнего? Оба что-то скрывают от них. Ношила в мешке не утаишь. Надо это поскорее выяснить... поправить дело, пока не поздно. И вот они начали старательно поправлять дело... Стали истязать душу Лады. Старое, испытанное в браке средство... Старики «пилили» Ладу, почему она так странно равнодушно относится к любовным похождениям Бориса? Почему не заявляет своих прав и не скажет прямо, что это – подлость? Она, Лада, всем пожертвовала для Бориса: законным мужем, святостью брака, отцом своего ребенка, мало того – она приняла на душу страшный грех... да, да... страшный грех: жить с братом мужа – это кровосмешение, караемое и божескими, и человеческими законами!.. «Пусть все это Борис примет во внимание и имеет ввиду, что Владимир ушел на фронт и погиб именно для того, чтобы не мешать вашему счастью»...

Лада оставалась совершенно равнодушной, даже улыбалась.

– Ну а если он... женится на этой особе?.. Увлечется окончательно и женится?

– Я его благословлю.

– Ты ненормальная...

– Я не люблю Бориса... И он меня не любит... Оставьте меня в покое. Если он женится, я буду любить его... как брата, и больше мне ничего не надо...

– Все вы ненормальные. Всех вас надо в сумасшедший дом!



– У нас нет счастья... такого счастья, которое было у людей раньше. Мы воруют у жизни счастье по кусочкам... Мы – нищие, папа! Мы стоим на перекрестке дорог жизни с протянутой рукой... «Подайте Христа-ради!» А если жизнь не подает, то мы... умираем с голода...

– Нет. Вы нападаете и грабите...

– Я не хочу никого грабить, а вот вы меня заставляете, сами заставляете.

– Мы?

– Если Борис любит ту женщину, а я буду мешать и требовать, чтобы он отдал свою любовь мне, значит – я буду нападать и грабить. И вы заставляете меня делать это! Я неспособна на это и... я люблю другого.

– Вот как? Я знаю, что ты живешь с Борисом, у меня есть полное основание утверждать этот факт...

– Ради Бога, не доказывайте! Не надо...

– И если ты...

Лада заткнула уши, убежала в свою комнату и заперлась. Старики, возмущенные и огорченные признанием дочери, стали совещаться, как быть и что делать. Главное, кого она тут может любить? Кто этот другой?

Перебирали всех немногих культурных мужчин, живших в поселке, – их было так мало – и ничего не выходило. Может быть, какой-нибудь из простых? Рыбак или пастух? Недаром сболтнула о том, что приходится воровать счастье. Такие времена, что все возможно... Догадка казалась неверо-

ятной: среди рыбаков был красивый юноша, полугрек, который подозрительно любезен с Ладой: преподносит то рыбы, то крабов и непременно норовит отдать в руки самой Ладе. Неужели связалась с этим смазливый мальчишкой? Чем больше гадали, тем догадка казалась правдоподобнее: то-то она часто уходит и пропадает надолго, а возвращается тихая и утомленная... Ну а как же с Борисом? Живет с обоими? Какая гадость! Разврат! И тогда Борис прав, и нельзя к нему предъявлять ни обвинений, ни требований...

– Вот, матушка, мы все про большевиков говорим... Что там эти декреты и всякие социализации, а у нас? Эх, всю Россию сделали сплошным публичным домом. Поскорее бы уже сдохнуть, что ли!..

Однажды Лада, по обыкновению, погнала козу пастись в горы. Старик решил выследить. Разве угонишься в его лета за молодой и проворной женщиной?.. С горы на гору? Потерял, долго бродил и неожиданно наткнулся на козу: привязана за веревку к корявому пню, щиплет травку, а Лады не видно. Побродил вокруг, покричал – не отзывается. Ну вот! Теперь ясно. Торопливо вернулся домой и пошел на берег к рыбакам:

- А где Харламбий?
- Крабов ушел ловить...
- Давно?
- Давно уж.

Открытие! Все рассказал жене. Стали чувствовать себя

виноватыми перед Борисом. Как-то вернулся он из Севастополя веселый, жизнерадостный и за чаем на балконе при всех, даже при Ладе, сообщил приятную новость: приехала из России его «первая любовь», и скоро он всех познакомит с ней, привезет ее сюда погостить. Она служит в лазарете, ей дают отпуск на неделю – и вот он пригласил... Прекрасный человек! Таких женщин теперь нет уже, обломок старины: есть в ней что-то «тургеневское»...

– Твоя невеста? – весело спросила Лада и искренно обрадовалась: она много слышала уже об этой девушке от Владимира. Будет веселее с молодой, а то так надоело ворчанье.

У Лады с Борисом давно уже все оборвалось. Лада отдыхала от «любви» Бориса, повеселела, расправила смятые крылья души. Никаких объяснений не было. Просто оборвалось! Борис оставил ее в покое. Это было так неожиданно и непонятно, а вот теперь все объяснилось:

– Моя первая любовь...

Старик нахмурил брови и спросил:

– Первая с конца, вероятно? Ну а как же ты, Аделаида? Ты теперь будешь под каким номером?

– Какое вам дело, папа?

– Ты тоже пригласила бы свою «первую любовь» сюда погостить. Ничего понять не могу. Мужья выдают замуж своих жен, жены женят своих мужей. Поистине, Содом и Гоморра!

Ничего не склеивается, все расползается. Так казалось старикам. А Лада с Борисом подружились. Точно спали с

обоих тяжелые цепи, которыми они были скованы между собой. Уходили на берег моря, сидели и доверчиво, по-дружески говорили о Веронике. Лада слушала и думала: должно быть, Вероника очень хорошая и сильная – Борис точно воскорес к новой жизни. Стал ласковый и все просит прощения у Лады, целует ей руки и все спрашивает:

– Презираешь ты меня, Лада?

Что-то новое появилось в глазах Бориса. Может быть, в них застыло выражение нового чистого счастья, новых надежд, кроткая мечтательность...

Проснулась потребность быть чисто одетым, деликатным и красивым в словах и поступках. Приехал Карапет, а Борис спрятался. Почему? С этим приятелем связано много грязных и пошлых воспоминаний; теперь, после встреч и разговоров с этим человеком, Борис чувствует себя так, словно в чем-то испачкал свое чувство к Веронике.

– Привези ее. Я ее уже люблю... За то, что она сумела сделать то, чего не смогла сделать я: пробудила в тебе человека! – грустно, со вздохом сказала Лада. Стала отирать платочком слезы.

– Нет, нет, Лада, не обвиняй себя!.. Наша любовь родилась в кровавом зверином кошмаре... Я еще и сам не твердо верю в новое и потому иногда боюсь его. Вероника – как страничка из далекой и прекрасной жизни, когда человек сам освещает свою любовь всякой красотой... Когда перечитываешь эту страничку, кажется, что все вернулось... А вдруг все это

тоже самообман? Способен ли я, Лада, ответить на эту чистую любовь?..

– Верь, Борис, и все будет хорошо...

– Хочется верить, Лада, очень хочется, но... бывают моменты, когда я теряю в себя веру и ловлю себя на «зверином»... Оно выскакивает вдруг неожиданно для меня самого... Чистота этой девушки... иногда... рождает во мне какое-то звериное желание осквернить, развратить... Впрочем, это случалось раза два... обыкновенно же этого не бывает... Вообще, все это для меня ново: такое юношеское боготворение, романтизм... Ходил с ней в собор и молился... и верил в Бога! Хоть несколько минут да верил... Она, знаешь, религиозна, и это отражается на моей душе...

– Ее любовь, Борис, очистит твою душу... В ней твое спасение...

– Дай, Лада, руку... поцеловать. Какая ты хорошая, добрая!.. И ничего этого я раньше не замечал и не ценил...

– Ты ей ничего не говорил о нашей... наших отношениях?

– Нет, Лада, не хватает духу...

– И не надо. Зачем? Только смутишь, загрязнишь... Мы должны все это забыть. Точно ничего не было. Хорошо?

– Хорошо. А ты сможешь это сделать... сама-то?

– Смогу. Я хочу любить тебя только, как своего брата... У меня не было братьев, и я всегда жалела об этом. Ну, вот... ты – брат.

Вернулись домой оба необыкновенные: точно всю жизнь

давали только одну радость друг другу. У стариков даже появилась надежда, что все снова устроилось. Только бы уж вела себя иначе! Но уехал Борис, и Лада снова стала уходить в лес под предлогом пасти козу и снова возвращалась странной и загадочной: напоминала жену, которая обманывает мужа. Старик решил откровенно поговорить с дочерью. Так честная, порядочная женщина делать не может. Однажды, когда Лада вернулась со свидания расстроенная, с заплаканными глазами, отец зашел к ней в комнату:

– Вот что, Лада... Долго я молчал, но больше не могу...

– Ну что вам от меня нужно? Не даете мне жить...

– Постой, не волнуйся!.. Ты знаешь мои взгляды: я все могу простить и все понять, но... мне тяжело... Не воображай, что мы с матерью слепы и ничего не видим... Я не могу! Я требую, чтобы ты изменила свое поведение!

– Поведение?.. Я, папа, не в гимназии... и мне пятерок за поведение не надо.

Отец вспылил. Тихоня, а такая дерзкая на слово. Пусть знает, что ему все известно:

– Ты думаешь, что я не знаю, куда ты ходишь с твоей козой? Ты ходишь на свидание к любовнику. Я знаю, с кем ты связалась...

Лада вспыхнула:

– Да, да... к любовнику! И сегодня вы его увидите: он придет ко мне ночевать. Довольны?

Что она говорит? Старик даже растерялся. Несколько

мгновений стоял молча, пожирая испуганными глазами смеющуюся сквозь слезы Ладу, потом круто повернулся и вышел, сердито хлопнув за собой дверью...

Не давалось людям в эти страшные дни счастье. Если им удавалось поймать эту сказочную «Жар-птицу», то не удавалось удержать: вырывалась, оставляя несколько перышек из хвоста. Дорожили, берегли эти перышки, но налетал «ветер с пустыни» и уносил перышки, или они тускнели в грязных, испачканных слезами и кровью руках человеческих...

Недолго продолжалась сказка ладиной любви в хаосе. Такая коротенькая и яркая сказочка, перышко из хвоста «Жар-птицы». Вспыхнуло и потухло... Несколько свиданий прошло ярко и красиво, окутанные тайной, забвением и красотой воскресших призраков прошлого. Но сменились яркие солнечные дни пасмурными осенними, закипело море хмурыми тяжелыми волнами, свинцовое небо упало над ним и бесконечные вереницы темно-сизых туч поползли из-за горизонта, гонимые злыми ветрами. И вот унесли коротенькое счастье в хаосе. Точно догорел костер...

– Володечка, ты что сегодня такой печальный?

– На меня нападает тоска... Особенно по вечерам... Может быть, на меня так действует морской прибой, этот рев моря... Слушаешь его, и начинает казаться, что весь мир вымер и ты один остался на всей земле. И приходят в голову разные вопросы... о жизни вообще. Знаешь, как я себя называю? – Замаринованный покойник!.. Или еще: зверь в клет-

ке. Это очень похоже... Только теперь я понял несчастных зверей в зоологических садах. Если бы они догадались и сумели, они все, конечно, покончили бы самоубийством...

– Я приходила бы к тебе чаще, но за мной следят, и я боюсь... Тебе скучно тут... Но что же делать?

– Дело в том, что от себя никуда не спрячешься... и всего менее именно в одиночестве... Если бы еще книг побольше достать, – может быть, забывал бы о себе, а то...

– Я просила Бориса привезти мне книг, но он забывает...

– Да, ему теперь не до книг... Не была Вероника?

– Нет. Скоро они должны приехать...

– Женится, что ли?

– Да.

Владимир вздохнул и задумался. Сидели и молчали. Казалось, что не о чем говорить. Владимир походил по дворику, приостановился около Лады, погладил ее по голове и сказал:

– Двум смертям не бывать, а одной не миновать... Не хочу быть гориллой в клетке. Не могу больше, Лада!.. Скажу тебе откровенно: вчера ночью я выдержал сильную борьбу со смертью... Совсем было решил, да захотелось проститься с тобой и с ребенком... Видно, с волками жить – по-волчьи выть... Если отказываешься убивать других, то смерть самого тебя хватает за горло...

С тоской и ужасом смотрела Лада на Владимира, и не было у нее таких слов, чтобы тот понял ее страдание. Только глаза. И в них Владимир прочитал ужас смятенной души.



– У меня просто скверное настроение, Лада... Ты не придавай моим словам особенного значения.

– Если ты сделаешь что-нибудь над собой, я... тоже... не останусь жить. И знай, что убьешь не себя, а всех нас... и нашу девочку! Я никому не оставлю ее на этом свете... с собой возьму!..

– Ну, Лада, это уже совсем... дико. Это в варварские времена родители имели право распоряжаться жизнью детей, а теперь...

– И теперь варварские времена...

Опять сидели молча и думали. Ладе надо было уходить, но... взглянет мимоходом в лицо Владимира и боится уйти. Уже смеркалось, а она сидела на камне, как изваяние.

– Тебе пора, Лада...

– Я не уйду... Знаешь что?.. Давай умрем вместе!.. Я тоже устала жить...

Владимир встрепенулся: точно разгадал вдруг загадку, над которой он долго трудился напрасно. Станный огонек блеснул в его глазах. Он так настойчиво в последние дни думал о самоубийстве, и всегда она, вот эта несчастная женщина, которую он связал со своей жизнью, становилась поперек дороги к смерти, избавительнице от всех мук. И вот теперь все разрешается...

– Уйдем, Володечка, все, все!..

– Нет. Только вдвоем.

Лада заплакала. Уйти и оставить ребенка – нет, она не в силах сделать так!

Владимир ходил около и говорил. Они с Ладой прожили свою жизнь. Была эта жизнь коротенькая, но она была, как свеча под ветром, – сгорела, и не стоит жалеть огарка, который только коптит, а не светит больше. А жизнь ребенка вся впереди. Кто скажет, какова будет эта жизнь? И кто скажет, что будет через десять лет? Он, Владимир, фаталист: смерть приходит к каждому в предначертанное время. Разве Лада не чувствует, что их жизнь сгорела? Ничего, кроме смерти, впереди. Все осталось позади. Только прошлое ценно, а настоящее – одна мука, скорбь и тоска. Надо все предоставить судьбе: если ребенку суждено умереть – придет смерть под маской скарлатины, тифа, дизентерии, оспы, и девочка умрет. А самим отнять у нее жизнь – это та же звериная жестокость, а не любовь. Почему Ладе кажется необходимым умереть вместе с ребенком? Материнский слепой эгоизм. Если бы девочка могла понимать, она замахала бы ручонками и закричала: «Не хочу!»...

Лада слушала и поддавалась внушению: уверенная страстная речь Владимира действовала на нее, слабовольную, как «заговор» колдуна на темного человека. Слушала и кивала головой. Да, Лада верит в загробную жизнь и верит, что все они соединятся потом. От этой мысли лицо Лады просияло улыбкой.

– Уйдем, Володечка!.. Я так устала!.. Так хочется отдох-

нуть...

Владимир подсел и стал ее ласкать. Гладил по голове и целовал мокрые от слез глаза. Шептал ей: сегодня он придет ночевать, он простится с ребенком и потом уйдет, совсем, навсегда...

– В море? – шепотом спрашивала Лада.

– Да, в море...

Владимир уже ходил к берегу: там есть огромный камень, с которого можно спрыгнуть.

– Только... скорее!., чтобы не мучиться...

– Можно сперва из револьвера... упадешь с камня, и все кончено...

Они сидели, как заговорщики, и шептались. А море ворчало прибоем, взметывая ввысь каскадами водяной пыли свои зеленые тяжелые волны с белыми гривами, как несметные полчища всадников, скачущие правильными рядами, как конница, от затуманенного горизонта.

Крепко поцеловались, глядя друг другу в глаза...

Итак, он придет, как только стемнеет. Лада кивнула и пошла домой...

А дома объяснение с отцом, обвинение и попрек «любовником».

– Да, да! Ходила к любовнику. И сегодня вы его увидите: он придет ко мне ночевать. Довольны?

Так и случилось. Когда совсем уже стемнело, в дверь балкона кто-то постучался. Отпер старик.

– Не бойтесь! Последний визит...

Ужас объял старика: перед ним был снова «покойник». Что-то зашамкал губами, метнулся в сторону, зашатался и упал, наотмашь, ударившись оголенным черепом об пол. Выбежали Лада, старуха. Перетащили потерявшего сознание старика на диван. Он неподвижно смотрел широко раскрытыми глазами на окружающих, шевелил губами и мычал... Спустя десять минут в доме был настоящий покойник. Никто не плакал. Казалось, что в белый домик пришла сама смерть, и все притаились и спрятались... Только в комнате старухи загорелась синим огоньком лампадка перед старым образом в потемневшей серебряной оправе...

Зачем пришла смерть в белый домик? Может быть, она не хотела принять жертвы, которую ей готовили заговорщики?..

Пришла и помешала...

# Глава тридцать первая

Негде достать гроб!..

Вошла за плечами Владимира смерть в белый домик, но никто не плакал, все прятались за вопросом: «Где достать гроб?» Вообще – как быть с покойником? Церковь и кладбище далеко, верст за десять, проехать по измытой ливнями и забросанной огромными камнями дороге невозможно, да и не только проехать, а даже пронести на руках гроб – неразрешимая задача. Даже священника достать трудно: согласится ли идти пешком? Люди перестали ходить по шоссе: под Байдарскими воротами хозяйничали опять «зеленые», а может быть, просто грабители. Как и где похоронить? Нельзя отдать последних почестей при разлуке с близким человеком: отслужить панихиду, возжечь восковые свечи, почитать погребальные псалмы и каноны, проводить торжественным шествием до могилы... И от этого человек мертвый становится не покойником, а трупом, и самая смерть теряет свою значительность... Лежит старик на диване под простыней и только пугает: от мигающей лампадки кажется, что мертвый шевелится под простыней... Это так странно: Лада, решившая сама отдаться смерти, теперь боится войти в зал и остаться с мертвым отцом. Точно не отец, а просто чужой мертвец. Прячется в своей комнате, около ребенка, который беспечно и весело разговаривает, смеется и этим не пускает

мысли о смерти в комнату. Владимир в комнате брата все пишет «прощальное письмо людям» и не появляется в зале. Одна старушка войдет, постоит, повздыхает, потрясет головой, отрет слезки, перекрестится и уйдет в свою норку думать о том, что и ей пора на вечный покой. Нечего больше в этой жизни ждать! Все кончилось, кроме смерти. Прошлепает туфлями, заглянет в комнату Лады:

– Ладочка! Как же без гроба и без священника? Точно и не человек...

Лада вздрагивает, сожмется и со стоном ответит:

– Что же, мама, я могу сделать?

От Лады к Владимиру:

– Владимир Павлыч! Как же быть-то теперь... похоронить-то человека?

Он сам накануне смерти, а жизнь заставляет заниматься такими пустяками:

– Вырыть могилу, завернуть в простыню, перекрестить и зарыть...

– Так ведь я и этого сделать не могу!.. Из-за вас помер, вы испугали, а даже помочь не хотите...

Пишет и не отвечает. Опять позади стонущий голос старухи. Оборачивается и с раздражением говорит:

– Завтра я вырою яму, и похороним...

– Яму? Что он, собака, что ли?

Взяла старуха палку и поплелась к морю, к рыбакам: надо поскорее Бориса вызвать, послать за ним в Севастополь, мо-

жет быть, этот Ермила согласится пешком сходить – поблагодарит она его. А может быть, и гроб рыбаки сделают... Люди же! Должны понять. Долго спускалась по тропинке. Пришла. Рыбаки спали. Разбудила одного и рассказала. Тот спросо-нья ничего не понял, махнул рукой и, отвернувшись, снова улегся. Точно сказал: «Не мое дело!» Старуха села на лавочку и завывала. Проснулся Ермишка. Что такое?..

– Батюшка! Ермилушка! Горе-то у меня какое...

– Что такое?

Рассказала старуха, а Ермишка потянулся, крякнул и сказал:

– Ничего, старушка Божия! Все в свое время помрем. Три фунта сахару дашь, и гроб сколотим, и могилу выроем, и все честь честью... Ребята!

Разбудил товарищей, обрадовал сахаром. Нигде сахару не достанешь, а тут три фунта. Поговорили между собою:

– За четыре фунта согласны!..

– А пять фунтов дашь, так и за попа справим, – пошутил один молодец, и все захохотали.

Не люди, а звери. Даже из великой тайны смерти человеческой устраивают себе развлечение. Старуха чуть ползла в гору, возвращаясь домой, земля уползала у нее из-под ног, колючая одышка мешала дышать, точно сердце комом вставало в горле. Умереть бы! Остановилась, а позади веселые голоса: Ермишка с ребятами догоняют – с кирками и лопатами.

– А где, бабушка, могилу копать будем?

– Повыше где-нибудь... Подальше от людей...

– Постараемся, бабушка! Покрасивее местечко выберем, чтобы далеко видать было покойничку с высоты. По горе лесенку выложим, если три коробка спичек прибавишь...

– Ладно. Прибавлю...

– Идем, ребята!.. А чай у вас остался?

– Есть еще...

– Поработаем да чайку с сахаром попьем. И что такое? Не могу без сахара жить? Чего нет, то всего дороже на свете...

К вечеру Ермишка с Харлампием гроб принесли и сказали, что все готово. Помогли старика обмыть и в гроб уложить. Ермишка удивлялся:

– Смердит от него... И что такое? Помер, и дух скверный... Что от человека, что от падали... Одна цена!.. А сахарку-то, бабушка?

– Сейчас разве? После уж... когда похороним.

– Не обманем!.. Доверься! Долго ли отнести да закопать?

Пустое.

Со смертью и Ермишка в белый домик вошел: нужным человеком сделался, главным распорядителем по погребению. Обещал старухе ночью, перед рассветом, в Севастополь пойти – поручику дать знать, чтобы скорее домой прибыл. Старуха записку с вечера ему дала. Все было готово. Последнюю ночь старик в белом домике ночевал. Ночь была черная, но тихая. Ветер сразу оборвался, точно устал. Только море все



еще роптало и тяжело вздыхало, бросая на камни своих белогривых коней. Только ропот моря и молчание. Такое страшное зловещее молчание гор, скал, деревьев, всей природы... Лада чутко дремала в постели, обняв рукой девочку. Теперь она не могла спать без девочки. Точно утопающий, хваталась за эту соломинку. Инстинкт жизни толкал ее к ребенку, а Владимир стал казаться страшным, как сама смерть. Гроб в доме – Владимира тянул к смерти, а Ладу отталкивал. Трупный запах в комнатах делал смерть отталкивающей и омерзительной. Лада старалась заглушить этот смрад духами, одеколоном, а смрад все-таки не пропадал. Momentами Ладе казалось, что этот смрад пропитал все ее тело. Нет, она не в силах оторваться от чистого маленького ангела и превратиться в смрадный труп! Она – жалкая, безвольная, глупая – и не может подчинить свои чувства логике и разуму. Жить хотя бы только для того, чтобы видеть ребенка, слышать его голосок, смотреть в его прозрачные для души глазки, осязать его теплое тельце!..

Трижды стукнул к ней в дверь кто-то, и дрема спала с души, а сердце застучало испуганно: она почувствовала, что за дверью Владимир. Осторожно высвободила руку из-под ребенка, соскочила с постели и подошла к двери. Было страшно отпереть, словно за дверью стоял не Владимир, а сама смерть.

– Лада!..

Точно за ней пришел палач, чтобы вести на казнь. Конеч-

но, Владимир... сейчас позовет ее туда, в темную ночь, которая зловеще молчит за окном.

– Лада, отвори!

Нельзя не отворить. Отперла, вся дрожит, как в лихорадке, и с мольбой смотрит в лицо мужа, ожидая его первых слов.

– Ну что ж?

Схватила его за руку и подвела к постели:

– Посмотри! – шепнула, точно ответила на вопрос.

Владимир долго стоял с опущенной головой, точно боялся смотреть на своего ребенка.

– Посмотри же! – умоляюще произнесла Лада.

Он поднял голову. Ребенок лежал, раскинувшись точно летел, распластав руки-крылья. Золотистый локон упал на раскрасневшуюся щечку, и смешно оттопыривалась верхняя губка... Владимир смотрел, не отрываясь, и на лице его появилась улыбка. Как луч солнышка через синюю щель в тучах. Лучше было не смотреть! Точно вся притягательная сила жизни собралась в этом маленьком спящем человечке. Точно сама жизнь, обратившись в этот живой цветок, открылась его глазам из-за всех ужасов, мук и страданий в прекрасном своем образе... Стоял и молча смотрел удивленно-печальными глазами. Лада вдруг упала на колени, припала к ногам Владимира и заплакала:

– Я не могу... уйти!.. Не могу!.. И тебя не пущу... Ты не уйдешь...

Владимир склонился, поднял с пола Ладу, и они порывисто обнялись и оба тихо плакали около спавшего ангела. И от этих слез, казалось, расплавилось и распалось железное кольцо смерти, в котором они оба себя чувствовали несколько последних дней. Не было никаких слов, были только объятия и тихие слезы, но оба радостно ощущали физически, что смерть еще раз побеждена жизнью...

Там, в зале, в гробу – смерть, а здесь, в постели – жизнь.

Ребенок точно почувствовал значительность момента в жизни своих родителей: заговорил и засмеялся во сне. Это было как чудо, открывшееся прозревшим душам. Оба притаились и жадно слушали сонный лепет.

Не поймешь! Понятно только одно: радость во сне. Чтобы не разбудить и не испугать радостного сна, мать потянула отца за руку, и они осторожно, на цыпочках, вышли из комнаты. Проскользнули в комнату Бориса, где прятался теперь Владимир. На столе, в ореоле светлого круга от мерцающего светильника, лежал в кобуре револьвер. Лада прежде всего увидела этот револьвер.

– Отдай!

Не дает: предупредил протянувшуюся руку Лады и схватил револьвер.

– Отдай!

– Не могу...

На глазах у обоих еще слезы, а они уже улыбаются друг другу. Лада отнимает револьвер, уговаривает – отдать ей.

– Я не могу отдать... Он мне нужен, как самая последняя защита...

Он не убьет себя, дает слово. Но без револьвера он не может, он должен знать, что у него есть верный защитник человеческого достоинства... Если он будет знать, что защитник с ним, он будет чувствовать себя человеком...

– Я не хочу, чтобы меня убили, как собаку, я не хочу пойти на убой, как баран на бойню, я не могу позволить поругания или пыток... А ведь все это теперь может случиться... Я убью себя только в том случае, если мне придется все равно умереть... с позором. Ты сама не захочешь этого.

– Тогда я тебе отдам, сама отдам... Клянусь, что отдам!

– Пожалеешь и не отдашь...

– Ты мне не веришь?

– Я не верю... ни тебе, ни себе... Час тому назад я решил умереть, а вот видишь... и не могу! Посмотрел на ребенка и не могу...

– Я верю, что Бог спас нас от смерти... вот через эту жалость к ребенку... Я молилась, Володечка... И вот видишь – случилось чудо!..

– Я даю тебе честное слово, что воспользуюсь револьвером только в том случае, когда... одним словом – если меня принудят к этому чисто внешние обстоятельства, а не добровольное внутреннее решение.

– Перекрестись!

– Ведь ты знаешь, что я... давно потерял Бога...

– Все равно... перекрестись! Прошу тебя, Володечка.

– Что ж... если хочешь...

С виноватой улыбкой на лице Владимир перекрестился. Лада просияла.

– погоди!..

Она погрозила ему пальцем и выскользнула из комнаты. Через несколько минут она снова появилась.

– Вот тебе... вместо револьвера!.. Это крестильный крест нашей детки...

Перекрестила Владимира и надела ему на шею золотой крестик на голубой ленточке.

– Отдай!

– Возьми!.. Но если мне придется расстаться с тобой, ты мне отдашь его, – сказал Владимир, передавая револьвер Ладе.

– Конечно, Володечка. Я понимаю, что без него нельзя жить теперь...

Лада крепко поцеловала Владимира и ушла. Странное чувство охватило Владимира. Первый раз остался безоружным. Сперва стало страшно, точно сделался калекой, которому недостает правой руки. Потом страх растаял, и на его месте появилось кроткое и радостное смирение, какая-то новая неведомая сила. Сила в бессилье. Разве он не сумеет умереть с достоинством и без револьвера? Стал вспоминать разные случаи, когда мог потребоваться револьвер. Положим – повели, как барана на убой, расстреливать. Пусть! Он бросит в

лицо палачам всю правду, все презрение, посмеется им в лицо и гордо встретит пулю. На издевательства ответит тем же, на оскорбление – оскорблением. Пытки?.. Вот-вот! Только одно это и страшно. Физическое страдание... Вот если это вынесешь с мужественной гордостью, с презрением к палачам, вот тогда ты – человек! Может быть, в этом револьвере сокрыто подлое чувство трусости? Вспомнил, как умер адмирал Колчак: отдал расстреливающим свой золотой портсигар, сказав:

– Возьми на память от того, кого ты убиваешь!

Когда палачи впали в смущение, с презрением крикнул:

– Даже расстрелять не умеете. Слушай команду!

И ему, расстреливаемому, стали повиноваться, как начальнику...

Какая красота в смерти этого большого духом человека!..

Вспомнился и еще случай: казаки поймали на станице Тихорецкой – это было на Кубани, в дни победного наступления Деникина на Екатеринодар – парня из так называемых «иногородних», который, спрятав бомбу, толкался на вокзале: ждал, не появится ли генерал Деникин, чтобы убить его. На допросе назвал себя «большевиком» и откровенно сознался в своем намерении. Владимир проходил около мобилизационных казарм и заинтересовался: казаки образовали плотный круг и дружно хохотали. Можно было подумать, что в кругу боролись, плясали или играли в орлянку. Подошел и увидел: пойманный парень маршировал по диамет-

ру круга; когда он доходил до конца, то здоровенный казак бил его наотмашь кулаком по лицу и командовал: – Смирно! Кру-гом. Шагом марш! Несчастный снова маршировал, а когда доходил до противоположного конца, там получал снова удар и снова шел обратно, покачиваясь на ногах... Казаки громко хохотали, кричали и махали руками. Вдруг истязуемый, из носа и изо рта которого тяжелыми сгустками падала наземь кровь, остановился среди круга и закричал:

– За свободу, братцы, помираю!

Не плакал, не просил, а ходил по кругу и истекал кровью. Владимир попытался было остановить истязание:

– За что, братцы, его?

– Шпион... с бомбой поймали...

– Так зачем мучить? Расстрелять надо, если заслужил...

Глухой ропот пробежал по казацкому кругу. Злоба обратилась на Владимира: они лампасы вырезают, погоны гвоздями прибивают, в костер раненых бросают, а их не тронь, а только расстреливай? Где же справедливость? Кто он такой, этот офицер, который жалеет красных, а не жалеет их? Лучше поскорее уйти! Бог с ними. Готовы броситься на своего белого офицера... только за то, что пожалел и попытался остановить пытку...

Парень ходил по кругу, пока не свалился. Тут его прямо затоптали ногами. «За свободу, братцы, помираю!» – вот все, что он произнес. Гордо умер. Как настоящий герой. Он представлял себе, что с приходом на Кубань большевиков

все «иногородние» получают одинаковые права с казаками и будут жить так же богато, как станичники-казаки. Так он понимал «свободу», которая толкнула его к большевикам, к самопожертвованию и к героической смерти. Это был, конечно, обман и самообман, но вера в свое дело сотворила героя и помогла ему гордо умереть. Раньше и у Владимира была вера в свое дело, и тогда он тоже совершал героические подвиги, но теперь... Нет этой веры! Умерла... И вот нужен револювер-спаситель в моменты, когда жизнь потребует героической смерти, а такая смерть потребует веры, которой нет. Нет и злобы, которая подменила веру у большинства в обоих лагерях, в красном и белом... Все пропало, но осталось непобедимым и ярко вспыхнуло присущее человеку отвращение к убийству себе подобного. Может быть, в этом все спасение, конец братоубийственной бойни и начало общего воскресения? Может быть, он только ранний предтеча общего воскресения и потому обречен на гибель?..

На другой день хоронили старика. Долго ждали Бориса, но он не приехал.

Лада спустилась к рыбакам, чтобы узнать, не вернулся ли из Севастополя Ермишка. Ермишки не было, не возвращался, но из Балаклавы приехали рыбаки и напугали Ладу: говорят, что красные взяли Перекоп. Конечно, это неправда. Перекоп непреступен. Это нарочно распускают слухи враги белых, чтобы создать панику в тылу их.

– А вы точно рады! – упрекнула Лада рыбаков.



– Нам все одно. Мы не боимся ни белых, ни красных...

А когда Лада пошла назад, позади весело болтали и смеялись. Может быть, над ее страхом и упреком...

Только под вечер вернулся Ермишка, странный, смущенный, затаенный какой-то и злой. Сказал, что не нашел поручика.

– Как же это?

– А так же! Кабы у меня было собачье чутье, так я по следам мог бы, а я человек...

– Что ж делать?.. Надо хоронить...

– Я усталши... спать хочу. Я пешком взад-вперед отмахал, и с меня довольно...

И Ермишка подтвердил, что в городе бояться, на пароходы едут, есть слух, что на фронте неблагополучно.

– Может быть, ваш барин на фронт ушел. Все может быть. Конечно, ждать нечего. Вон, ребята помогут, а я спать...

Ребята поломались, выпросили еще сахару и табаку, пошли хоронить...

Владимир остался. За гробом шли старушка и Лада с ребенком на руках. Ребята быстро волокли гроб. Старушка и Лада с ребенком отставали. Тогда ребята ставили гроб на дороге, присаживались около и курили, ожидая отставших. Потом опять тащили, а те отставали. Наконец, взобрались с дороги на гору, к могиле, похожей на яму. Ребята торопились и хотели прямо опустить гроб в яму, но старушка с Ладой не дали. Надо проститься... Ребята отошли за кусты и раз-

говаривали, курили, а они прощались. Старушка монотонно прочитала по молитвеннику напутствие, потом опустилась на колени около гроба и, припав к покойнику, что-то шептала ему по секрету. Опустилась на колени и Лада. Помолились под пение птичек и звонкий голосок девочки. Перекрестили покойника, поцеловали в холодный лоб и бросили в гроб по горсточке земли с камешками. – Теперь можно.

Быстро заколотили и забросали ребята гроб, насыпали буророк над могилой и ушли. Старушка с Ладой долго сидели, смотря в землю, поглотившую дорогого человека, девочка звала домой, ей надоело. – Ладочка! Ты иди, а я немного тут посижу... Только вернувшись домой и не увидев на столе гроба, Лада вдруг почувствовала, что потеряла отца, дорогого «папочку», которого всю жизнь любила... Нет больше «папочки»! Точно фундамент из-под жизни вытащили... Как же теперь без «папочки»? Тоска хлынула в душу, и в первый раз после смерти отца Лада разрыдалась, упав головой на опустевший стол в зале... Видя плачущую мать, заплакала и девочка...

– Папочка! Папочка! – захлебываясь слезами, говорила Лада, пряча лицо в изгибе своей руки, а девочка тянула ее за другую руку:

– Мамуся! Мамуся!..

Вернулась старушка, прошла в свою комнату, увидела пустую кровать старика и колоду карт на подоконнике – папьянсы старик раскладывал – и, присев на свою кровать и

глядя на карты, стала всхлипывать:

– Карты-то остались... а его-то нет!.. Точно от всей долгой-долгой жизни вместе остались только карты...

## Глава тридцать вторая

Был яркий солнечный полдень. Море было спокойно. Точно застыло упавшее на землю небо. Под берегами точно кто-то разлил разноцветные чернила: синие, фиолетовые, розовые, и они не успели перемешаться и радугой играли под солнцем. В отраженных небесах и белых облаках, там и сям, по горизонту, как крыло чайки, торчал над водой ослабевший парус рыбацкой лодки. Было так тихо, что в белом домике было слышно, как перекликались люди на двух далеких лодках...

Паровой катер шел из Балаклавы по направлению к Ялте. Еще издалека он стал вызывать свистками лодку, и эти свистки в замороженной осенней тишине казались ненужными, резкими, раздражающими.

– Туу-ту-ту-ту-ту!.. Ту-у-у-у-туу!

«Что-то случилось», – подумала Лада, очнувшись от дремы, в которой она лежала на кожаной кушетке, на балконе, под зеленой сеткой вьющегося винограда, отдаваясь безвольной истоме, как все кругом: на земле, на воде, на небе... Катер, слегка работая винтом, держался близ берега, свистел и выжидал. Лада видела, как от берега отделилась лодка с двумя гребцами и поплыла вместе со своим отражением к катеру. Кто-то приехал к ним. Наверно – Карапет... А может быть, Борис? Стала пристально всматриваться. Да, ры-

баки приняли пассажира, но... кажется, – женщина. Катер резко застучал винтом, взголубил и вспенил воду под кормой и пошел дальше, а лодка, закачавшись на волне, потянулась к берегу. Да, женщина в черном! Вероятно, к кому-нибудь из здешних жителей. Теперь здесь жили в четырех домах: население увеличилось сбежавшими из города от тесноты интеллигентами. Лада снова легла и быстро отдалась ленивой истоме.

Первый, кто узнал эту женщину в черном, был Ермишка. У него был зоркий, как у ястреба, глаз.

Он ничком валялся в тени под дубками на откосе пляжа и, как поднял голову и посмотрел на приближающуюся лодку с пассажиркой, сел и вцепился глазами в черный силуэт сидевшей на корме женщины. И обрадовался, и испугался...

– Она!.. Сама! – шепнул сам себе и стал хихикать, сопровождая смешки скверными похабными ругательствами. «Небось, за любовничком приехала? Хи-хи-хи!.. Поищи теперь его! Вот это видела, сволочь?» Злобное злорадство клочкотало в душе Ермишки: она будет искать убитого им любовника. Ищи в поле ветра!.. Не встанет... Он, Ермишка, покажет им всем, белогвардейским кобелям и сукам, как над ним куражиться...

Это была правда: Вероника, три дня прождав Бориса, на четвертый день так стосковалась и так забеспокоилась, что, прослышав об направлявшемся из Севастополя катере, с капитаном которого ее недавно познакомил Борис, решила по-

ехать. Даже не просилась у доктора. Ее согласилась заменить другая сестра. Она ведь имела отпуск, которым не воспользовалась. Правда, сейчас тревожное время, но она завтра же к вечеру снова будет в Севастополе... Борис уехал внезапно, оставил ей записку: «На два дня еду домой, у нас несчастье». Даже не зашел проститься. Это было обидно: не написал даже, какое несчастье.

Она ждала, беспокойство возрастало, мучило предчувствиями разных бед – вот уже и четвертый день, а его нет... Каждый день виделись по несколько раз, и вдруг все оборвалось. Четвертый день казался таким далеким от последнего поцелуя, что не было сил больше ждать... И вот рванулась, все бросила и приехала...

Ермишка зорко следил чрез ветки дубка за лодкой. Шла Вероника от берега в сопровождении мальчишки по тропинке, ведущей мимо дубков. Впился он в ее фигуру, бегал вострыми глазками по груди, по лицу, по ногам и задыхался от трепета, от злобы и сладострастья. «Эх, красная сволочь! Чуть не до колен юбку заголила... Погоди, еще выше подыму! Для любовника подымаешь, а он... Нет уж, кончено! Я ему камнем башку разбил... Поди – погляди! – показать могу. Удостоверься! Не ищи. Теперь – моя очередь»...

Сверкнула ногами в шелковых чулках и лакированных ботинках и исчезла за деревьями. А Ермишка высунул голову и все смотрит. Кабы ночь, да одна шла, упал бы под ноги, сбил бы наземь, а кричать стала – за шею! – и готово. Вспом-

нилось Ермишке, как он барыню в лесу «покрыл»... Ну так что? А вот эту – другое дело...

Мысль испытать «блаженство с княгиней» – как мысленно выражался Ермишка – давно уже приходила к нему в голову и в тело. Еще в санитарном поезде № 5, когда незнакомый подпоручик цветы Веронике принес, вместе с ревностью впервые явилась эта мысль, но тогда «обожание» помешало ей утвердиться. А с того дня, когда Ермишка удостоверился, что поручик Паромов – ее любовник, она уже не покидала больше Ермишку. И с каждым днем эта мысль приходила к нему чаще и дольше держала его во власти. После того как Ермишку оскорбили и выгнали из лазарета, мысль о «блаженстве с княгиней» осложнилась злобой и жаждой мести. Сладострастие переплелось с жестокостью отмщения, с кощунственным поруганием ниспровергнутого кумира. Когда Ермишка шел в Севастополь с запиской к Борису, он всю дорогу горел злобной радостью: удобный случай отомстить Борису, которого возненавидел, как осквернителя своего божества и как личного оскорбителя; Борис не отвечал на его отдание чести, однажды обозвал его в присутствии княгини «идиотом» вообще, сам превознесся, а его унизил. Дорогой Ермишка уже придумал, как «обделать дело». Немного боялся: откроется – расстреляют. Но когда пришел в Севастополь и узнал, что дела на фронте у белых скверные и что на Перекопе неблагополучно, то и бояться перестал: белым будет не до Бориса, свои животы спасать придется, а крас-

ные... Они за убийство белогвардейского поручика еще награду дадут, а не то что наказывать!.. С Борисом нетрудно, а вот как «блаженство с княгиней» устроить? Кабы и ее заманить на похороны. Тогда, пожалуй, вместо похорон-то и свадьбу можно в лесу устроить!

– И-эх!..

Воображение Ермишки рисовало эту «свадьбу» в лесу во всех подробностях и мутило его рассудок. Вот уж натешится он за свои обиды!..

– В моей полной власти будешь!.. Я тебе покажу нашу солдатскую забаву. До смерти тебя... Три дня и три ночи буду с тобой заниматься, а потом – ножом в белу грудь и до свиданья, милое создание! Только все это надо умненько сделать...

Пришел в Севастополь рано утром. Попил чайку в харчевне, узнал все военные новости и в лазарет. Наложил на себя смиренность и раскаяние. Поймал княгиню в коридоре.

– Ты зачем?

– Так что хотел остальной раз на вас поглядеть и прощенья попросить.

Вынул красный платочек и будто слезу отер.

– Эх, ты!.. Хороший ты парень, а только характер у тебя дерзкий...

Сразу разжалобил княгиню. Стоит, точно виноватая. Говорит, что попробует похлопотать, чтобы опять приняли в лазарет. Без места теперь трудно.



– Много благодарен! Только я служил не для ради жалования... Место я имею. Мне обидно только, что я вашу репутацию потерял, а на другое – наплевать!

Еще больше разжалобил Веронику.

– Обидно, что свою любовь к вам... то есть вот как: скажи вы мне – «Помри за меня» – и помер бы, не задумался!.. А господин поручик не так меня поняли и обидели...

– Погорячился он тогда...

– Конечно, мы что? Разя мы люди? Рабы мы... только. Наша любовь не ценится.

Совсем победил сердце Вероники: хороший, преданный человек, только с большим самолюбием. Оно и понятно: теперь в людях просыпается сознание человеческого достоинства, нужно щадить самолюбие простого человека. Одним словом, ошибку сделали.

– Ну, дозвольте остальной раз ручку поцеловать!.. Навеки!..

Что ж поделаешь? – дала руку, иначе еще раз оскорбишь человека.

Ни словом не обмолвился Ермишка, что прислан за поручиком из дому и что там помер старик. Узнал от швейцара адрес поручика, пошел в номера, где он жил, и попросил коридорного передать записку, а сам ушел в харчевню напротив номеров, уселся под окном на улицу и стал следить. В те дни море было бурное. Рыбаки в Балаклаву не ездили, и потому для Ермишки было ясно, что поручик может попасть

домой только по главному шоссе, через Байдары. Важно было Ермишке только одно: когда выедет и как? Если на автомобиле – не угонишься. Выследил: поручик очень скоро вышел из номеров и направился на базарную площадь, где была стоянка дилижансов на Балаклаву. Дурак! Кто теперь морем повезет? Дилижанс пойдет нескоро: надо пассажиров набрать, а куда всего один поручик. Ермишка срядился с татаринном и поехал на мажаре. Не доезжая Байдар, слез. Поднялся на горы, откуда все дороги видны: и ялтинское, и балаклавское шоссе, и дорогу в Хайтинский лес, которым ходят для сокращения пути в Бати-Ли-ман, минуя Байдары. Теперь не ускользнет. Не прошло часу времени, как на шоссе появился легковой извозчик с военным. Он! Так оно и вышло: около дороги на Хайтинский лес слез с извозчика, расплатился и пошел пешком.

– Мой теперь! – прошептал Ермишка и спустился в овраг, чтобы опередить Бориса. Как медведь, продирался напрямик, взбираясь на гору, густо заросшую дубняком и кизилом. Глухо в лесу. Дожди размыли дорогу, татары перестали по ней ездить с дровами: не пролезешь с тяжелым возом. Ни души не встретишь. Перерезал путь Борису и, выбрав удобное для нападения местечко, сел и стал готовиться: вынул хлебный нож, любовно повел по острию ноготком, отер о штаны. Пришла мысль: у него не иначе, как револьвер с собой. Не промахнуться бы да самому под пулю не угодить?.. Если у него револьвер будет наготове – ничего не выйдет.

Почесал за ухом, осмотрелся и встал. Новая идея пришла: надо сперва камнем оглушить... Надо в доверие войти, а потом камнем по башке! – вот это правильно... Поднял остро-ребрый увесистый камень и завязал его в красный платок. Будто человек в узелке чего несет... Правильно! И когда за-слышал хруст сушняка под ногами идущего Бориса, то снова сделал обход и на повороте вышел на дорогу и тихо пошел с узелком в опущенной руке. А в другой – палочка. Проходящий!

Борис торопился. Не обратив особенного внимания, он, углубленный в свои тревожные думы, обогнал проходящего и очутился впереди. И так они шли.

На новом повороте Ермишка прибавил шагу и нагнал Бориса. Тот даже не оглянулся. Несколько минут Ермишка шел шагах в трех позади, потом поднял обеими руками красный узел и, прыгнув к Борису, что было мочи хватил его по голове. Даже не вскрикнул. Повалился, завертел левой рукой и захрипел...

– Готов, голубчик...

Ермишка вынул нож, наклонился и уставился в раскрытые удивленные глаза соперника:

– Вот тебе! За княгиню тебе, сволочь! Слышишь? Ты поиграл, теперь моя очередь... Хрипишь?

Ермишка пнул каблуком сапога в лицо Бориса и остервенел. Опять поднял красный узел и, взметнув его на руках, бросил в лицо Бориса...

– Получай за твое блаженство!.. Издох?

Огляделся по сторонам. Страшно устал. Дышал тяжело. Руки дрожали. Присел, свернул плохо слушавшимися пальцами папироску и стал жадно курить и отплевываться. Убрать с дороги или наплевать? Подошел.

– Вишь, штаны с кантами и френч новенький. Нарядный был любовничек!.. И колечко золотое, обручальное. Не венчаны, а обручены уж...

Ермишка стащил с пальца кольцо, то самое, которое привез Борису брат, и стал примерять себе. Маловато. Попробовал на указательный палец – мало, на мизинец – велико. На безымянный влезло.

– Я теперь с ней обручен. Ну-ка, а в кармашках что имеешь?

Нашел бумажник, в нем деньги и фотографический портрет Вероники с надписью. Прочитал: «Милому любимому Боре. Твоя Вероника». «Милому? Любимому? Твоя? Ах, ты блядь! Будет мил и Ермил, – погоди». Смотрел на портрет и говорил с Вероникой:

– Думаешь, барин слаще? Э, милая, ты вот солдата попробуй. Не хочешь? Ей-Богу, довольна останешься... На-ка! Оголилась для милого дружка... На, любуйся!

Погладил пальцем грудь Вероники на портрете и выпустил со стенанием:

– И-эх!

Спрятал портрет за жилетку. Постоял и поволок за ноги

групп Бориса под овраг. Стянулись штаны с кантом, обнажился живот до низу. Бросил, наклонился, стянул еще ниже штаны и стал рассматривать оголенное тело... Говорил отвратительные мерзости, глумился и испытывал величайшее наслаждение, точно он уже приблизился к «блаженству с княгиней»... Взял только револьвер, бумажник с деньгами и портрет. Отер мокрой гниющей листвой сапог, на котором остались кровь и мозг, нашел в ямке воду, вымыл руки, понюхал и плюнул. Полез из оврага и тихой походкой двинулся к дому... Целые сутки спал непробудно.

И вот теперь, когда отоспался и снова, поглядывая на портрет Вероники, тайно лелеял мечту о «блаженстве с княгиней», она – легка на помине – тут как тут! Сама в руки дается... Все думал, как заманить, а она сама приехала. Любownika ищет... «Ну, теперь, не зевай, Ермиша! Твоя очередь подошла»...

Мягкие шаги по гравию под балконом снова прогнали дрему. Лада очнулась и подняла голову: высокая, тонкая и красивая девушка в черном, с белым крестом на груди...

– Борис Павлович... Он здесь живет?

Лада сразу догадалась, что это именно та самая прекрасная девушка, которая своей любовью очистила душу Бориса. Не сразу ответила: несколько мгновений смотрела восхищенным взором на девушку, улыбнулась и спросила:

– Вы его невеста Вероника?.. Девушка улыбнулась и кивнула головой.

– А я – Аделаида Николаевна.

Всегда немного страшно входить в дом, в котором случилось несчастье. Вероника приостановилась, и улыбка сбежала с ее губ. Такая неуместная улыбка. Лицо стало серьезным и строгим, и точно вся она, в черном платье с белым крестом на груди, превратилась из невесты в послушницу монастыря. Почувствовала, что стыдно произносить это слово «невеста», связанное с личным счастьем, в доме, в котором страдание и горе: убит Владимир Павлович, милый Владимир Павлович, и теперь, как она знала из записки Бориса, – опять какое-то несчастье... Веронике так хотелось поскорее спросить про Бориса: не уехал ли уже он обратно в Севастополь, но показалось тоже не деликатным, потому что этот вопрос относился опять к ее личному счастью и имел какую-то тайную связь со словом «невеста»... Приостановилась и опустила голову в смущении.

Лада проворно сбежала по лесенке с балкона, и две женские души встретились глазами, узнали друг друга и почувствовали тайную близость и взаимное тяготение. Точно давно-давно когда-то уже были знакомы, но успели забыть об этом и вот теперь вспомнили. Вероника знала от Бориса, что когда-то давно, в юности, он был безнадежно влюблен в невесту и потом жену брата; Вероника испытывала нежное чувство к брату своего жениха, Владимиру Павловичу, а он немножко увлекся ею... Промелькнуло что-то похожее тоже на «безнадежную любовь», но ведь это было так мимолетно и

потом... навсегда засыпано землей вместе с бедным милым Владимиром Павловичем... А Лада... она видела перед собой женщину, которая любит человека, недавно еще владевшего ее душой и телом, человека, которого она и любила и ненавидела, и которому все простила и сделалась сестрой... И вот все это «тайное» двух женских душ глаза постигали тайно же, и Лада с Вероникой совсем неожиданно друг для друга крепко обнялись и поцеловались. И пропало смущение. И войти в дом, где притаилось столько несчастий, стало Веронике легко и не страшно. И когда Вероника вошла в домик, ей показалось, что она уже была здесь: и диван, и занавески на окнах, и расположение дверей показалось ей тоже знакомыми.

– Папочка умер! Не дождались мы Бориса и похоронили папочку...

Лада вздохнула и прошептала: «Нет папочки».

Вероника под села к Ладе, тоже вздохнула и молча поцеловала Ладу. Та ответила поцелуем и отерла платком выступавшие слезы. Веронике сделалось так жаль эту женщину, что и у ней показались слезы. Обе сидели с платками и отирали слезы. И вот в этот момент в зале появился Владимир «за ручку с девочкой», в другой руке болталась истрепанная кукла с разбитой головой, как мертвое тело, болтавшее ногами. В первый момент Вероника, увидавшая Владимира чрез радужную сетку слез, приняла его за Бориса и, вскочив на ноги и вспыхнув, рванулась радостным порывом, потом ис-

пуганно вскрикнула и отшатну-лась... Девчурка испугалась и заплакала. Лада, нервно смеясь, прижала к себе трепещущую Веронику и тихим ласковым голосом успокаивала. Владимир растерянно улыбался и не знал, что ему делать: уйти или остаться.

– Владимир Павлович... вы? Как же это?.. Господи!.. Простите меня, голубчик... Ведь мне сказали, что...

– Никак не могу умереть, Вероника Владимировна! – взволнованно и печально сказал Владимир и протянул ей руку.

– Зачем вы так говорите! Не надо...

Владимир целовал протянутую ему руку. Лада успокаивала плакавшую девочку. Выглянула из комнаты старушка, увидела женщину в черном, поняла, что это – «та самая, которая отбивает Бориса», и снова спряталась. Испуг прошел, осталась неожиданная радость. Все втроем сидели на диване, Вероника в середине. Около ее колен терлась девчурка и мешала им разговаривать о чуде воскресения Владимира.

– Тетя! Головка бобо. Тетя! – приставала девчурка, болтая куклой, и рассказывала, что и головку кукле разбили большевики, и башмачок с ножки украли большевики...

Владимир волновался, краснел, терялся под взглядом Вероники, и это смущало Веронику, рождая в душе ее непонятный упрек и напоминая, что она невеста Бориса...

– Владимир! Если бы ты нам самовар... Впрочем сиди! Мне все равно надо в кухню: там у меня плита топится...



Вероника, наверное, кушать хочет...

Лада убежала в кухню. Вероника сейчас же заговорила о Борисе: куда же он делся, Борис? Она боялась с ним разъехаться, а он не приезжал. Это странно...

– Я боюсь... Неужели он в Севастополе?..

– Угорел от счастья... Это с нашим братом случается, – вставил Владимир и с тоской посмотрел в глаза Веронике. Стал вспоминать об их встрече в лазарете у красных, о Спиридоныче, об Ермишке. На несколько минут эти воспоминания увлекли Веронику. Опечалила судьба Спиридоныча: хороший был человек!

– А Ермишка наш вроде «ваньки-встаньки».

Вероника рассказала все про Ермишку. Удивилась, что он тут, у рыбаков. С ним и послали записку к Борису. Почему он этого не сказал Веронике, когда приезжал в Севастополь?

– Он сказал, что не нашел Бориса и отдал записку в номерах служащему...

– Я боюсь, Владимир Павлович... Не случилось ли беды с Борисом... Нельзя ли Ермишку позвать сюда? Я хочу расспросить его...

– Я живу здесь... тайно. А впрочем, все равно...

Владимир хотел пойти к рыбакам, но Вероника удержала его: нет, нет, тогда она сама:

– Как к рыбакам пройти? Я шла и не запомнила...

Вышли на балкон. Владимир рассказывал, как ближе спуститься к морю, и Вероника пошла торопливо и взволно-

ванно. Владимир смотрел ей вслед и чувствовал, как в глубине души его пробуждается заглушенное было чувство влюбленности в эту девушку в черном, похожую на монашенку... Счастливый Борис! Она его ищет, а он... не храним, что имеем, а потерявши, плачем...

– А где Вероника?..

Лада загремела чайной посудой и спугнула настроение Владимира. Обернулся и, увидя испачканную в сажу щеку Лады, подумал: Лада – Марфа, а Вероника – Мария...

– Ты испачкала щеку в сажу, – сказал и вздохнул, отбросив недокуренную папиросу на пол. Лада рассердилась: такое неряшество! А Владимиру сделалось смешно, и Лада вдруг показалась маленьким и незначительным человеком. Стоит ли придавать значение таким пустякам, когда несколько дней тому назад они оба стояли пред лицом смерти?..

– Нравится тебе Вероника? – спросил неожиданно.

– Да. Но мне жаль ее, бедную...

– Почему?

– Я не могу представить ее женой Бориса... Она не будет с ним счастлива.

– Нет радости на свете вечной и нет печали бесконечной, – загадочно и задумчиво произнес Владимир. Принес из кухни самовар.

– Мама! Идите с нами чай пить, – позвала Лада старуху, притворив дверь.

– Не пойду.

– Почему?

– Смерть пришла.

Лада переглянулась с Владимиром. Что-то неладное творится с бедной старушкой: несколько раз она уже произносила загадочную бессмыслицу. Боится Владимира: при случайной встрече с ним крестится, шепчет молитву и убегает в свою комнату и запирается. Занавесила свое окно шалью и не открывается, сидит в темноте. Помутилось в голове. Ворует девочку: утащит спящую из кровати в свою комнату, запрется и не отдает.

– Черти у вас, – говорит.

## Глава тридцать третья

Вернулась Вероника, взволнованная и расстроенная: Ермишка ничего не знает, Бориса не застал и оставил записку в номерах, а Веронике не сказал ничего про записку потому, что побоялся: «Приказания такого не было, и, может быть, опять не в свое дело влезешь». Пили чай, и Вероника по минутно задумывалась и переставала слышать, что ей говорят. Мысли ее кружились около Бориса. «Что-то случилось». Лучше поскорее вернуться в Севастополь. Но как? Рыбаки сказали, что рыба не ловится и везти в Балаклаву нечего, – сегодня не поедут.

– А завтра?

– Едва ли и завтра. Что, впрочем, будет ночью? Не надеются.

– Я думаю, что Борис в Балаклаве, – уверенно сказала Лада, когда Вероника в раздумьи остановилась у окна и затуманенным грустным взором смотрела в сверкающую синь моря. Лада была в этом уверена: она хорошо знала Бориса, этого человека минуты. Вероятно, застрял в Балаклаве с Карпетом или другими приятелями, закрутил и забыл, что он жених и что его ждет любимая женщина. Видно, горбатого только могила исправляет...

– Может быть, пойти мне в Балаклаву? – обернувшись, тревожно спросила Вероника.

– Оставайтесь до завтра. Может быть, явится сегодня ночью или завтра утром, – посоветовал Владимир.

Решила остаться. Успокоилась. Увлечлась воспоминаниями о прошлом и невозвратном. Потом Лада рассказывала про свои страшные приключения и переживания во время эвакуации и жизни на Кубани, как болела тифом, как жили в саду и как бежали. Точно перечитывали книгу о Рокамболе – столько всяких страшных и невероятных приключений. Владимир рассказал, как со Спиридонычем жили в сектантском скиту и как потом пробрались в Крым к «зеленым». Души у всех взбаламутились от этих рассказов и воспоминаний, как у детей от страшных сказок. Разошлись поздно и не могли заснуть. Точно весь дом пропитался нервной тревогой: даже девочка капризничала, пугалась и не отпускала маминой руки... Ночь была лунная, яркая, тихая и звездная. Море вздыхало прибоем и пересыпало гальки и ракушки на берегу, как горох из мешков. Вероника не раздевалась. Прилегла было в зале на диване, где ей приготовили постель, но скоро поднялась. Не лежит. Все кажется, что надо скорее что-то сделать, куда-то пойти. Выходила на балкон, смотрела на сверкавшую лунными блесками морскую пустыню, прислушивалась к молчанию ночи и вдруг начинала чувствовать невыносимое одиночество и страх. Тихо проходила в комнаты, озиралась и радовалась, что в других комнатах не спят: Лада тихо разговаривает с девочкой, Владимир осторожно покашливает и ходит. Чрез занавешенное стекло двери в его

комнату виден свет. Владимир не мог уснуть от иной тревоги: близость Вероники не давала покою его душе... Все казалось, что осталось между ним и этой прекрасной девушкой что-то недоговоренное, оборванное. Как начатая и внезапно прерванная мендельсоновская «Песня без слов»... И вот он думает, что такое творится в его душе? Неужели снова оживает оборванная любовь, похожая на сорванный нечаянно нерасцветший еще бутон. Каждый шорох в зале, шаги, скрип двери на балконе заставляют его вздрагивать и прислушиваться... Она не спит!.. А часы бегут, бегут... Завтра ее здесь уже не будет, и никогда больше они не встретятся на путях жизни... Путь жизни! Для него, решившегося оборвать этот путь своей рукой... Помешал ребенок, а вот теперь – эти шаги и шорох в зале... От них тоже испуганно бежит мысль о смерти и является неутолимая жажда жизни...

– Владимир Павлович, вы еще не спите?

– Нет, нет...

– Мне скучно и страшно...

– А можно к вам?

– Да...

Тихо вышел из комнаты и прошел в зал. Здесь только лунный свет, и в нем черный тонкий женский силуэт у окна.

– Вы... плачете?

– Так это...

Остановился около нее. Подняла голову: на освещенном лунным сиянием лице огромные глаза с тоской и приветли-

вой улыбкой. Точно пожаловалась Владимиру. На что? Не только страх предчувствий несчастья с Борисом прятался в душе Вероники: там было еще чувство оскорбленной гордости. Любовь не только дает, она еще и требует...

– Хотите, посидим над морем?

Пошли, взобрались на скалу с площадкой на вершине и сели рядом на белой садовой скамье. Необозримый простор, сверкающий, туманный, сливающийся на горизонте с небесами. Опять вздохи моря, шорохи гальки и мертвая заколдованная тишина...

– Хорошо!..

– А мне плакать хочется... – прошептала Вероника.

– О чем?

– О том, что... разучились люди любить... Камень дают вместо хлеба...

Владимир понял: она говорит о любви Бориса.

– Мне кажется, Вероника Владимировна, что любовь скорее искусство, чем наука. Теперь все искусства в упадке. Таланты уходят в область иного порядка... в область разрушения... И даже животворящая любовь теперь больше разрушает, чем созидает. Люди вообще озверели. И любовь приблизилась к звериной... Таких, как вы, немного осталось... Вот я сижу около вас, и чудеса творятся в душе моей...

– Я знаю... Вы – хороший.

Вероника вздохнула. Потом сказала:

– А сильно Борис изменился за то время, как мы были в

разлуке. Иногда мне кажется, что... он меня не любит... Не то, что не любит, а... любит только как... женщину. А может быть, и нет вовсе той любви, какой мне хочется... Знаете, Владимир, я два года каждый день думала о нем и молилась за него, и разлука только помогала мне любить его. А вот он... Мне все кажется, что любит меня только, когда я близко, рядом, а когда мы не вместе, то... не тоскует и забывает обо мне... Я все думаю: может быть, я только воображаю, что он меня любит?

– Если любовь – искусство, то воображение тут необходимо, как вдохновенность художнику. Когда люди перестают воображать, что они любят, они перестают любить...

Вероника насторожилась: за словами Владимира ей почудилась какая-то предостерегающая тайна.

– Владимир! Я с вами откровенна и искренна... и заслуживаю того, чтобы мне платили тою же монетою. Говорите прямо... всю правду!

– Какую правду? О чем или о ком?

– О Борисе... Вы что-то знаете про него и, как мой друг, – ведь я знаю, что вы ко мне очень расположены... как и я к вам, – не имеете права скрывать... Он меня не любит?

– Счастливые люди – жестокие люди... и слепые.

Владимир положил голову на изгиб своей руки, которой обнимал спинку лавочки, точно страус, прячущий в момент опасности голову под собственное крыло, – так легко говорить правду:



– Вы все забыли от счастья... И забыли о том, что было тогда, при нашей первой встрече... И теперь ничего не видите...

Вероника страшно смутилась: ах, какая она глупая! Ведь, она знала, что Владимир был тогда к ней больше, чем равнодушен, и делает его поверенным в своей любви к другому. Конечно, это и глупо, и жестоко. Но... но она думала, что все это было мимолетно и прошло. Ведь и она моментами поддавалась очарованию, очень близкому к начинавшейся любви: не раз ей тогда приходила мысль, почему она впервые встретила не с Владимиром, а с Борисом?

– Простите меня, Владимир... Разве я могла думать, что это... серьезно и глубоко... то, что было тогда. Вы любите жену, у вас есть семья...

– Я тоже воображал, что все это есть...

– Воображали?

– Ну, да. Если можно вообразить, что тебя любят, то можно вообразить, что есть жена, дети и прочее, – иронически произнес из-под руки Владимир.

– Бог с вами! Что вы говорите... Вы такой хороший, честный и добрый...

– Разве когда числишься по паспорту женатым, то нехорошо и бесчестно полюбить... другую... Вас, например?

Странно: Владимиром овладевал Мефистофель, и ему хотелось издеваться над самим собой, над своей любовью, над любовью Вероники к Борису. Правда, которую он знал о сво-

ей жене и Борисе, – вливала яд в его душу и отравляла ее жаждой делать больно всем: и Веронике, и Ладе, и Борису, и самому себе.

– Вы думали, Вероника, что мое чувство к вам, о котором вы успели забыть, было неглубоким, а ваши чувства к Борису и его к вам – глубже моего? К сожалению, не изобретено еще такой меры, чтобы измерять глубину любви...

– Владимир! Зачем вы такой... злой? – с мольбой прошептала Вероника.

– Потому что я вас люблю, Вероника...

– Боже мой!.. Зачем вы... мне...

– Вы просили сказать вам правду.

Владимир смолк. Вероника чувствовала себя виноватой. Что он стих? Может быть, плачет? Острая жалость к Владимиру закралась в ее сердце. Она склонилась над Владимиром, коснулась рукой его головы и прошептала:

– Я виновата, дорогой мой... Я вас очень люблю и... понимаю, что мне не следовало... Владимир! Простите?

Он схватил гладившую его руку, притянул к своим губам и стал целовать. Она пыталась вырвать руку и испуганно шептала:

– Не надо!.. Не надо!.. Опомнитесь!..

И вот в этот момент, когда они ничего не видели и не слышали, кроме стона душ своих, словно на сцене из провала, выросла на высоте фигура женщины:

– Ах, вот вы где!..

Это была Лада, в ночных туфельках поднявшаяся по ступенькам каменной лесенки на высоту скалы. Не было у Вероники обычной у женщин изворотливости в щекотливые моменты жизни: вырвала руку и растерялась, ничего не сказала Ладе. Владимир поднял голову и снова спрятал лицо в изгибе руки, обнимавшей спинку лавочки. Лада постояла, отвернувшись от них, на площадке, вздохнула и сказала, смотря в небеса:

– Так глупо смотрит луна.

Подобрала рукой юбку и, не произнеся ни одного слова, быстро сбежала вниз по лесенке.

– Боже мой! Что она подумала? – прошептала в отчаянии Вероника.

И словно в ответ на ее вопрос в тишине ночи странно так прозвучал и растаял в лунном свете надорванный женских смех...

– Она смеется... Боже мой!..

Вероника закрыла загоревшееся краской стыда лицо обеими руками и зашептала:

– Что же теперь будет? Как же быть?.. Она подумала, что... Боже мой! Но я... я ни в чем не виновата перед ней. Я виновата перед вами, но перед ней...

Теперь странно так, искусственно засмеялся мужской голос:

– Не смущайтесь!.. Ведь моя жена была любовницей моего брата, а вашего жениха... Так что все мы – люди больше, чем

«свой»... сочтемся потом!..

Настало долгое молчание. Точно вдруг что-то оборвалось, что до этой поры громко звучало. Точно плотно прикрыли комнату, из которой несся шум, говор, смех. И в этой тишине стало громко вздыхать море, и ярче играть лунный свет. Странно вытягивались из-под скал вершины застывших кипарисов, точно поглядывали, что делают два человека на вершине. Страшная правда! От нее точно острый нож пронизал душу и Вероники, и Владимира. Точно он до этой минуты все играл опасностью, как Карапет с кинжалом в диком танце, а потом одним ударом пронзил и свою, и Вероникину душу. Зачем он сделал это страшное непоправимое преступление перед Вероникой, Ладой, Борисом и самим собою? Бог знает. Точно злой дух вселился в него и завладел его устами. Вырвалось. Разбило все оковы рассудка и вырвалось... Вероника сдвинулась на край лавки, обвила рукой спинку ее, отвернулась от Владимира и опустила голову. Точно заснула. Не шевельнется. Владимир поднял голову, нашел блуждающим взором Веронику. Отшатнулась. Что он наделал? Господи, что он наделал? Упал перед Вероникой на колени, плакал и умолял:

– Не верьте мне! Не верьте. Я... подлец... из зависти и ревности оклеветал брата и жену...

– Негодяй вы, – прошептала Вероника, поднялась и гордо пошла прочь, оставив ползающим...

– Вероника! Погодите... я должен вам сказать... Ради Бо-

га!..

– Оставьте меня!.. Избавьте меня от вашей любви и всяких откровенностей.

Вероника спустилась вниз, оставив позади Владимира. Несколько мгновений она стояла в неподвижности. Решила побороть страх и гордость: пойти к Ладе и сказать ей, что случилось не то, что она заподозрила. Не поверит? Бог с ней! Но она все-таки должна сказать правду: она невеста Бориса и чиста перед ним и перед Ладой. Было тяжело идти в домик, под лунным светом казавшийся беломраморным: шла тихо, с опущенной головой, и на балконе приостановилась, чтобы не билось так громко сердце. И в этот момент в белом домике грохнул выстрел...

– Лада! – вскрикнул, точно простонал мужской голос на высоте, за кипарисами, и заскрипел песок под торопливыми шагами.

– Ради Бога! Идите туда... к ней!.. Ради Бога!..

Тут только Вероника поняла, что грохот в домике – не простой стук от падения тяжелого предмета, а голос смерти... Перекрестилась и вбежала в зал. Владимир стоял на балконе и зачем-то и чего-то ждал еще. Ну вот зовет Вероника:

– Владимир! Скорее! Сюда... Она там...

Из запертой комнаты доносился слабый стон: «Ах! Ах! Ах!»

– Ну, сломайте же дверь! Скорее!

Владимир скрылся и вернулся с топором. Начал злобно ломать дверь, выворачивая ее лезвием топора. Дверь выпрыгнула и растворилась: тускло мерцал на столе светильник, и слабый свет, красноватый и вздрагивающий, освещал судорожно извивающуюся на диване Ладу и револьвер около подушки.

– Лада!.. Лада!.. Лада!.. – слабо стонал Владимир, стараясь заглянуть в сонные глаза.

Вероника отстранила его и стала рвать одежду на груди. Сонные глаза Лады отразили женщину в черном, с белым крестом на груди, и сомкнулись, а на губах появилась и застыла улыбка...

Вероника сразу забыла все, что еще минуту назад переполняло ее душу, и превратилась только в «сестру милосердия». Спокойно, но проворно, она промывала рану на груди и делала перевязку. Надо было приподнять Ладу и положить удобнее и ровнее. Понадобился Владимир, но его в комнате не было. Выглянула за дверь и позвала. Не пришел...

– Помогите кто-нибудь!

Заглянула старуха, погрозила пальцем и прошла в комнату Лады. Скоро она прошла обратно с ребенком на руках, и было слышно, как прозвенел замок запертой ею комнаты.

Вероника вышла на балкон и несколько раз громко произнесла в разные стороны:

– Владимир! Владимир!

– А что такое у вас случилось? – спросил и испугал своей

неожиданностью чей-то посторонний мужской голос.

– Кто тут?

– Я это, Ермила... Не спится, и хожу.

– Голубчик! У нас несчастье... Надо сбегать в Байдары, в больницу, за врачом. Там есть врач?

– Не пойдет ночью. А приехать сюда нельзя. А что случилось?

– Очень плохо Аделаиде Николаевне... Как бы не умерла. Если доктор сейчас прийти не может, пусть пришлет лекарств, бинтов... я напишу ему.

– Может, до утра можно повременить? Утром от нас в Байдары за хлебом пойдут...

– Голубчик! Нельзя ждать, когда человек умирает. Не в службу, а в дружбу. Для меня? Ну, прошу вас, по старой дружбе...

Ермишка вздохнул: «Вот теперь и голубчиком стал», – с упреком прошептал он и, помедлив, решительно сказал:

– Эх! Пишите записку.

– Вот спасибо, милый!.. Я сейчас напишу. Погодите здесь.

Вероника пошла в комнаты. Послушала больную: дышит ровно, пульс хороший и крепкий. Подсела к светильнику писать доктору записку. Искала бумаги и нашла незаклеенное письмо в чистом конверте. Точно приготовлено. Вынула письмо, оторвала чистый полулисток и написала доктору все подробно, по пунктам. Заклеила в чистый конверт, написала на нем «Экстренно» и пошла к Ермишке.

– Ради Бога, поскорее!.. Я вам за труд заплачу, конечно.

– Заплатите? Дорого возьму! Я, княгиня, не из-за денег.

Поймите меня: для вас только! Дадите ручку поцеловать – вот моя награда.

– Вот выдумали... Идите, голубчик!

Ермишка вбежал на балкон, получил письмо и протянул руку. Пришлось подать ему руку. Ермишка поцеловал трижды руку и причмокнул губами:

– Вроде как шампанского выпил!

Вероника вернулась к больной. Сидя у стола, она опять наткнулась на письмо, от которого оторвала половинку. Увидела подпись – «Аделаида» – и догадалась, что это предсмертная записка. Прочитала написанное торопливым размашистым почерком: «Не трагедия, а комедия, не страшно, а смешно. С радостью я отдала Веронике любовника, а теперь без сожаления передаю и законного супруга. Аделаида»...

Не сразу дошло до сознания то, что бегло прочитала Вероника, но душу охватило огненным вихрем страшных предположений и догадок. «Про какого любовника пишет Аделаида? Кому отдала его? Мне? Значит, Владимир сказал правду? Но ведь они братья, родные братья. Неужели?..» Еще раз прочитала записку и припала на стол головой, на руку... На мгновение почувствовала гадливость к умирающей тут, рядом, женщине, к Борису, к Владимиру и к самой себе. Захотелось вскочить и бежать из этого уютного домика, такого страшного, такого грязного, таящего смрадный грех звери-



ной похоти и мерзости. Сразу рухнул в душе, как карточный домик от дуновения, прекрасный волшебный замок чистой любви. В ушах звенел монотонный грустный звон: точно что-то разбилось со звоном, который никак не может затихнуть, похолодели руки, а лицо горело огнем...

– Дайте пить! – чуть слышно, точно издалека, простонал женский умоляющий голос, и было в нем столько страдания, физического и душевного, что сразу исчезло чувство гадливости, отлетели все мысли о самой себе, и осталась одна безграничная жалость к несчастному растоптанному жизнью человеку. Где же Владимир? Некому помочь. Спрятался, как наблудивший школьник... «Ах, вы, героини!» Поддерживая отяжелевшую голову рукой, поила Ладу. Та сухими посиневшими губами жадно ловила край стакана, стуча по стеклу зубами, и с трудом глотала воду. Глаз не раскрывала, но была уже в сознании:

– Ох... скорей бы смерть, – прошептала, отвернувшись от стакана и потянув голову к подушке. Тихо стонала и время от времени шептала:

– Ничего не жаль... нечего жалеть!..

– Похороните рядом... с папой...

– А где Владимир?.. Пусть... идет... к... ребенку...

– Какая я... я... мать?.. – произнесла с слабеньким смешком и опять застонала тихо, ровно, как маятник скорби...

– Дайте... мне... яду, чем... мучиться... все равно... я не хочу... жить.

На рассвете задремавшую у стола Веронику вспугнул осторожный стук в окошко. Все вспомнила и подняла на окно глаза: Ермишка и позади господин в очках. Доктор. Слава Богу! Махнула рукой и пошла встречать. Говорила около балкона с доктором о том, что случилось, про рану, про пульс, а Ермишка слушал.

– Ежели навыйлет, – ничего, отойдет. У нас на фронте были, которых из пулемета насквозь в трех местах пробивали, и то... были, что не помирали, – утешил он Веронику с доктором.

Они прошли в домик, и Вероника совсем забыла про Ермишку. Когда ушли, он постоял с обидой на месте и тихо побрел прочь:

– Даже спасибо не сказала! Как понадобился – «голубчик и милый», а как сделал – проходи мимо!.. Разя мы люди? Только вы, белые, люди, а мы... Вот тебе и равенство!.. В борьбе обретишь право свое, Ермила, – вот что...

Доктор захотел посмотреть, из какого револьвера нанесена рана. Вероника искала револьвер и не могла найти. Может быть, на диване, около больной? Там она его видела, но, кажется, переложила на стол. Нет нигде. Так странно: сама видела, и нет. Никого в комнате не было... Вспомнила, что был еще Владимир, и вся встрепенулась: пришла мысль, что Владимир захватил со стола револьвер... и пропал с ним.

– Не ищите. Не так важно.

Внимательно осмотрел рану, послушал сердце, пульс.

Пришлось насильно дать каплю. Лада зажала рот и мотала головой. А доктор зажал ей нос пальцами и влил капли в раскрывшийся рот. Уходя, сказал Веронике, вышедшей проводить его, что если не поднимется два дня температура, то выживет: сила у нее есть, нужен только уход, полное спокойствие и хорошее питание. Все это, впрочем, отлично знала и сама Вероника. От денег, которые сунула ему в руку Вероника, отказался. Застенчиво потоптался и сказал, шевыряя песок тростью:

– А вот если бы сахарку дали немного... не отказался бы!.. Дети у меня, и...

Получил пакет с сахарным песком, запрятал его в карман пальто и очень благодарил. Дал еще много советов и пообещал, если понадобится, и еще раз побывать.

## Глава тридцать четвертая

Три ярких солнечных дня, последних, прощальных дня. Казалось, что вернулось лето. Море было лазурное и ласковое. Над ним скользили паруса рыбацких лодок и сверкали крыльями белые чайки. Кувыркались дельфины и плавали стаями бакланы. По утрам свершались чудеса: до восхода солнца все пропадало в белом тумане – и горы, и лес, и море, и небеса, но как только появлялось красно-медное солнце из-за прибрежных гор, на глазах из молочных туманов начинали рождаться призраки знакомых очертаний и силуэтов, делаться все яснее, отчетливее, красочнее, и наконец, когда солнышко из медного делалось золотым, – все воскресало и начинало сиять печальной радостью. Берега делались похожими на ковры из зеленой парчи, расшитые золотыми и багряными кружевами осенней листвы среди хвои; в кружевах вставали домики и сторожащие их кипарисы; как стены гигантских замков, высились серо-желтые отвесы скал с хмурыми трещинами, похожими на морщины на старческом лице; начинали плавать в синеве небес орлы. Солнышко начинало ласково целовать землю, и от этих поцелуев делалось тепло всякой твари, пернатой, ползучей и ходячей.

Являлась уверенность, что жизнь побеждает: Лада точно страхнула уже с себя волю колдовских чар смерти. Ей захотелось жить. Она просила не закрывать окна, откуда было

видно лазурь небес с белыми облачками и верхушки кипарисов, слышался ласковый шум прибоя, разные голоса жизни. Ей захотелось понюхать осенних последних роз, что цвели теперь под окошком. Захотелось, чтобы девчурка сидела в комнате и болтала звонким беспечным голоском.

– Скажите правду: умру я или нет? – тихо спрашивала она, когда Вероника склонялась над ее изголовьем, и глаза Лады, широко раскрытые, с пытливым страхом останавливались на лице Вероники. Что-то хотела разгадать.

Вероника часто ловила на себе эти взгляды пытливых испуганных глаз. По ночам от этих случайно пойманных пытливых взглядов Веронике делалось жутко. Чудилось, что больная все еще не может решить вопроса: враг или друг – эта женщина, которую зовут Вероникой и у которой Владимир целовал руку? Веронике казалось, что эти тяжелые пристальные взгляды спрашивают: «Ждешь ты моей смерти и радуешься, или ты искренно болеешь душой, проводя дни и ночи около моей постели?»

Так хотелось в такие моменты ответить на этот молчаливый вопрос! Но и слов таких нет, чтобы рассказать и не рыдаться, и много надо очень говорить этих слов, чтобы объяснить, как все это вышло, и рассеять все подозрения и сомнения в душе, готовившейся навсегда покинуть землю. Однажды, когда Вероника поймала на себе такой испытующий взгляд, она встала на колени у постели Лады, взяла горячую ее руку и поцеловала без всяких слов. Лада вздрогнула, сла-

бо сжала в своей руке ее пальцы и плотно сомкнула глаза, из-под ресниц которых выкатились две слезинки. После этого случая обеим женщинам стало легче и спокойнее друг с другом. Точно уже все нужное сказали и объяснили друг другу, поняли, простили и примирились: ведь обе – одинаково – страдающие, обманутые жизнью, любимыми людьми, поруганные в своей любви к ним. Встречаясь глазами, обе стали грустно улыбаться друг другу, и в этих улыбках была кроткая нежность и кроткое доверие...

Маленькая Евочка уже привыкла к «чужой тете» и пряталась у нее от полубезумной бабушки, которая таскала и запирали девочку в своей комнате и грозилась кулаком, чтобы не кричала и не плакала. Евочка часами сидела за столом, около тети, и рисовала карандашом каракули, притащила сюда все свои игрушки и посвятила в их тайны Веронику. Евочка слушалась тети и не мешала маме спать: говорила шепотом. Зато, когда мама не спала, звонко смеялась и рассказывала маме сказку про Красную Шапочку, бабушку и волка.

– Если я, Евочка, умру, то тетя будет твоей мамой. Хочешь? – не то шутя, не то серьезно спросила однажды Аделаида девочку.

– Ты не умрешь. Тетя не позволит! – ответила весело и уверенно девочка, и всем стало хорошо и весело...

Была надежда и радость, пока сверкало солнышко прощальным сиянием, отправляясь в свое зимнее странствование... Но прошло три дня, три коротеньких дня, и снова из-

за морских горизонтов стали выползать мрачными чудовищами облака и тучи и расплзаться и ввысь и вширь, заволакивая синь далекого неба. Снова подул холодный ветер, опять заворчал и загрохотало море, полетели, обрываясь, золотые листья с винограда, багровые – с дубов, сиротливо и одиноко стали жаться к стенке цветы под балконом. Заплакала осень воем ветра и мелким серым дождиком, и покорно стали кланяться кипарисы своими вершинами надвигающейся зиме... Опять начались долгие и страшные ночи с шумом клокочущей стихии без человеческого голоса и без огоньков, без звезд в черной бездне молчания...

Смерть точно ждала, когда погаснут последние улыбки летнего солнышка.

С переменой погоды состояние больной круто изменилось к худшему. Точно сила жизни ушла вместе с солнышком за море. Неожиданно подскочила температура, начались резкие боли в простреленной груди, и стало тяжело и больно дышать; в глазах загорелся лихорадочный огонь и застыл испуг, по ночам стало отлетать сознание, и опять начались стечения и томление тела. И опять странные долгие взгляды стала ловить на себе Вероника. Она растерялась. Лада сделалась ей такой близкой, такой дорогой, что опускались руки, и стала пропадать обычная с больными уверенность и спокойствие. Понимала, что это заражение крови, что смерть побеждает, но не верила себе и, зная, что теперь уже жизни не воротишь, все-таки умолила Ермишку пойти за доктором в

Байдары. Ермишка долго ломался, говорил грубости и даже сделал пошлый намек на какую-то «награду», но пошлость прошла мимо ушей встревоженной Вероники.

– Голубчик, Ермиша. Для меня!

Ермишка махнул рукой и пошел. Шел и рассуждал сам с собой:

– Какая такая сила в этой бабе? И не хочешь, а идешь. Ну, погоди, – и я на тебе тоже поезжу...

Теперь Ермишка, как гиена около трупа, бродил то днем, то ночью около домика, заглядывал в окошко, чтобы увидеть лишний раз «подлую бабу», особенно по ночам, когда доводилось узреть ее полуодетой. Нарочно вертелся – ждал случая, когда понадобится его услуга: одни бабы остались, а надо то дров наколоть, то рыбки у рыбаков взять, то хлеба раздобыть. Небось – все Ермила!

– Без мужиков-то и Ермил будет мил...

Еще три страшные жуткие ночи. Не привел Ермишка доктора:

– Сам помирает – в тифу лежит.

– Подежурь в доме!.. Некому помочь, – попросила Лада Ермишку.

– Почему же не помочь? Все в свое время поми-рать будем...

Теперь опять Ермишка как в лазарете или поезде, почитай, все время княгиню видит. Днем заходит, а на ночь остается в зальце, спит на диване и покою не знает: то работа,



то мысли «о блаженстве с княгиней» одолевают. Ведь всю ночь тут она, под боком, да еще и не одета, как следует. Забудет, измаявшись около больной, что – Ермишка «какой ни на есть, а все-таки мужчина», да и не застегнет ночной кофточки. Вместе больную ворочают. Иной раз нечаянно то головой, то плечом в княжью грудь Ермишка упрется. Так и обожжет, – точно стакан водки в горло опрокинул. Даже в глазах помутнеет. А виду не подает. Зато, если лежит в зале, – все думает: «Ежели большевики придут, – моя будешь!» Со старухой тоже немало хлопот: не пьет, не ест, что дадут, в зал на пол выкидывает и запирается.

– Не подохла бы она? А между прочим, все это кстати: две подохнут, одна она останется... с малой девчонкой без понятия... Та не помешает...

Однажды Ермишка не вытерпел и спросил:

– А что-то про поручика Паромова ничего не слышать?..

Вся вздрогнула, но ничего не ответила княгиня. Только в лице переменилась и стакан из рук выронила. Торжествующая злоба закрутилась в душе Ермишки, и так захотелось ему вдруг сказать: «Не дождешься – в расход его я вывел!..»

– Стеклышки надо подобрать, а то ночью босиком пойдете, ножку обрежете... Нога у вас нежная, кожа тонкая, господская, – кровью изойдете...

Собирал под ногами княгини осколки стекла, ползал около ботинок и, облокотясь ладонью о пол, сам порезался. Вероника ему перевязку накладывала, а он смотрел, как у ней

грудь поднималась, и глазом заползал за оттопыренный край кофты.

– Для ради вас кровь свою пролил!.. И нисколько не жалею.

– Будет вам болтать глупости. Стойте смирно!

Три страшных последних ночи... Бушевала стихия, плакал ветер в кипарисах, грохотала железная крыша, точно искусственный гром в театре; как медленный маятник больших стенных часов, отбивала Лада своими стенаниями время своей недолгой уже жизни: «Ах, ах, ах, ах...», – и тянулась долгая загадочная ночь, черная, без огней и без звездочек.

Ничего больше не надо: началась последняя схватка жизни со смертью. Вероника это видела и от бессилия своего часто плакала, прячась от Лады в коридорчике, за дверью.

– Плачь, не плачь – все одно! – утешал Ермишка. – Время придет – все померем своим порядком... И все это в книгах духовных наврано – про рай и про ад. Я так полагаю, что ничего не будет. Сдох, и кончено! Поминай, как звали! Господа да попы все нас застращивали, что на том свету отчет надо будет дать, а ничего этого нет... Ежели бы, например, Бог был – разя он допустил бы невинного человека убить?..

Тяжело умирала Лада.

С вечера начала метаться в постели, перекладывать голову на подушке с одной щеки на другую, разбрасывать руки и ноги, – точно искала в постели места, на котором можно

было спастись от объятий смерти. Иногда она вскакивала, садилась и удивленно озирала комнату, то просила, то требовала чего-то, но понять ее было нельзя: это был уже язык смерти:

– Пусть он уйдет!

– Кто?

– Он, он...

– Надо уйти... Домой, домой хочу, – просилась и плакала жалобно.

– Надо одеваться...

Сорвала перевязку. По подушке заалели кровавые пятна. Вероника и Ермишка сдерживали ее порывы соскочить с постели. Лада боролась и вдруг ослабевала, падала и затихала. Лежала неподвижно, с полусомкнутыми глазами, со сцепленными, как у покойника на груди, руками, дышала тяжело и часто, точно обжигалась с каждым вздохом. Но проходило минут десять, и снова начиналась борьба: она кидалась, вскакивала, говорила с кем-то невидимым, собиралась куда-то бежать, напоминала помешанную или больную тифом... И так всю долгую мучительную ночь! Под утро изнемогла и смирилась. Борьба кончилась, смерть победила, огонек жизни стал быстро угасать... На одно мгновение точно пришла в сознание и прошептала: «Евочка кушала?», – что-то сказала про «Володечку» и попросила: – Дайте яблочко!

Евочкино яблочко лежало позабытое на столе, ярко-румяное, крымское, какие вешают на елках. Вероника подала ей

яблочко. Она крепко схватила и зажала это яблочко в руке и успокоилась, замерла. Потом, точно от электрического удара, вся содрогнулась от головы до пят, и яблочко, выскочив из разжавшейся руки, выскользнуло и покатилося по полу, широко раскрытые глаза остановились, но рот все еще продолжал ритмически раскрываться, точно ловил воздух...

– Кончилась! – сказал Ермишка, заметя, что рот уже не раскрывается.

Вероника выбежала на балкон. Светало. Клубился туман над морем, из-за горизонта выползали на небо темносизые чудища. Злобно набрасывалось море на прибрежные скалы. Красный краешек восходящего солнца над горами казался зажженным на вершинах костром.

Вероника села на ступеньке лесенки и, прижавшись к стене, потихоньку заплакала. Точно умер последний и самый близкий человек на всей земле.

Вышел Ермишка, постоял позади, покручивая ус, и испугал, произнеся:

– Отсыреете, барышня! Туманно очень.

– Вы это?.. Я забыла, что вы...

– Старуха мне сейчас палец укусила! Я хотел в дверь поглядеть, а она схватила палец да в рот! Ладно, зубов мало... Ее надо в сумасшедший дом, в больнице для них барак есть...

Ничего не слышала Вероника. Думы ее, как тучи из-под горизонта, ползли тяжелые, мрачные, и тоже походили на чу-

довища, как и выползавшие из моря тучи...

– Девчонка ревет, барышня!

Перестал Ермишка называть Веронику «княгиней», стал называть «барышней».

– Барышня! – Дотронулся до плеча. – Девчонка вас требует.

И вдруг Вероника услышала: плачет Евочка. И все думы точно испугались и отлетели: ее зовет бедная Евочка, покинутая всеми сироточка, похожая на Божьего ангела... Пошла к ней в комнату, схватила на руки и крепко прижала к груди тепленькое, нежненькое и румяное тельце. Целовала со слезами на глазах и уговаривала Евочку не плакать:

– Не плачь! Мама спит. Не мешай ей...

– Пойдем к маме!

А мамы нет. И скорбью сжималась душа Вероники. Вспоминались недавние слова Лады: если она умрет, Вероника будет «мамой»... Успокоила девочку и прилегла на ладиной постели, рядом с Евочкой. Страшная усталость охватила ее тело и душу – словно надорвалась от непосильной тяжести. Горячая щечка ребенка прижалась к ее полуобнаженной груди, и от этого рождалась в ее душе невыразимая любовь и нежность, побеждавшие страх смерти и все страдания...

Опять хлопоты для Ермишки: надо гроб делать, а досок нет. Ободрал чужой сарай, – вместо трех нужных досок шесть с крыши снял, потому лес всегда нужен. Принес на балкон, постучал молотком по дну и похвастался:

– Прямо из магазина! Если бы вохры или синьки, выкрасил бы и крест обозначил.

На другой день к рыбакам из Севастополя человек пришел, знакомый, «из товарищей», и новости принес: большевики Перекоп взяли, и в городе большое беспокойство началось. Надо так думать, что дня через три-четыре красные в город войдут. Власти в смятении, взад-вперед в автомобилях мечутся. Рыбаки сразу все в большевиков обернулись и с белым домиком всякую дружбу прикончили: «гнездо контрреволюции» в этом домике, все лето «белогвардейцы» путались, через этот дом самому можно в чрезвычайку попасть. Помогать хоронить Ладу отказались.

Опять Вероника Ермишку должна была упрашивать.

– А что я скажу, если большевики спросят, почему с вами валандаюсь?

Опять ломался и куражился:

– Я человек сознательный и должен все завоевания революции охранять. Так ли говорю, товарищи?

– Верно.

За ночь, однако, Ермишка передумал: рано утром пришел с Харлампием и сказал, что «товарищи» разрешили.

Ладу похоронили, как она просила, рядом с отцом. Новой могилы не рыли, а раскопали отцовскую и поставили гроб на гроб. День был ветреный и дождливый, спутанный со снегом. Провожала только Вероника. Очень торопились и все сделали кое-как. И крест поставили криво... Вернулась Ве-

роника с могилы в сумерках. Вся продрогла и промокла. Когда совсем стемнело, Ермишка пришел и стал с ней по секретному делу говорить: пусть барышня не сердится, что он ее при людях в контрреволюции «обложил», все это он так, для видимости, чтобы рыбаки ему не напакостили, красным он только прикинулся, а душой завсегда с белыми и с ней, с княгиней. Сам вызвался дров принести и галанку затопить, воды принести и самоварчик поставить.

– Разя я вас могу покинуть? Не сегодня-завтра большевики придут, а я...

– Я не верю. Распускают слухи...

– Какие же слухи, ежели с берегового пункта все солдаты и матросы разбежались.

– Что же делать?.. Ребенок без матери... сумасшедшая старуха...

– Нам с вами, княгиня, надо утекать. Эвакуироваться. Так что ни вам, ни мне спасения не будет, потому как мы с вами белым передались...

Долго Ермишка шепотом уговаривал и советы давал: надо завтра, как маленько смеркнется, горами и лесами в Балаклаву пробираться, а оттуда в Севастополь:

– Кажный день теперь дорог. И надо сделать так, чтобы рыбаки не сразу спохватились. Лучше утечь невидимо. В этом доме остаться, все равно что добровольно в могилу лечь: никого не помилуют! Уж поверьте мне: здешним коммунистам все известно, как у вас офицеры танцевали и пьянствовали,

и потом очень уж поручик Паромов с товарищами задирались...

Вот где он, поручик-то? Может, давно к коммунистам в руки попал? Вон, слух есть, что убитый человек в лесу татарами обнаружен. Не он ли? Нам надо утекать, княгиня. Я завтра вечерком пойду. Ежели решите со мной, будьте готовы...

Вихрем закружили мысли в голове Вероники; опять душа заболела по Борису, встревожилась страшными предчувствиями: в найденном татарами трупe, о котором рассказал ей Ермишка, душа прозревала страшное несчастье. Или Борис, или Владимир. Всю ночь не спала и все думала, как быть и что делать? Бросить ребенка с полоумной старухой и бежать с Ермишкой в Балаклаву?... Евочка просыпается, тоже беспокоится:

– Тетя!.. А мама спит?

– Спит, спит... И ты спи. Христос с тобой.

– Ляг со мной!

Прилегла. Евочка схватила ручкой ее два пальца и не выпускала. Она так же делала с матерью: чтобы не ушла потихоньку...

Грохотало море прибоем, и чудилось, что она опять на фронте, что идет бой и грохают орудия... Стекала ритмическими каплями вода с крыши, позванивая о железо трубы, и чудилось, что стреляют где-то далеко из пулеметов... А то вдруг покажется, что в той комнате, напротив, стонет Лада:



– Ах!., ах!., ах!..

Соскочит и вспомнит, что Лада в могиле уже, и делается страшно... Перекрестится, посмотрит на Евочку, тихо коснется ее личика губами и снова задремлет...

Только забудется, и вдруг точно кто-то толкнет в сердце, разбудит и спросит:

– А где Борис?

И опять вихрем закружатся мысли и запоет-за-тоскует душа, начнет рваться куда-то. Скорее, скорее, а то опоздаешь! Да, надо как можно скорее, в Севастополь: там все выяснится. Может быть, оба, и Борис и Владимир, ушли на фронт? Ведь теперь – это долг каждого честного патриота.

Вероника хваталась за эту мысль, как за последнюю надежду, и в ней на несколько минут находила защиту от охватывающего ее ужаса при воспоминании о найденном татарскими трупе...

И так прошла последняя, самая мучительная и долгая ночь в белом домике. Рано утром проходивший мимо домика на дороге Ермишка крикнул в окно Веронике:

– В Севастополе эвакуация!

И сделал жест, напоминающий о необходимости бежать:

– Как стемнеет, буду ожидать на могиле...

Вероника молча кивнула головой.

Неожиданно оживилось пустынное море: по направлению Севастополя весь день тянулись транспорты. День был хороший, ясный, но море еще ворчало и сверкало темноси-

ними и зелеными взмахами пенящейся волны, и в ней прятались пароходы, точно вдруг тонули, оставляя на поверхности одни дымки... Вероника поминутно выходила на балкон, смотрела на эти дымки, и душа ее наполнялась множеством всяких страхов и сомнений пред закрытою завесою будущих дней...

– Господи! Что же со всеми нами будет?

Уходила в комнату и, упав на колени перед образом Скорбящей Богородицы, молилась...

## Глава тридцать пятая

Несколько раз Вероника пыталась поговорить со старухой: Евочку она возьмет с собой, а в Севастополе отыщет Бориса или кого-нибудь из знакомых и пришлет подводу, или, может быть, дадут катер, чтобы вывезти старуху в Севастополь. Говорила через дверь: старуха не отпиралась. Жива ли она? Пыталась заглянуть в окно, но оно было плотно занавешано темной шалью. Но что же делать? Что делать? Ходила в соседнюю дачу, просила, не возьмут ли старуху под свою опеку. Отказались: сами не знают, что делать – бежать или остаться. Остановила пробежавшего мимо окна Ермишку. Тот огляделся по сторонам и осторожно прокрался к окошку:

– В чем дело?

Сказала Ермишке про старуху, про ребенка.

– А Бог с ней! Она пожила достаточно. Куда с ней пойдешь? Она грузная, по рукам и ногам свяжет. Девчонку еще, пожалуй, можно, и то бы лишняя, а уж старуху... Она полумная, ее в сумасшедший дом надо, в больницу.

– В больницу бы ее сдать.

– А как ее до больницы? На себе тащить?.. Нам с вами надо о себе подумать, а старуха... ничего ей не сделают, никому она не нужна... И что вам она, старуха? И опять, куда нам чужая девчонка? Кто родил, тот пускай и того...

– Жаль...

– Всех жалеть, так самому околеть! Вы поторапливайтесь.

Как смеркнется, я около могилы ждать буду.

– Страшно ночью лесом идти...

– А это на что? – сказал Ермишка, показав вынутый из кармана револьвер в кобуре.

Станным показался Веронике Ермишка: возбужден, все оглядывается, в глазах чувствуется какая-то особенная тревога, в голосе – затаенная хитрость, в жестах – нервная торопливость. Говорит – словно торговец на базаре, расхваливающий свой гнилой товар и всеми силами старающийся обмануть покупателя: выходит так, что только он один и может спасти ее от неминуемого расстрела, потому что у него всякие документы есть: и белые, и красные, и зеленые, а по документам он женатый:

– А кто мою супругу посмеет тронуть? Так что я вам признаюсь – со мной будете, как у Христа за пазухой: я и в белой, и в красной контрразведке состою...

– Значит, и Богу, и Черту служите?

– А что поделаешь? Такое время теперь...

– Не пойду я с вами... – подумав, сказала Вероника.

– Как вам угодно... Почему же это вы сомневаетесь?

– Боюсь вас.

– Вот это обидно!.. Не заслужил...

Ермишка смущенно опустил голову и вздохнул...

Станный человек! Не поймешь его. Может быть, напрас-

но обидела? Как знать.

– Доказывал, доказывал вам свою верность, а вы, княгиня... Так!.. Ну, тогда счастливо оставаться!

– Я одна пойду...

– Неволить не могу.

Ермишка приподнял картуз и медленно пошел прочь. Вероника смотрела ему вслед и уже раскаивалась: в удалявшейся фигуре этого человека, в его походке, в опущенной голове почудилась ей напрасная обида. За что? Наивное и влюбленное дитя природы. Сколько бескорыстных услуг оказал ей этот странный и смешной, и страшный человек. То грубый и дерзкий, то влюбленный и преданный раб.

– Ермил!

Обернулся, потом рысцой побежал обратно. Остановился под окном.

– Хорошо. Я пойду... с ребенком.

– Я всегда готов!.. Я вам сколько раз доказывал... Обидно, княгиня!

– Ну не сердитесь на меня!

– А вы полноте! Да если бы вы меня по морде ударили, и то стерпел бы.

Еще раз Ермишка рассказал, когда и где встретятся, наказал не запаздывать и ушел радостной торопливой походкой, сверкая кованными каблуками американских башмаков. Ермишка гордился этими случайно доставшимися ему при разграблении складов башмаками: «Когда ночью в городе по

мостовой идешь – под ногами искры сверкают!»

День совсем прояснился. Ветер стих. В сизых тучах, стадами пронесившихся по небу, все чаще и больше появлялись лазоревые окошки в небеса, и выглянуло, наконец, солнышко. А корабли все плыли, перерезая море и развешивая за собой длинные ленты дыма, похожего на упавшие с неба облака. На далеком горизонте всплыл профиль огромного трехтрубного военного судна и засверкал на солнышке яркими блестками желтой меди... Тревожно и торопливо стучали работавшие винты, и под носом вздымалась каскадами темно-зеленая вспененная волна... С берега доносился говор и смех рыбаков:

– За буржуями едут!.. Кому земля и воля, а им – Черное море! – радостно и громко кричал кто-то на берегу...

В четырех обитаемых домиках «рая» тревожно закопошились обитатели. По дорогам и тропинкам от домика к домику торопливо бегали растерявшиеся обитатели «рая» и советовались друг с другом, как быть: бежать или оставаться? В большинстве все это были «передовые интеллигенты» и социалисты по своим теоретическим взглядам, спасавшие в «раю» свою программную чистоту и свою шкуру от красного коммунизма; они отвергали красных, но боялись и белых. Они считали белый домик «ретроградным» и потому сторонились всякого общения с его обитателями. И теперь никто не захотел забежать туда, чтобы не навлечь на себя подозрений в «ретроградности», а особенно – в связи с «бело-

гвардейцами». На всякий случай все-таки лучше держаться от этого домика подальше. В этом «интеллигентском скиту» опять раскололись: одни находили нужным бежать за границу, другие доказывали, что бежать – значит, фактически установить свою связь с буржуями и белогвардейцами. Мужчины злобно спорили и ругались, женщины растерянно плакали...

Суэта в поселке смешила рыбаков.

– Забегали, как муравьи под ногой!

Во всем поселке не волновался и оставался совершенно равнодушным только один человек: старуха в белом домике. Вероника убедилась, что она сошла с ума: из ее запертой комнаты через дверные щели вместе со смрадом от человеческой нечистоты долетали хриплые звуки распеваемого романса: «Не искушай меня без нужды возвратом нежности своей»... Похожа на «Пиковую Даму». Оставить с ней ребенка? Ни за что на свете! Вероника возьмет Евочку с собой в Севастополь. Там что-нибудь выяснится... Наскоро рылась в детском белье, отбирала, что необходимо взять с собой, а Евочка спокойно играла на кровати в куклы и время от времени переспрашивала:

– Мы пойдем, тетя, к маме?

– Да, да... к маме!

– А бабушку не возьмем?

Быстро прошел коротенький день. Посерело море, потухла вершина Святого Ильи, и горизонт снова потемнел от вы-

лезавших из моря темно-сизых чудовищ. Все готово: дорожный мешок, саквояж, подушка и одеяло в ремнях, корзинка с провизией на дорогу. Вероника оделась сама и одела Евочку, то и дело смотрела на часики и в окно, за которым угасал день, такой страшный и тревожный день. Надвигалась с темнотой ночи полная неизвестность и сжимала душу холодом...

– Ну вот, пора!

Трижды перекрестилась, надела на спину дорожный мешок, забрала саквояж и упала духом: еще подушка с одеялом, корзинка с провизией и девочка. Некому помочь! Постояла, едва сдерживая слезы, в раздумье и решила все бросить: и саквояж, и корзинку с провизией. Ермила вернется и принесет. Взяла в руки Евочку и пошла по тропинке со двора на дорогу. Евочка прижалась и целовала тетю в щеку. Евочку пугала темнота и непривычная обстановка незнакомой дороги. Когда поднялись выше – развернулся перед глазами морской простор, и стало светлее, но скоро вошли в полосу нагорного можжевелевого леса и очутились в полной темноте. Вероника потеряла тропинку к могиле. Посыпал мелкий дождь, зашептался лес подозрительными шорохами и шепотами. В душу закрадывалось отчаяние. Нет, она не найдет могилы! Поставила наземь Евочку и стала прислушиваться и приглядываться. Был момент, когда она уже решила было снова спускаться к домику, но послышался окрик: «Кто идет?» – и все разрешилось: это был Ермишка.



– Вы, Ермила?..

– Я самый...

– Мы ждали, ждали вас... Я думала, не придете...

– Зачем обманывать? Задержался маленько... К нам на берег мертвое тело выкинуло... Полюбопытствовал... Видать, что какой-нибудь из вашей канпании, вроде как офицер... Не знай, подстрелили да в море сбросили матросы с миноносца, не знай, сам себя прикончил, чтобы в руки к красным не отдаться... Пуля в виске... А личность что-то как будто знакомая...

Вероника вспомнила Владимира и пошатнулась. Должно быть, Ермишка заметил застывший ужас в ее фигуре:

– Полагаете – ваш поручик Паромов?.. Не он! Я признал бы того...

Вероника тяжело вздохнула:

– Нет, нет... Я просто устала...

– Вот видите! А хотели еще старуху тащить... Горы, конечно. Давайте-ка мешок-то!

Вероника обрадовалась Ермишке, как родному. Теперь все хорошо. Ермишка и мешок, и Евочку взял. Вспомнила про саквояж и про корзинку с провизией. Рассказала Ермишке.

– Как же теперь быть?

Решили, что Вероника с Евочкой посидят у могилы, а он сбегает за вещами. И могила оказалась близко. Только подняться по тропинке...

– От могилы напрямик пойдём на перевал. Я тут все дорожки знаю.

Ермишка ушел. Вероника с Евочкой остались около могилы. Точно проститься с Ладой зашли. Тихо тут. Чуть доносится шум моря да шепчет мелкими капельками дождик. Одинокий крест белеет во мраке свежим остругом. Крест – конец всех бурь, мук и страданий. Точно спряталась Лада от людей под этим крестом. Теперь ей уже никто не страшен... Вероника стояла перед крестом с опущенной головой в каком-то молитвенно-покаянном настроении, и в ее глазах дрожали слезы, а Евочка жалась к ее юбке и уже просилась домой:

– Я хочу к мамочке!

Острая жалость к ребенку поразила душу Вероники. Беденькая миленькая девочка! Не понимает, что стоит на могиле матери, не понимает, что никого нет у нее на свете. Взяла Евочку на руки и поднесла к кресту:

– Поцелуй маму!

Евочка послушно протянула губы и, коснувшись влажного дерева, откинулась на плечо Вероники. Послышался шум покотившихся камешков под ногами Ермишки. Веронике захотелось спрятать свое душевное настроение от этого человека: она торопливо помолилась, поцеловала крест и отошла от могилы.

– Прощай, Лада! – прошептала, вздохнув, и пошла вниз, навстречу Ермишке.

Задержались на дороге. Надо было снарядиться в поход. У Ермишки рыбацкое непромокаемое пальто с капюшоном. В темноте похож на капуцина. Солдатский мешок, жестяной чайник, вероникин саквояж да корзиночка с провизией.

– Все это можно на себя принять, а вот как с девочкой?

– Я ее понесу...

– Поставьте ее покуда! Поглядим там...

Ермишка такой ласковый, заботливый, предупредительный, говорит нежно, вкрадчиво, сладеньким голоском и готов на все жертвы. Снял свое пальто:

– Дозвольте на вас надеть, княгиня!.. Непромокаемое...

Вероника стала отказываться, но Ермишка был непреклонен:

– Мы люди привычные, в огне не горим и в воде не тонем, а вы промокнете, отсыреете, и сейчас – насморка, кашель и тинтиратура! На ножках калоши имеете?

– У меня высокие башмаки...

Припал к ногам, повел рукой по ботинку:

– Промочите ножки.

– Ничего! А вот девочку надо хорошенько укрыть. Лучше мы ее в ваш плащ закутаем.

– Девочку? Гм!.. Лучше было дома ее оставить. Оно бы всем удобнее... – подумал, причмокнул толстыми губами. – А мы ее в одеяло завернем...

Сноровчатый Ермишка: из пяти вещей три сделал. Две на себя оседлал, а саквояжик Веронике отдал. Евочку закатал в

одеяло и на спину между двумя мешками посадил. Как дву-горбый верблюд.

– Вот как у нас!

Пошли дорогой, вползавшей змеею на перевал. Шли молча. Ермишка, шедший впереди, временами оглядывался, тут ли княгиня. Она отставала, и Ермишка поджидал.

– Устали ножки-то?

– Может быть, зайдем в деревню и найдем татарскую арбу?

– Нечего и думать! Боятся теперь татары ездить: лошадей у них для эвакуации задерживают. Все попрятались. Ни за какие деньги не поедут... Да и опасно: по дорогам зеленые больно шалют.

– А как же мы?

– Мы горами, лесом пойдем. На Куш-Кая влезем, а там тропами прямо в Балаклаву. Ни души не встретим!.. Только орлы одни там кружатся.

Шли дорогой до перевала, а потом свернули и пошли тропой на горы. Лес начинался на высоте, а до лесу гора была пустая, с ровным отлогим подъемом. И все-таки идти было тяжело: тропа под дождями размякла, изрылась потоками, ноги то скользили, то попадали в рытвины или на острые камни. Ермишка то подавал Веронике руку, то отставал и помогал сзади. Утешал, что еще маленько потрудиться, а потом хорошо будет. Останавливались и отдыхали. С высоты были видны огоньки в Байдарах: то вспыхивали, то про-

падали, точно подмигивали. От этих огней вспоминался город, людные улицы, окна магазинов, извозчики, автомобили, домашний комфорт, чистая постель, рояль и все невозвратное прошлое... И от этих воспоминаний ей тяжелее делалось идти в темноте под мелким дождем во мрак неизвестности. Вероника чуть передвигала ноги и все оглядывалась на приветливые огоньки, а Ермишка забеспокоился: что она все оглядывается, точно все поджидает кого-то? Прислушивался и тоже вглядывался во все стороны.

– Вы, княгиня, что так беспокоитесь? Человека увидели?

Торопил поскорее до леса добраться. Там будет спокойно, и там отдохнуть будет можно... Евочка давно укачалась на спине Ермишки и крепко спала. Ей снилось, что мама возит ее в колясочке. Дотянулись наконец и до леса. Под большим дубом, как под крышей, сделали остановку. И Ермишка умирался наконец:

– Все бы хорошо, если бы девчонку дома оставили, барышня! Подержите-ка ее, скиньте! Все-таки в ней больше пуда весу...

Освободился от девочки, сбросил вещи и потянулся:

– Не пришлось бы заночевать в лесу... Темно уж очень идти-то будет. Я думал, светлая ночь будет, а оно вон: ни звездочки! И опять дождик не разошелся бы. Нам бы только до овечьей пещеры добраться, а там – как дома ночуем... Я отлучусь ненадолго!..

Пошел и скрылся в темноте. Слышно было, как хрустел

валежник под его ногами и катились камешки, потом все стихло. Впервые Веронике сделалось жутко. Долго не возвращался. Думалось: а вдруг Ермишке надоело, и он их бросил в лесу? Проснулась Евочка, увидела тетино лицо и успокоилась, закрыла глазки и сказала:

– Мамочка... моя!..

Смешала ее с матерью. Опять безграничная нежность захватила душу Вероники. Плотнее прижала ребенка к своей груди и боялась пошевелиться, чтобы не помешать ее сну. Где же Ермила? Почему он так долго?..

А Ермишка не торопился. Теперь все равно: никуда не убежит! Отошел к овражку, вынул из кармана бутылку с водкой, выпивал не торопясь и обдумывал, как лучше сделать. Погодка неподходящая: мокрота и сырость, всего лучше в овечью пещеру завести. «Там тепло и сухо, можно не один денек побаловаться, а на сырой земле оно как-то некрасиво выходит...»

Водка обжигала Ермишкину утробу, разливалась по всему телу щекочущим огоньком и воспламеняла похотливость зверя.

– Эх, так твою переэтак!.. Послужил я тебе с любовниками, а теперь ты мне угоди!

– Ермила!

– Зовешь, небось. Поспеешь, не торопись... время наше.

Опять опрокидывал бутылку и глотал водку. Посмотрел – ровно половина осталась. Прихлопнул пробку и засунул

бутылку в карман:

– Теперь – в заряде! Остальную на поздравление с законным браком...

– Ермила! – тревожно долетал женский голос.

– Как скоро, так сейчас, – тихо сказал Ермишка и, покрыв мокрый от водки ус, пошел, ломая сушняк руками, полный мыслями о скором «блаженстве с княгиней»...

От водки и взывавшей похоти Ермишка сделался развязным и дерзким. Подошел, подпер бока кулаками и сказал:

– Вот оно и Ермила понадобился! Да-с. Как говорится: на безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин...

Вероника изумленно и испуганно посмотрела на Ермишку.

– Вы, Ермила, водку пили?

– Так, маленько. А что? Почему с устатку не выпить? Пудачи для ради вашего облегченья нес... и снова понесу.

Вероника замолчала. Бог с ним! Лучше не говорить: пьяный – он придиричивый и дерзкий. Скорее бы как-нибудь добраться до Балаклавы.

– Я девочку сама понесу...

– Почему же? Не доверяете?

– Вы сами говорили, что тяжело и устали...

– Разя мы люди? Мы вроде как ломовые лошади. Хотя я и устал, а водочка такую силу дала, что и вас, барышня, могу на руках донести... Ну, Ермила, впрягайся! До станции недалеко, а там кормить лошадь будем...

Поднялись и пошли. Вероника не отдала девочку: он не совсем трезв и может уронить ребенка. Ермишка оскорбился, и в душе его стала быстро разрастаться злоба, перемешанная с похотью и желанием отомстить за то, что «они – пролетарии» и ими господу гнушаются, отомстить через звериное половое торжество. Он шел позади и ощупывал хищными глазами спину и ноги Вероники. Похотливое любопытство пробуждало в нем острое желание схватить за ноги и тут же доказать, что между барышней «из благородных» и деревенской девкой, как между ним, солдатом, и поручиком, никакой разницы нет...

– Все у каждого человека на своем месте!.. – бормотал он, легким толчком ладони подсаживая сзади Веронику на крутой уступ.

– Оставь! Я сама... – повелительно сказала Вероника, почувствовав дерзкое прикосновение мужской руки.

– Даже и помощи моей принять брезгуете, княгиня?

– Вы пьяны.

– Пьян да умен, как говорится, два угодья в нем. Могу и совсем бросить. Мне все равно. Одни дойдете. Не к буржуйам же мне идти? Я лучше в горы, к зеленым. Ежели я к белым в плен отдался, так все из-за ради вашей красоты! Уверовал, что вы вроде как святая дева непорочная... А оказалось на поверку, что...

Лучше молчать. Ермишка спьянился и превращается в нахала, в того и смешного и страшного нахала, каким она его



видела раза два в санитарном поезде и в Севастопольском лазарете, когда вышла «история», из-за которой Ермишку выгнали. Вероника шла, объятая брезгливым страхом, с таким чувством, точно позади шла бешеная собака, каждый миг готовая схватить ее за ноги зубами.

– Идите вперед!

– А если мне позади хочется?..

Вероника остановилась. Ермишка тоже. Стоит, смотрит нахально в лицо и ухмыляется.

– Вы благородные, как же я впереди, задом к вам, могу идти?.. Я, пролетарий всех стран?..

Опять Вероника встретилась глазами с Ермишкой, и безграничный ужас охватил ее душу: все поняла. В ермишкиных глазах женский инстинкт угадал страшную правду. Была мысль закричать на помощь, побежать. Но разум подсказал, что этого не надо делать: крик или бегство только приблизят преступление, ибо никто не услышит и никуда не убежишь от этого зверя. И крик, и бегство только толкнут Ермишку на решительный шаг. У ней есть револьвер, маленький дамский браунинг, заряженный, но он в саквояже, а саквояж теперь в руке Ермишки. Мысли хаотически кружились в голове, отыскивая пути спасения. Надо отдалить опасность во что бы то ни стало, а тем временем воспользоваться, чтобы саквояж перешел в ее руки...

– Голубчик, идите впереди! Я ничего не вижу...

– Голубчик? Хорошо, милое создание, согласен и спереди,

и сзади... Мы, пролетарии, – авангард революции.

– Может быть, немного понесете девочку? Устали руки.

– И девочку, и вас, барышня...

– Положите саквояж, а ребенка осторожно возьмите.

– И на это согласен. Я для вас на все готов, хотя вы моей любви не цените и брезгуете...

– Это неправда, Ермил.

– А вот поглядим, как оно выйдет!.. Все скоро обнаружится, барышня...

Инстинкт самосохранения делает женщину в минуты опасности удивительно находчивой и решительной. Вероника думала со скоростью света, в мгновение отвечая на сотни рождавшихся вопросов, связанных с грозившей опасностью.

– Идите!.. Мне нужно немножко оправиться...

– Понимаем. Можете! Дело обнакнавленное, не стесняйтесь!

Отстала, спряталась в кустах и торопливо приготовила браунинг. Он такой миниатюрный, что его можно засунуть в расстегнутую перчатку. Надо еще заставить Ермишку нести ребенка. Мешает длиннополое непромокаемое пальто. Сняла его, понесла на руке. Прошла несколько шагов и очутилась около Ермишки: стоит – ждет. Испугался, не убежала бы. «Тут!.. Никуда не убежишь. Догоню, сшибу с ног и покрою». Остыл ли пыл похотливости или заметил Ермишка, что княгиня догадалась преждевременно о его планах, – только он сделался вдруг снова ласковым и угодливым.

– Я все болтаю разное языком, а вы, княгиня, обижаетесь... Вы это напрасно. Я человек сознательный, а только слаботу слов люблю... Долго мы молчали, конечно, вот оно... давайте чемоданчик-то! Что вам ручки свои утрудать?

– Несите!

Долго шли молча, Ермишка впереди. Вышли из леса на горное плоскогорье, поросшее травой и мелким дубняком. Отроги каменных глыб ползли от вершин, и местами дорожка вилась под скалами. Вот тут и была «овечья пещера», намеченная Ермишкой для выполнения своей гнусности. Точно подземелье замка со сводчатым куполообразным потолком. Игра природы, в течение десятилетий служащая стадам пасомых на горах овец местом ночлега и убежищем от дождей и непогоды. Толстый пласт перегнившего овечьего навоза, плотный, как каменная плита, излучал теплоту, и в пещере было – как в истопленной комнате. В пещеру вела природная дверь: выпавшая глыба каменной породы. Другое отверстие, поменьше, узкое, как готическое окно, зияло на высоте, пропуская в темноту пещеры синь и блеск небес.

– Ну, милая, дальше не пойдем. Ночевать будем, – заявил Ермишка, остановившись около пещеры. – Тут как дома. Тепло, как на печи в бане... Идите!

В этом «идите» была уже не просьба или предложение, а слышалось приказание.

– Там темно и грязно, – сказала Вероника, заглянув в зия-

ющее черной бездной отверстие пещеры, сказала наивно, не подавая виду, что поняла смысл этого приказательного тона.

– Там видно будет... Я костер запалю.

Не пойти? – значит раскрыть свои карты и вступить в открытую борьбу с этим зверем. Разве его победишь в открытой борьбе? Первое неудачное движение, жест с револьвером – и она очутится на полу. Спасить может только хитрость... Только одна хитрость! Вероника стала вести себя совсем «барышней»:

– Знаешь, голубчик, я боюсь туда лезть. А вдруг там кто-нибудь...

– Нет там никого! Как в собственном доме... Ермишка зажег спичку и посветил в пещеру.

– Берите ребенка и лезьте!

Что ж делать? Господи, научи, что делать? Убить его сейчас? А вдруг все это просто словесная пошлость и пьяненькое нахальство влюбленного и озлобленного темного маленького человека?

– Сначала там зажги костер... Я боюсь.

– Ху, ты, Боже мой, привыкли при электричестве!.. Берите ребенка, а то брошу!..

Вероника приняла тычком поданного ребенка. Ермишка собрал сушняка, долго не мог разжечь его и ругался. Расшевырял корзинку с провизией, там было много газетной бумаги, потом поломал и самую корзинку: она из тонкой и смолистой щепы. Запылал в пещере огонь, тени запрыгали по отко-

сам стен, красноватые отблески заиграли под потолком, где красиво свешивались сталактитовые сосульки. Потом потолок исчез в дыму, который полз в верхнее отверстие, оставляя пещеру на высоту аршин двух чистой, недымной.

– Пожалуйста, мамзель! Прошу к нашему шалашу! Сейчас и чайник скипятим, вода под боком. Одним словом – будем жить-поживать, друг дружку пожимать!..

Ермишка вылез из пещеры:

– Ну влезайте! Ну чего тут еще...

И опять в тоне Ермишки – нетерпение и приказание. Вероника все уже успела взвесить, все опасности и все возможности защиты, – она продолжала выдерживать тон ничего не понимающей барышни, все еще не теряя надежды, что она ошибается в оценке этого приказательного тона. Склонилась и едва протискалась между обвалившейся глыбой и скалой пещеры. И тут окончательно поняла, что никакой надежды не остается: когда она, нагнувшись, тискалась в входное отверстие пещеры, Ермишка, помогая пролезть, позволил себе такое дерзкое касание, что никаких сомнений уже не осталось:

– Эх! – простонал с надрывом Ермишка.

Вероника победила и гнев, и оскорбление, и ужас от этой мерзкой выходки. Она ласково, со смешком, сказала, обернувшись:

– Ты осторожнее! Больно ведь так...

– А когда поручики, так ничего?

Промолчала, не ответила. Положила ребенка, поправила перчатку, за которой прятался маленький защитник женского целомудрия и чести; окинув пещеру, выбрала, как стратег перед боем, выгодную позицию в углу и, поджав под себя ноги, села так, чтобы во всякий момент можно было вскочить на ноги. Стала, как птица на дереве за охотником, следить за всеми движениями Ермишки. Тот втащил все вещи, разложил на полу. Снял пиджак, разостлал вверх прокладкой, положил подушку сухой стороной.

– Ложитесь, барышня! А я покуда чайник скипячу. Подушечка мягенькая, пуховая. Одно досадно: мягкой перинки для вас нет... Потом одеяло посушим и прикроемся...

– Немножко посижу. Спать не хочется.

– А вы башмаки-то скиньте, я их просушу.

Подошел к ребенку. Свое пальто сложил внутрь, постлал и, освободив одеяло, положил ребенка на пальто. Зацепил одеяло концами за трещины в скале перед огнем костра, чтобы высохло. Пошел с чайником за водой... Не убежать ли, пока можно? А ребенок? «Господи, помоги нам!» Подкралась к выходу и выглянула. Темень. Дождь. Куда побежишь? Все равно поймает. И разве можно бросить Евочку? Этот зверь изуродует ребенка... Вот он уже возвращается... Отскочила и, поджав колени, снова села на прежнем месте. Ермишка влез и воткнул свежесрезанный кол в землю, чтобы повесть над огнем чайник.

– Вот я вас чайком разогрею, барышня, и в постельку! По-

кушать тоже можно. Поди, проголодались?

– Нет.

– А я еще маленько за ваше здоровье выпью, – вот у нас дело и пойдет.

Опрокинул в рот горлышко бутылки, и было слышно, как булькала водка, перекатываясь в утробу Ермишки.

– Эх! Хорошо! Выпили бы рюмочку! Для лихорадки? Отсырели, небось... Я вас высушу. Жарко будет, барышня!

Встал, подошел к Веронике.

– И что такое, княгиня? Поцеловать вас охота, а боюсь. Ручку даже не раз целовал, а вот в уста не доводилось... Вы как полагаете об этом? Достоин я за все мои заслуги перед вами?

– Только не сейчас. После... после чаю.

– Можно подождать. Ночь-то наша. А ведь я думал, что вы рассердитесь!..

– На что? Вот пустяки!

– Правильно! Значит, сладимся? Торговаться не будем?

Вероника кивнула головой. Все это было так неожиданно для Ермилы, что он ушам не верил. Согласна! С ним, солдатом! Озлился вдруг, точно она его обидела этим неожиданным согласием. Значит, гулящая, со всеми путается... А он думал, что силком придется...

– Вот и поглядите, кто слаще: поручик или солдат...

– Погляжу.

– А кто у тебя первый был?

Перешел вдруг на «ты». В разговоре начал вставлять неприличные слова и ругательства.

– Я так полагаю, что теперь нет промежду вами, девчатами, которые невинные, то есть с мужчинами дела не имели... Время такое. Может, разя только вот эта девчонка – в неприкосновенности еще... А все-таки один раз я невинную имел! – похвастался Ермишка и рассказал про случай с помещицкой дочкой. Подал Веронике чашку с чаем, без блюдечка, подал сахар. Когда она взяла чашку, скользнул рукой под мышку, тронул грудь и опять со стоном крикнул:

– Эх!

Вероника понимала, что приходит конец ее страшной игре. Надо убить человека или отдаться зверю.

– Ермиша! Когда же попадем в Балаклаву?

– А ты не торопись! Мне теперь не в Балаклаву, а в другое место съездить охота. Пей, что ли, скорее да лягем!.. Вон уж и одеяло просохло...

Ермишка снял одеяло, погладил его рукой и вдруг разъярился.

– Помягче будет... Ты на жестком-то непривычная...

Припал на колени, стал готовить брачное ложе. Ползал, торопился.

Вероника вздрогнула, встала у костра и освободила револьвер. Отогнув предохранитель, подошла к Ермишке, наклонилась и стала ласкаться. Обняла левой рукой сзади за шею, склонилась и, приблизив дуло револьвера к виску Ер-



мишки, закрыла глаза и потянула пальцем собачку. Глухой удар, точно упала в комнате тяжелая доска, прозвучал в пещере и тоненьким звоном остался в ушах Вероники. Ермишка, стоявший на коленях, кувырнулся головой в подушку, а Вероника отскочила в сторону и, продолжая держать револьвер наготове, стояла в оборонительной позе около проснувшейся Евочки и не мигая огромными неподвижными глазами смотрела на ползающего на четвереньках человека. Вот он поднял еще раз голову, повел ею в ее сторону и вдруг осел и стал расправлять ноги. Словно укладывался спать... Потом захрипел...

– Евочка, Евочка, родная, святая моя! Я убила человека!.. Я убила человека!..

Припала к улыбнувшейся девочке и разрыдалась...

Догорал костер. Тени прыгали по стенам, и свет поблескивал на железных подковах Ермишкиных башмаков, широко раскинутых в разные стороны...

## Глава тридцать шестая

Костер погас, и в пещере воцарилась черная бездна. Лил дождь, и ветер рвал верхушки деревьев и жалобно скулил, как маленькая собачонка за дверью, в щелях пещеры. В углах ее, где скопилась загнанная ветрами прошлогодня сухая листва, бегали ящерицы, наполняя мертвую тишину тревожными шорохами. Точно в углах кто-то шевырлялся, подкрадываясь к Веронике с девочкой. Вероника поминутно приподнимала голову, прислушивалась и озирала темноту. Чудилось, что это Ермишка ожил, пришел в сознание и ползет на четвереньках, как орангутанг, отыскивая Веронику. На фронте и в лазаретах она разучилась бояться смерти и покойников, но теперь мертвый Ермишка казался ей страшнее смерти и всех ужасов, которые она пережила уже... Слышала предсмертное хрипение умирающего, видела судороги вытягивающегося тела, отлично знала, что это – смерть, и все-таки дрожала от мысли, что Ермишка не умер, а был только в обморочном состоянии и скоро очнется. Прислонясь к бугристой каменной стене, она одной рукой держалась за ручку безмятежно спавшей Евочки, а в другой держала револьвер, приподнимая его всякий раз, когда шумели в сухой листве ящерицы или, может быть, змеи. Рассудок говорил, что Ермишка убит и что мертвые не воскресают, но-теперь, в эти дьявольские дни, казалось, что многое случается вопреки и

наперекор человеческому рассудку. Вот сейчас Ермишка сядет, все вспомнит и поползет!.. Казалось, что непременно поползет, как зверь, на четырех конечностях... Ермишка начал казаться Веронике настоящим зверем с того момента, когда он рассказал ей, с похвальбой, о том, как во время помещичьего погрома нашел в лесу спящую девочку-подростка и как ее изнасиловал и потом плюнул и ушел. При свете костра, сидя у которого вел свое повествование Ермишка, Вероника вдруг разглядела его рыжие волосы на руках и пальцах, его идиотские челюсти,двигающиеся при жевании пищи, как у вола, пережевывающего жвачку, его зеленоватые глаза и отвороченные уши. Башмаки с блестящими подковами напоминали ей лошадь, потом centaвра; противный запах пота, когда Ермишка снял свой «пинджак», еще раз пробудил в Веронике мысль о том, что Ермишка какой-то незапечатлѐнный в зоологии зверь... Для Вероники ожили и превратились в действительность все страшные сказки, которые она слышала и читала в детстве, все ужасы древней мифологии. О, если бы убедиться, что этот зверь мертв, убит окончательно, что он – холодный труп! Костер давно погас. Если зажечь спичку и подойти – посмотреть? Или не подходить, а посмотреть отсюда и убедиться, что он не шевелится? Тихо, осторожно клала на колени револьвер, вынимала из кармана коробку со спичками и не решалась шаркнуть спичкой: страшно, лучше эта черная бездна, в которой ничего нет, кроме темноты... В этом непрестанном ужасе и

кошмаре уже исчез вопрос, вставший в душе сейчас же после убийства: как могла она убить человека? Остался только один черный ужас от сознания близости к страшному зверю, быть может, даже к его бездыханному трупу...

О, как бесконечно долга эта черная кошмарная ночь! Можно сойти с ума, не дождавшись рассвета. Несколько часов величайшего напряжения мозга и всех нервов, предшествовавших убийству, давших женской душе необычайную силу мысли и воли, повели теперь к полному их упадку. Вероника почувствовала вдруг такую усталость во всем теле, что борьба между ужасом пред Ермишкой и жаждой сна сделалась дальше невозможной. Пусть все, что угодно, пусть придет сама смерть, пусть воскреснет и возьмет Ермишка, – лишь бы подремать хотя только пять, десять минут! Прикурировала головой около Евочки и забылась. Сон, как смерть, превратил в ничто все кошмары, все ужасы, самую жизнь.

– Тетя! Тетя! Дай молочка!

Очнулась, раскрыла глаза: сидит Евочка, хныкает и тянет за рукав. В прорезь верхней щели, как в храмовое окно, льется дрожащая пылью лента золотисто-зеленоватого света и рождает на черном полу впечатление длинного разостланного белого с черным траурного полотнища, и посреди него лежит, точно плывет на животе, Ермишка, поставивший свои подкованные башмаки носками в землю и разбросавший ручки. Точно плывет огромная лягушка!.. И нет ничего страшного.

– Тетечка! Дай молочка!..

Встала. Наземь упал маленький револьвер, похожий на красивую игрушку. Его подарил ей Борис. Точно предчувствовал, что скоро понадобится: научил обращаться, стрелять. Тогда она удивилась этому подарку жениха.

– Это вместо свадебной шкатулки с конфетами? – посмеялась.

– Теперь без этой вещицы трудно обойтись! – серьезно ответил Борис.

– И в любви?

– Да, и в любви...

Искала бутылочку с молоком, потом поила Евочку, думала о Борисе и тихонько отирала слезы. «Где ты, родной мой? Жив ты или?..» Тоска хлынула на душу. Все, все прощает она любимому человеку!.. Люди, как щепки в море... Вот и она сделалась убийцей! Разве она поверила бы этому, если бы вот тут же, рядом, не лежал труп убитого ею человека? И его она прощает... Его? Сама убила и его же прощает? Оглянулась на Ермишку: уже не кажется необыкновенным зверем, а кажется обыкновенным несчастным заблудшимся в темном лесу человеком...

И вдруг ее потянуло подойти к Ермишке и посмотреть в его лицо. Дала Евочке сухарик и куклу с разбитой головой, а сама встала и пошла к Ермишке. Не сразу приблизилась, сперва смотрела на некотором отдалении. Если бы не кровь на белой наволочке, точно вышитой теперь красными буро-

нами, можно было бы подумать, что Ермишка крепко и сладко спит, и стоит только тронуть его за приподнятое плечо, как он вскочит и глупо улыбнется «княгине», зачесет вихрастый рыжий затылок и скажет: – Так что, виноват, заспался!..

Подошла поближе, присела на корточках: точно притворился спящим, а сам тайно подглядывает в приоткрытые слегка щелки глаз. Страшно стало.

Вероника встала и вдруг увидала на пояснице Ермишки знакомый кавказский пояс с чернеными пряжечками... Почему она испугалась, и почему сердце ее заколотилось в груди? Этот пояс так напомнил Бориса. Почему?.. Мучительно вспоминала и вдруг вспомнила: она видела такой пояс на столе у Бориса. Но мало ли таких поясов на свете? Опять присела на корточки и стала присматриваться к поясу. Страшная мысль толкнулась в душу: а что если этот пояс с Бориса? Не может быть... нет, нет! Господи, зачем лезут в голову такие мысли! Обвела труп Ермишки взглядом с головы до пят и увидала на безымянном пальце, обросшем рыжими волосками, кольцо, от которого еще сильнее застучало в груди сердце... Кольцо, обручальное золотое кольцо, точь-в-точь, как то, которое она послала Борису с братом... Нет, нет, то массивнее, и потом... Мало ли таких колец? Не может быть... Вот если бы... На ее кольцо была вырезана дата... Вот если бы снять кольцо с ермишкиного пальца и посмотреть внутрь кольца, тогда... Бог с ним! Лучше ничего

не знать.

– Тетя! Мы поедem к маме?

– Да, да... к маме.

Стала собираться. Надо все бросить, взять только девочку и провизию. Надо скорее-скорее уйти от этого страшного места. Бог поможет: как-нибудь набредут на дорогу или на человека и доберутся до Севастополя. Посмотрела на часики: уже семь утра. День солнечный, над лесом далекая голубень небес, поют птицы. Тихо-тихо. Слышно, как падает дождевая капель с деревьев на прошлогоднюю листву. Вылезла, волоча Евочку за ручку, из пещеры и вздохнула полной грудью. Стало вдруг так легко и свободно, точно целый год просидела в темном подвале и вдруг вырвалась на волю... Крепко поцеловала Евочку, подхватила ее на руки, перекрестилась и пошла, посматривая тропинки. Отошла несколько шагов и остановилась. Точно кто-то напомнил про кольцо на волосатом пальце Ермишки, сказал: «Вернись – посмотри!»

Постояла несколько мгновений в раздумье, потом посадила Евочку под дерево:

– Посиди! Я сейчас приду...

Решительно пошла обратно и с трепетом снова пролезла в пещеру...

Все по-прежнему плыл Ермишка, разбросав руки и ноги в кованых башмаках, а показалось, что лежит по-другому. Присмотрелась и убедилась, что лежит по-старому. Подошла, присела на корточки и потянула руку с кольцом за

рукав рубахи. Застыла рука, не дается. Точно Ермишка не желает показать кольцо.

– Только посмотреть... – прошептала Вероника, точно заговорила с Ермишкой.

Страх нет. Только брезгливость. Долго вертела кольцо на волосатом пальце – не снималось. Это лишь утверждало желание снять кольцо. На пальце красные крупинки высохшей крови, противный грязный обгрызанный зубами звериный ноготь. Вертела кольцо, закрывши глаза, и наконец оно сползло прямо в ладонь Вероники. Крепко зажала кольцо в руке, но посмотреть не решалась. Точно украла у спящего Ермишки кольцо и выбежала из пещеры.

– Брошу назад, если... – шептала, торопливо шагая от пещеры.

Совсем закружилась. Где же она посадила Евочку? Озиралась и не могла разобраться в тропинках.

– Евочка! – крикнула громко.

«Господи! Да вон же она, под деревом!...»

Подошла к Евочке, села рядом, кольцо в руке.

Надо же посмотреть. Перекрестилась и разжала ладонь руки. Сперва рассмотрела снаружи. Рыжий Ермишкин волосок пристал к кольцу, – вздрогнула от брезгливости и стала сдвигать волосок. Прилип и не слетает. Взяла мокрый листок и долго возилась с волоском. Бросила кольцо в траву и прутиком катала его, пока не вымыла. Взяла в руки, накрыв бумагой, и вытерла досуха. Все оттягивала время, не решаясь



заглянуть. Опять началось сердцебиение, и в висках запищал жалобный однотипный звук, похожий на поющего комара. Решилась. Одно мгновение, и рука, сжав кольцо, упала на колени, а голова откинулась назад, губы побелели, глаза закрылись...

– Тетечка, пойдём к маме!

– К маме? К Боре?

– К маме!

– Мама спит... крепко, – шептала бледными губами, не раскрывая глаз, а Евочка звонко и весело рассказывала про маму и папу...

– Как зовут твоего папу?

– Одного зовут Володя, а того, который... знаешь? Куколку подарил...

– Ну!

– Дядя Борис!

Вероника упала лицом в траву и рыдала, а Евочка тянула ее за платье, за волосы и весело, как птичка, звенела своим голоском. Она думала, что тетя шалит... и смеялась.

– Ну, вот... и все! – сказала Вероника, поднимаясь на ноги и отирая мокрым платком слезы. – Теперь пойдём...

– Куда?

– Не знаю... Куда глаза глядят...

Перекрестилась, поцеловала кольцо, спрятала его за корсаж и, взяв на руки Евочку, пошла по тропинке. Вся в черном, с лицом, прекрасным и скорбным, с ребенком на руках,

она, одиноко бредущая в лесу, напоминала образ Скорбящей Богоматери...

# Приложение

## Вступление к первому изданию

*Посвящаю эту книгу братскому чешскому народу*

Настанет некогда время, и взбаламученное море нашей жизни войдет в свои берега. Закроются разверзшиеся бездны, смолкнет грохот и ржанье бешено мчащихся коней с красными и белыми гривами, пронесутся вихри черных туч над пучинами, потухнут огненные мечи раздирающих гневные небеса молний и прокатятся в вечность раскаты громов... И небесная синь снова сверкнет своими улыбками людям, а успокоившееся зеркало прозрачных глубин снова отразит Лик Божий...

Не скоро, но будет. Непременно будет!..

Пройдет сто лет – не останется на земле ни одного из нас, живущих в грозе и буре. Все пережитое нами, воплощенное в радостном творчестве под пером художников слова и под кистью художников красок, будет с непреоборимую силою притягивать к себе умы и души грядущих поколений, и они в «Великой русской революции» увидят только величественную и захватывающую поэму человечества, рождающую в них сожаление, что все это давно уже миновало, и зависть к нам – к тем, «кто посетил сей мир в его минуты роковые».

Даже наши муки, наши страдания, если еще и будут заметны за пеленою многих годов, покажутся потомкам нашим страницами прекрасной трагедии, возвышающей душу человеческую. И не один читатель пока еще ненаписанных книг о днях нашей жизни, посиживая в теплом и светлом кабинете в долгий зимний вечер, оторвавшись от чтения, застынет в раздумье, с устремленными в туман прошлого взорами, и, вздохнув, мысленно скажет: «Ах, зачем я не жил в прошлые века!»

Но будущее строится на костях настоящего, и цемент на постройке – кровь людей. Дорога в будущее идет в горных теснинах, крутая и узкая, и продвигающиеся по ней – кто сам падает, кто других сбрасывает в пропасть под ногами. Только из будущего в прошлое можно смотреть с высоты орлиного полета, спокойно озирая прошлые судьбы человеческие. Только прошлое можно судить. Настоящее же охватывает нас со всех сторон, мы – не над ним, а в нем, и мы – не судьи, а лишь свидетели о нем. Свидетели живых мук и страданий, в которых ломается настоящее, насыщенное такими ужасами и преступлениями, от которых у нас порою проходит самое желание жить...

Занося в свою художественную летопись правдивую историю о том, как люди жили, ненавидели и любили в наши страшные годы, я не выхожу из рамок свидетеля о настоящем. Все, что здесь описано, я либо видел, либо пережил. Роман мой – сама жизнь. В нем мало выдумки и сочинитель-

ства. Жизнь превзошла искусство и оставила далеко позади нашу авторскую изобретательность. Ни придумывать, ни сочинять нам, современным авторам, уже нечего: жизнь сама стала величайшим автором, преступившим все установленные нами законы и формы литературного творчества. Естественно поэтому, что и роман мой носит отпечаток того хаоса обломков, вещественных и невещественных, среди которого мы живем и действуем...

Итак, читатель, знай и помни, что роман мой — сама жизнь, а я, автор настоящего произведения, — не судия, а свидетель, и не историк, а только живой человек, испивший из чаши мук и страданий русского народа, —

*Евгений Чириков.*

*Прага – Виеноры.*

*Май – Август 1922 г.*